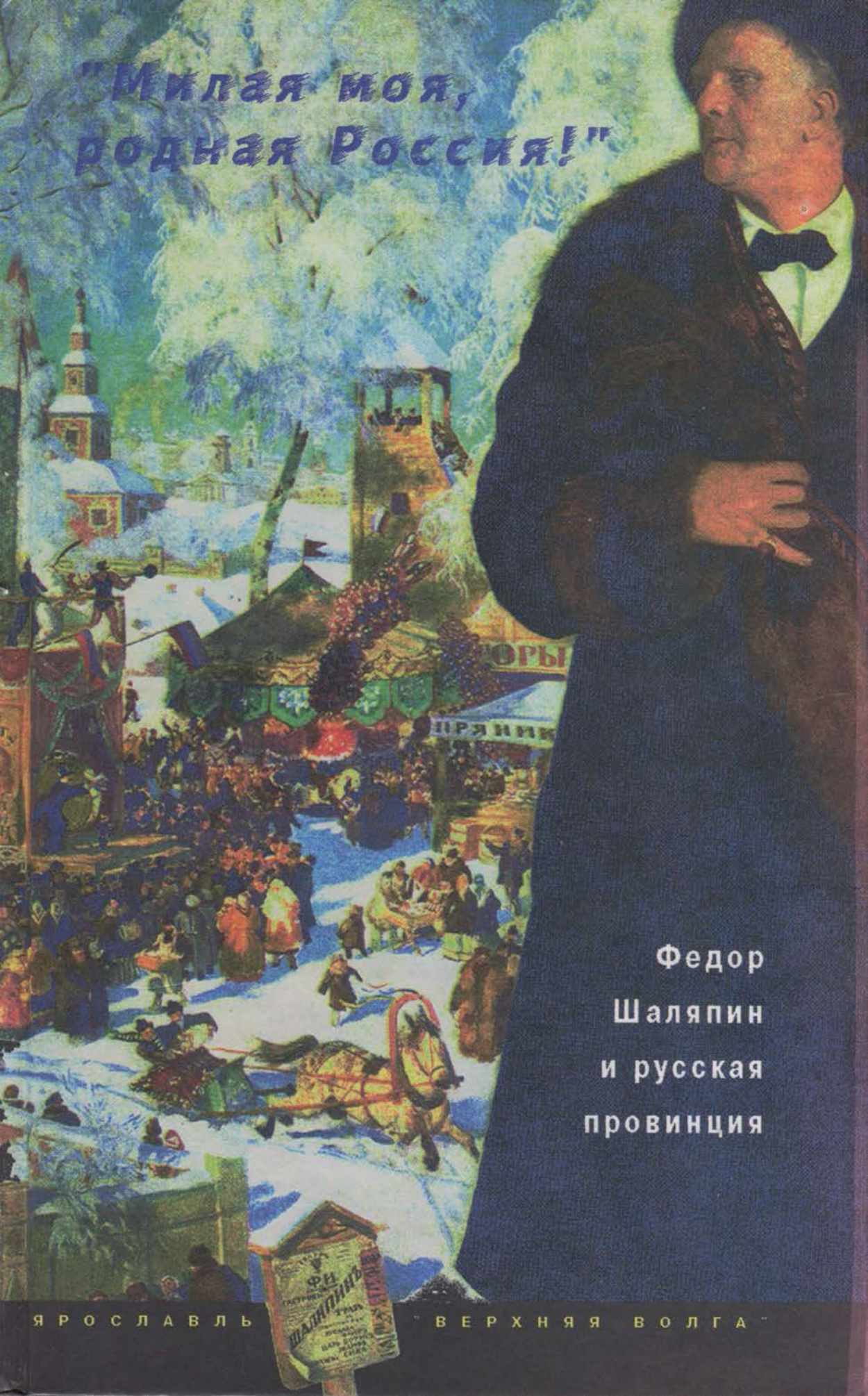


"Милая моя,
родная Россия!"



Федор
Шалыпин
и русская
провинция

ЯРОСЛАВЛЬ

ВЕРХНЯЯ ВОЛГА



*...Поистине дал ему Бог
«в пределе земном все земное».*

Иван Бунин



*"Милая моя,
родная Россия!"*

Федор
Шаляпин
и русская
провинция

КОНСТАНТИН КОРОВИН ВСПОМИНАЕТ

Шаляпин.
Встречи и
совместная
жизнь



Приложение
к воспоминаниям
Ф. И. Шаляпин
К. А. Коровин
(К его юбилею)

Ирина Шаляпина ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ (Главы из книги)

Рассказ матери
Дома
С. В. Рахманинов
А. М. Горький



На отдыхе
Встреча отца
Пикник
Борис Годунов

ШАЛЯПИН ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ

Эдуард Старк (Зигфрид)
Леонид Андреев
Влас Дорошевич
Анджело Мазини
А. Серебров
(Александр Тихонов)



Василий Розанов
Иван Бунин
Вл. Теляковский
Николай Телешов
Соломон Поляков-
Литовцев

ШАЛЯПИН И ЯРОСЛАВСКИЙ КРАЙ

Хроника
Виктор Храпченко
Генрих Окуневич
Игорь Лебедев



Виктор Голов
Николай Лапшин
Наталья Смирнова
Борис Старк

"Милая моя, родная Россия!"

**Федор
Шаляпин
и русская
провинция**

**ЯРОСЛАВЛЬ
Верхняя Волга
2003**



УДК 782(47+57)(092)

ББК 85.335.413-8

М60

*Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Администрации Ярославской области,
депутата Государственной Думы РФ А. А. Сизова,
а также М. Н. Жукова*

«Милая моя, родная Россия!»: Федор Шаляпин и русская провинция. —
Ярославль: Верхняя Волга, 2003. — 304 с.

ISBN 5-7415-0591-0

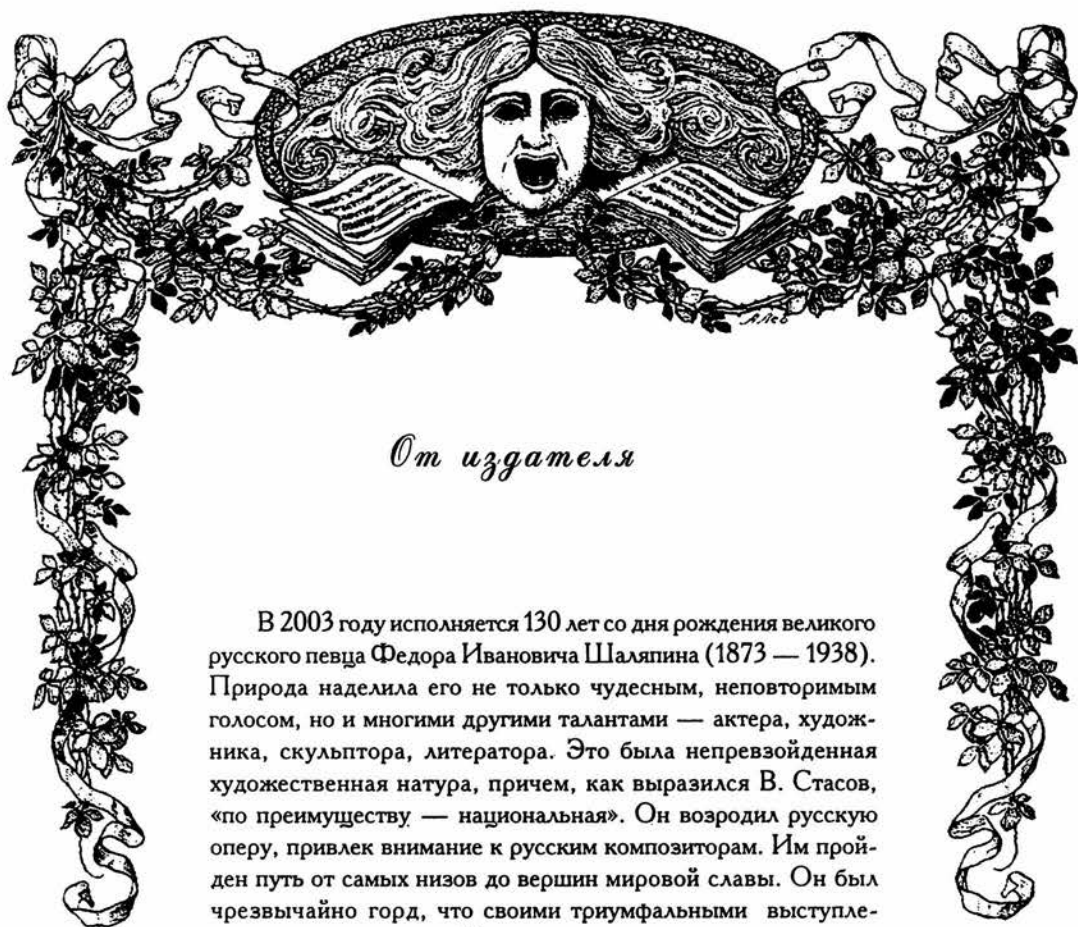
Издание приурочено к 130-летию со дня рождения великого сына России — Федора Ивановича Шаляпина. Артист, художник, человек предстает в воспоминаниях самых близких ему людей — дочери (Ирины Федоровны), друга (Константина Коровина), а также знаменитых современников (И. А. Бунина, В. В. Розанова, Л. Н. Андреева, В. М. Дорошëвича и др.).

Последний раздел книги посвящен связям Шаляпина с Ярославским краем, длившимся на протяжении многих лет (с 1898 по 1915 год). Здесь, в Путятине (ст. Арсаки Ярославской железной дороги), в 1898 году он отдыхает на даче певицы Т. С. Любатович, встречается с историком В. О. Ключевским, жившим по соседству; в церкви села Гагино венчается с Иолой Торнаги, первой женой; позднее гостит в Отрадном (Романово-Борисоглебского уезда) у директора императорских театров В. А. Теляковского. Но чаще всего отдыхает в Охотине — у художника-друга К. Коровина; наконец сам покупает землю по соседству и строит собственный дом в Ратухине (ст. Итларь Северной железной дороги), — в том самом милом Ратухине, по которому так тосковал в Париже, что олицетворяло для него все лучшее, связанное с Россией.

Автор проекта В. Д. Кутузов

© Издательство "Верхняя Волга", 2003

© Т. А. Ключарëва. Макет и оформление, подбор иллюстраций, 2003.



От издателя

В 2003 году исполняется 130 лет со дня рождения великого русского певца Федора Ивановича Шаляпина (1873 — 1938). Природа наделила его не только чудесным, неповторимым голосом, но и многими другими талантами — актера, художника, скульптора, литератора. Это была непревзойденная художественная натура, причем, как выразился В. Стасов, «по преимуществу — национальная». Он возродил русскую оперу, привлек внимание к русским композиторам. Им пройден путь от самых низов до вершин мировой славы. Он был чрезвычайно горд, что своими триумфальными выступлениями приносит славу России.

Он был поистине гениальный сын земли Русской (недаром эти слова были высечены на надгробной доске его на парижском кладбище Батиньоль). Судьба сложилась так, что умереть ему пришлось на чужбине, но, и умирая, душой он стремился на Родину. «— Где я? — говорил он уже в бредовом состоянии. — В русском театре?.. Чтобы петь, надо дышать... А у меня нет дыхания... В русский театр!.. В русский театр!..» (Н. Телешов. *Артисты и писатели*).

Живя подолгу на даче К. Коровина в Охотине, мечтал и сам купить имение на Волге, близ Ярославля. И позднее купил Ратухинскую пустошь и по проекту Коровина построил там свой дом. Завещал похоронить себя на высоком холме над Волгой, с которого видна раздольная русская река.

В Париже постоянно вспоминал свою деревеньку Ратухино, что неподалеку от Ярославля.

Так, 14 августа 1911 года пишет дочери Ирине:

«Я очень тебя понимаю, я знаю, что ты должна была соскучиться по нашей русской деревеньке — хороши и море, и горы, а Ратухино все же лучше — там больше приволья и простору...»;

«Про Comatin, где я сейчас живу... сказать ничего особенного не могу... Ничего себе... Французская деревня и парк, есть и речка, но все это не стоит и сотой доли нашего милого Ратухина».

Или в письме от 12 февраля 1912 года:

«...Что может быть лучше русской деревни? Какой простор, какая ширь, какая тишина и какой животворящий воздух!!!»

И уже больной, в Париже Шаляпин говорит Коровину: «Живи я сейчас... в Ратухине, где я спал на вышке с открытыми окнами и где пахло сосной и лесом, я бы выздоровел... Я бы все бросил и жил бы там не выезжая. Помню, когда проснешься утром, пойдешь вниз из светелки. Кукушка кукует. Разденешься на плоту и купаешься. Какая вода — все дно видно! Рыбешки кругом плавают. А потом пьешь чай со сливками... Ты, помню, всегда говорил, что это рай. Да, это был рай».

Перед издателями стояла задача — включить в книгу такие материалы, чтобы сложился живой образ Шаляпина — певца, артиста, художника, человека, причем в окружении близких ему по духу людей. Так определилась структура этого сборника:

I раздел — воспоминания о Шаляпине его друга — художника Константина Коровина;

II — воспоминания дочери — Ирины Федоровны Шаляпиной;

III — воспоминания современников — людей, с которыми был близок Шаляпин.

IV раздел мы назвали «Шаляпин и Ярославский край». Поскольку коровинская дача в Охотине (на которой так часто отдыхал Шаляпин) и (позднее) собственный дом Шаляпина в Ратухине находились на Ярославской земле, естественно, что ярославцам дороги любые связи Шаляпина с нашим краем, о чем и свидетельствуют материалы этого раздела.

Изобразительный ряд книги ведет свой рассказ о Шаляпине, дополняя и расширяя границы текста. Общеизвестно, что харизматическая личность певца привлекала многих художников. Исследователи творчества Шаляпина насчитывают более трехсот его портретов в живописи, графике, скульптуре и около трех тысяч фотографий. Кроме хорошо известных изображений, которые публиковались в книгах о Шаляпине, существуют многочисленные зарисовки и шаржи, разбросанные по дореволюционным (как столичным, так и провинциальным) журналам и газетам, частным и музейным собраниям. Многие из этих работ не воспроизводились с начала XX века, а некоторые и вовсе неизвестны широкому кругу почитателей. Поэтому естественно желание издателей отыскать и включить в книгу наименее растиражированные работы художников, которые рисовали его либо с натуры, либо по свежей памяти. Ну и, конечно, невозможно было не показать творчество самого Шаляпина, оставившего огромную галерею автопортретов, автошаржей, а также точные и выразительные портреты современников.

Все материалы, которые удалось найти в ярославских хранилищах (в том числе и не слишком хорошие по качеству, но важные с точки зрения издательства), вошли в предлагаемый читателям сборник.



I

Константин Коровин вспоминает

Текст этого раздела печатается по изданию: Константин Коровин
вспоминает. 2-е изд., доп. М.: Изобраз. искусство, 1990. Ч.2.

ШАЛЯПИН. ВСТРЕЧИ И СОВМЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

В моих воспоминаниях о Ф. И. Шаляпине я лишь вскользь касаюсь его художественного творчества. Я хотел только рассказать о моих встречах с Ф. И. Шаляпиным в течение многих лет — воссоздать его живой образ таким, каким он являлся мне...

Помню, зимой, в Петербурге, жил я на квартире при правлении заводов и железных дорог С. И. Мамонтова. И в своей комнате делал эскизы к постановке Частной русской оперы Саввы Мамонтова, опере «Аленький цветочек» Кроткова.

К вечеру я приходил в ресторан Лейнера на Невском обедать с приятелем своим, дирижером оперы Труффи. Однажды я увидел Труффи в обществе молодого человека очень высокого роста, блондина со светлыми ресницами и серыми глазами.

Я подсел к ним за стол.

Молодой человек посмотрел на меня и, улыбнувшись, спросил:

— Parlate italiano?*

Я был жгучим брюнетом.

— Тебя все принимают за итальянца, — сказал Труффи, — да ты и похож.

Молодой человек, одетый в поддевку и русскую рубашку, показался мне инородцем — он походил на торговца-финна, который носит по улицам мышеловки, сита и жестяную посуду.

Молодой человек был озабочен и жаловался, что в Панаевском театре платят меньше, чем в Тифлисе.

— Пошлю-ка я их к черту и уеду в Тифлис. Что в Петербурге? Вот не могу второй месяц за комнату заплатить. А там тепло, шашлыки, майдан. Бани такие. И Усатов**. У него всегда можно пятерку перехватить. Я ведь здесь никого не знаю.

Молодой человек был так худ, что, когда он ел, видно было, как проглоченный кусок проходит по длинной шее.

— Вот когда придет Мамонтов, — сказал Труффи, — я поговорю с ним о тебе.

После обеда, уходя от Лейнера, я видел, как у подъезда Труффи дал молодому человеку три рубля. И тот быстро пошел по Невскому.

Расставаясь с Труффи, я сказал ему:

— Постой, я сейчас зайду на Морскую, рядом, к Кюба, там наверное обедает Кривошеин, и узнаю у него, когда придет Мамонтов. Да скажи, кто этот молодой человек?

— Это хороший голос, — ответил Труффи, — но не серьезный человек. Приходи в Панаевский театр, он там поет. Голос настоящий.

На другой день я зашел в Панаевский театр за кулисы, где увидел этого молодого человека, одетого Мефистофелем.



К. А. Коровин
Рисунок Ф. И. Шаляпина
1912

* Говорите по-итальянски? (ит.)

** Дмитрий Андреевич Усатов (1814 — 1913) — первый учитель Шаляпина («профессор пения» — по его словам), бывший артист императорских театров. Шаляпин считал, что его «сознательная художественная жизнь» началась со встречи с этим человеком. — Ред.

Костюм был ему не впору. Движения резкие, угловатые и малоестественные. Он не знал куда деть руки, но тембр его голоса был необычной красоты. И какой-то грозной мощи.

Уходя, я взглянул на афишу у входа в театр и прочел: «Мефистофель — Шаляпин».

Вскоре приехал Мамонтов. Утром он зашел ко мне. Смотрел эскизы.

— Костенька, — сказал он, — я теперь занят, а вы поезжайте к Кюба. Я туда приеду завтракать. Сейчас мне не до театра, важное заседание.

Проходя мимо конторы, я увидел сидящих за столами каких-то серьезных, хмурых людей. Сбоку на столах лежали большие бухгалтерские книги, счета. Хмурые люди усердно что-то писали.

И я подумал: «Как это все не похоже на то, что я делаю с Мамонтовым. На театр, оперу. Как это он все совмещает!»

К завтраку у Кюба пришли Труффи, баритон Малинин, Чернов. В разговоре Труффи сказал:

— Этот трудный человек Шаляпин подписал контракт в Мариинский театр. Раньше я искал его на квартире, но его там уже две недели нет. Я давно хотел, чтобы вы его послушали. Вот он слышал его, — сказал он, показывая на меня.

— Вы слышали? — спросил С. И. Мамонтов.

— Да, — ответил я, — голос особенный, необычайный. Я никогда не слышал такого. А сам худой, длинный, похож не то на финна, не то на семинариста. А глаза светлые, сердитые. Хороша фигура для костюма. Но костюм Мефистофеля на нем был ужасный.

Через три дня я услышал из своей комнаты, что в дальнем покое, за конторой, кто-то запел.

«Шаляпин!» — подумал я.

Я пошел туда. За роялем сидел Труффи, и Мамонтов смотрел на Шаляпина внимательно и пристально.

Я остановился у двери, против певца. У юноши как-то особенно был открыт рот, — я видел, как во рту у него дрожал язык и звук летел с силой и уверенностью, побеждая красотой тембра.

Вечером Мамонтов, перед отъездом в Москву, говорил мне:

— А Шаляпин — это настоящая сила. Какой голос! Репертуара, говорит, нет. Но поет!.. В консерватории не был, хорист, певчий. А кто знает, не сам ли он консерватория? Вы заметили, Костенька, какая свобода, когда поет? Вот, всё поздно мне говорят. Контракт подписал с императорской оперой. Как его оттуда возьмешь? Да мне и неудобно. Одно, что ему, пожалуй, там петь не дадут. Ведь он, говорят, с норовом. Ссорится со всеми. Говорят, гуляка. Мы бы с вами поставили для него «Вражью силу» и «Юдифь» Серова, «Псковитянку» Римского-Корсакова, «Князя Игоря» Бородина. Хорош бы Галицкий был.

И Савва Иванович размышлял. Так размышлял, что на поезд опоздал.

— Надо послать за Труффи и Малининым.

Приехали Труффи и Малинин. Поехали все искать Шаляпина. Он жил на Охте, снимая комнату в деревянном двухэтажном доме, во втором этаже, у какого-то печатника. Когда мы постучали в



Ф. И. Шаляпин. 1896

Одна из малоизвестных фотографий молодого Шаляпина. Хранится в архиве Нижнего Новгорода

дверь, отворил сам печатник. Рыжий, сердитый человек. Он осмотрел нас подозрительно и сказал:

— Дома нет.

— А где же он, не знаете ли вы? — спросил Мамонтов.

— Да его уж больше недели нет. Черт его знает, где он шляется. Второй месяц не платит. Дает рублевку. Тоже жилец! Приедет — орет. Тоже приятели у него. Пьяницы все, актеры. Не заплатит — к мировому подам и вышибу. Может, служба у вас какая ему есть? Так оставьте записку.

Помню, в коридоре горела коптящая лампочка на стене. Комната Шаляпина была открыта.

— Вот здесь он живет, — сказал хозяин.

Я увидел узкую, неубранную кровать со смятой подушкой. Стол. На нем в беспорядке лежали ноты. Листки нот валялись и на полу; стояли пустые пивные бутылки.

Мамонтов, приложив клочок бумаги к стене, писал записку. Спросил, повернувшись к Труффи:

— Как его зовут?

Труффи засмеялся и сказал:

— Как зовут? Федя Шаляпин.

Записку оставили на столе и уехали ужинать к Пивато. У Пивато Труффи заказал итальянские макароны и все время разговаривал по-итальянски с Мамонтовым о Мазини.

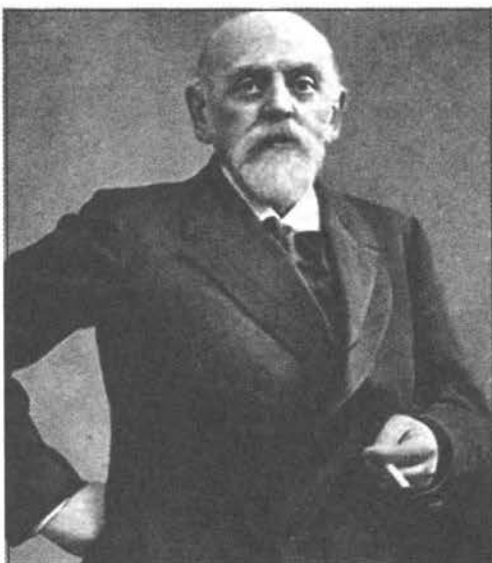
* * *

Прошло больше года. Ничего не было слышно о Шаляпине. Но Савва Иванович не забыл Шаляпина. И сказал мне раз:

— А я был прав, Костенька, Шаляпину-то петь не дают. И неустойка его всего 12 тысяч. Я думаю, его уступят мне без огорчения, кажется, его терпеть там не могут. Скандалист, говорят. Я поручил Труффи поговорить с ним. Одна беда: он больше, кажется, поет в хоре у Третья Филиппова, а ведь Третий мой кнут — государственный контролер. Он может со мной сделать, что хочет. Уступит ли он? Тут ведь дипломатия нужна. Неустойка — пустяки, я заплачу. Но я чувствую, что Шаляпин — уника. Это талант. Как он музыкален! Он будет отличный Олоферн. Вы костюм сделаете. Надо поставить, как мы поставили «Русалку». Это ничего, что он молод. Начинайте делать эскизы к «Юдифи».

Я удивлялся С. И. Мамонтову: как он любит оперу, искусство, как сразу понимает набросок, эскиз, хоть и не совсем чувствует, что я ишу, какое значение имеет в постановке сочетание красок.

А все его осуждали: «Большой человек — не делом занимается, театром». Всем как-то это было неприятно: и родственникам, и директорам железной дороги, и инженерам заводов.



С. И. Мамонтов

Шаляпин вспоминал, что, когда впервые увидел Савву Мамонтова, «плотного, коренастого человека с какой-то особенно памятной монгольской головой, с живыми глазами, энергичного в движениях... не подозревал в ту минуту, какую великую роль сыграет в [его] жизни этот замечательный человек».

«Наиболее ранний портрет Шаляпина... относится к началу работы певца в Русской частной опере. Серов запечатлел артиста в самую счастливую пору его жизни — вдохновенным, радостным, с глазами, сверкающими умом и энергией, упоенным молодостью и творчеством».

А. Г. Раскин. Шаляпин и русские художники



В. А. Серов
Портрет Шаляпина
1897

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

В Нижнем Новгороде достраивалась Всероссийская выставка. Особым цветом красили большой деревянный павильон Крайнего Севера, построенный по моему проекту.

Павильон Крайнего Севера, названный «двадцатым отделом», был совершенно особенный и отличался от всех. Проходящие останавливались и долго смотрели. Подрядчик Бабушкин, который его строил, говорил:

— Эдакое дело, ведь это што, сколько дач я построил, у меня дело паркетное, а тут всё топором... Велит красить, так, верите ли, краску целый день составляли, и составили — прямо дым. Какая

тут красота? А кантик по краям чуть шире я сделал, — «Нельзя, — говорит, — переделывай». И найдет же этаких Савва Иванович, прямо ушел бы... только из уважения к Савве Ивановичу делаешь. Смотреть чудно — канаты, бочки, сырье... Человека привез с собой, так рыбу прямо живую жрет. Ведь достать эдакого тоже где!

— Ну, что, — сказал он Савве Ивановичу, — сарай и сарай. Дали бы мне, я бы вам павильончик отделал в петушках, потом бы на дачу переделали, поставили бы в Пушкине.

На днях выставка открывается. Стараюсь создать в просторном павильоне Северного отдела то впечатление, вызвать у зрителя то чувство, которое я испытал там, на Севере.

Вешаю необделанные меха белых медведей. Ставлю грубые бочки с рыбой. Вешаю кожи тюленей, шерстяные рубашки поморов. Среди морских канатов, снастей — чудовищные шкуры белух, челюсти кита.

Самоед Василий, которого я тоже привез с собой, помогает мне, старается, меняет воду в оцинкованном ящике, в котором сидит у нас живой, милейший тюлень, привезенный с Ледовитого океана и прозванный Васькой.

Самоед Василий кормит его живой плотвой и сам, потихоньку выпив водки, тоже закусывает живой рыбешкой. Учит тюленя, показывая ему рыбку, кричать «ур...а!...».

— Урр...а, ур...а-а-а...

Тюлень так чудно подражает и тоже кричит: «Урр...а...»

— Можно посмотреть? — спросил вошедший в павильон худой и очень высокий молодой человек в длинном сюртуке, блондин, со светлыми ресницами серых глаз.

— Смотри, — ответил самоед Василий.

Тюлень Васька высунулся из квадратного чана с водой, темными глазами посмотрел на высокого блондина, крикнул:

— Ур-а... — и, блеснув ластами, пропал в воде.

— Это же черт знает что такое! — крикнул, отскочив, высокий молодой человек, отряхая брызги, попавшие ему в лицо от всплеска тюленя.

«Где это я видел этого молодого человека?» — подумал я.

Василий, не обращая внимания на его присутствие, выпил рюмку водки и съел живую плотицу. Молодой человек в удивленье смотрел прямо ему в рот.

И вдруг я вспомнил: «Это Шаляпин!»

Но он меня не узнал. И, обратившись ко мне, спросил:

— Что же это у вас тут делается? А? Едят живую рыбу! Здравствуйте, где это я вас видел? У Лейнера, в Петербурге, или где? Что это такое у вас? Какая замечательная зверюга!

Тюлень снова высунулся из воды. Шаляпин в упор смотрел на него и, смеясь, говорил:

— Ты же замечательный человек! Глаза какие! Можно его погладить?

— Можно, — говорю я.

Но тюлень блеснул ластами и окатил всего Шаляпина водой.

— Дозвольте просить на открытие, — сказал подрядчик Бабушкин, — вот сбоку открылся ресторан-с. Буфет и все прочее. Чем богаты, тем и рады.

— Пойдемте, — сказал я Шаляпину.

— Куда?

— Да в ресторан, вот открылся.

— Отлично. Мое место у буфета.

И он засмеялся.

Сбоку павильона, когда мы спускались с лестницы, штукатуры оканчивали большой чан. Я сказал:

— Этот чан будет наполнен водой, и здесь будут плавать большие морские чайки и альбатросы, которых я привез с дальнего Севера.

На террасе ресторана, когда мы сели за стол, хозяин подошел к нам и спросил:

— Что прикажете для начала?

Бабушкин распоряжался. Подавали балык, икру, водку, зеленый лук, расстегаи со стерлядью.

— Удивление — этот ваш павильон. Все глаза плят. Интересно. А в чану-то что будет? — обратился ко мне хозяин.

Я хотел ответить, но Шаляпин перебил меня:

«В 1905 г. Серов исполнил несколько карандашных набросков Шаляпина. Художник как бы случайно подсматривает артиста в самые неожиданные моменты: вот он стоит у рояля, бреется, поет... На всех рисунках мы видим... громоздкую фигуру Шаляпина, но каждое движение, жест его удивительно ловок, ладен и пластичен».

А. Г. Раскин. Там же



В. А. Серов

«Шаляпин бреется»

Эскиз. 1905

— По указу его императорского величества, будет наполнено водкой для всеобщего пользования даром.

Хозяин и буфетчик вылупили глаза.

— Господи! — воскликнул хозяин. — Конечно, ежели, но это никак невозможно!.. Ведь это что ж будет... народ обопьется весь.

— Ну вот, — сказал Шаляпин, — давно пора, а то...

Бабушкин, закрыв глаза, смеялся.

Весело завтракал Шаляпин и рассказывал какой-то новый анекдот. От буфета, улыбаясь, подошел к нам бравый полицейский пристав.

— Простите, — сказал, смеясь, — чего это вы говорите? Что из этого бассейна государь император поить народ водкой будет. Чего выдумаете! Невозможное положение. Говорите зря. Да ведь что в этом самое вредное — поверят! Ведь это пол-Нижнего придет. Не говорите, пожалуйста.

— Садитесь, — предложил Шаляпин. — Это я верно говорю. Но больше одного стакана не дадут. И только тому, кто живую плотицу съест. Вот как тот самоед.

И он стал звать рукой самоеда Василия.

Василий живо подбежал к нам. Шаляпин, наклонясь, что-то ему шепнул. Василий убежал в павильон и вернулся, держа в руках живую плотицу.

— Вот, посмотрите!

Шаляпин налил в стакан водку, Василий махом выпил ее и закусил плотицей.

— Видели? — сказал Шаляпин. — А теперь попробуй-ка нашей закуски...

Он еще налил стакан Василию и пододвинул к нему балык и икру.

Самоед выпил водку и стал оробело закусывать.

— Ну что, какая закуска лучше? — спросил Шаляпин.

— Наша, — ответил самоед.

— Поняли? — спросил пристава Шаляпин.

Бабушкин и пристав только переглядывались друг с другом:

— Какой народ, и откуда такой!

— А вот, — сказал Шаляпин, — настоящий народ. А вам подавай всё жареное да копченое!..

— Невиданное дело, — смеялся Бабушкин.

К павильону подошли С. И. Мамонтов с товарищем министра В. И. Ковалевским. Шаляпин, увидав их, крикнул:

— Савва Иванович, идите сюда.

Услышав голос Шаляпина, Савва Иванович направился к нам на террасу и познакомил Шаляпина с Ковалевским.

— Что делается! — хохотал Шаляпин. — Ваш павильон — волшебный. Я в первый раз в жизни вижу такие истории. Он и меня заставляет, — показал он на меня, — есть живого осетра. Кто это у вас, этот иностранец?

Шаляпин хохотал так весело, что невольно и мы все тоже засмеялись. А пристав даже вытирал слезы от смеху: «Что только выдумают!..»

* * *

На открытие Всероссийской выставки в Нижний Новгород приехало из Петербурга много знати, министры — Витте и другие, деятели финансов и промышленных отделов, вице-президент Академии художеств граф И. И. Толстой, профессора Академии.

На территории выставки митрополитом был отслужен большой молебен. Было много народу — купцов, фабрикантов (по приглашению).

Когда молебен кончился, Мамонтов, Витте, в мундире, в орденах, и многие с ним, тоже в мундирах и орденах, направились в павильон Крайнего Севера.

Мы с Шаляпиным стояли у входа в павильон.

— Вот это он делал, — сказал Мамонтов, показав на меня Витте, а также представил и Шаляпина.

Когда я объяснял экспонаты Витте, то увидел в лице его усталость. Он сказал мне:

— Я был на Мурмане. Его мало кто знает. Богатый край.

Окружающие его беспрестанно спрашивали меня то или другое про экспонаты и удивлялись. Я подумал: «Странно, они ничего не знают об огромной области России, малую часть которой мне удалось представить».

— Идите с Коровиным ко мне, — сказал, уходя, Мамонтов Шаляпину. — Вы ведь сегодня поете. Я скоро приеду.

Выйдя за ограду выставки, мы с Шаляпиным сели на извозчика. Дорогой он, смеясь, говорил:

— Эх, хорошо! Смотрите, улица-то вся из трактиров! Люблю я трактиры!

Правда, веселая была улица. Деревянные дома в разноцветных вывесках, во флагах. Пестрая толпа народа. Ломовые, везущие мешки с овсом, хлебом. Товары. Блестящие сбруи лошадей, разносчики с рыбой, баранками, пряниками. Пестрые, цветные платки женщин. А вдали — Волга. И за ней, громоздясь в гору, город Нижний Новгород. Горят купола церквей. На Волге — пароходы, барки... Какая бодрость и сила!

— Стой! — крикнул вдруг Шаляпин извозчику.

Он позвал разносчика. Тот подошел к нам и поднял с лотка ватную покрывку. Там лежали горячие пирожки.

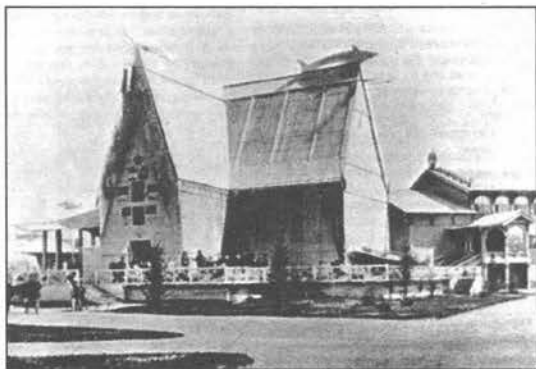
— Вот попробуй-ка, — сказал мне на «ты» Шаляпин. — У нас в Казани такие же.

Пирог были с рыбой и вязигой. Шаляпин их ел один за другим.

— У нас-то, брат, на Волге жрать умеют! У бурлаков я ел стерляжью уху в два навар. Ты не ел?

— Нет, не ел, — ответил я.

— Так вот, Витте и все, которые с ним, в орденах, лентах, таковой, брат, ухи не едали! Хорошо здесь. Зайдем в трактир — съедем уху. А потом я спать поеду. Ведь я сегодня «Жизнь за царя» пою.



*Павильон «Север»
на Всероссийской
выставке в
Нижнем Новгороде,
построенный по
эскизам Коровина
1896*

В трактире мы сели за стол у окна.

— Посмотри на мою Волгу, — говорил Шаляпин, показывая в окно. — Люблю Волгу. Народ другой на Волге. Не сквалыжники. Везде как-то жизнь для денег, а на Волге деньги для жизни.

Было явно: этому высокому размашистому юноше радостно — есть уху с калачом и вольно сидеть в трактире...

Там я его и оставил...

* * *

Когда я приехал к Мамонтову, тот обеспокоился, что Шаляпина нет со мной.

— Знаете, ведь он сегодня поет! Театр будет полон... Поедем к нему...

Однако в гостинице, где жил Шаляпин, мы его не застали. Нам сказали, что он поехал с барышнями кататься по Волге...

В театре, за кулисами, я увидел Труффи. Он был во фраке, завит. В зрительный зал уже собиралась публика, но Шаляпина на сцене не было. Мамонтов и Труффи волновались.

И вдруг Шаляпин появился. Он живо разделся в уборной доната и стал надевать на себя ватные толщинки. Быстро одеваясь и гримируясь, Шаляпин говорил, смеясь, Труффи:

— Ви, маэстро, не забудьте, пожалуйста, мои эффектные фермато.

Потом, положив ему руку на плечо, сказал серьезно:

— Труффочка, помнишь, — там не четыре, а пять. Помни паузу. — И острыми глазами Шаляпин строго посмотрел на дирижера.

Публика наполнила театр.

Труффи сел за пульт. Раздавались нетерпеливые хлопки публики. Началась увертюра.

После арии Сусанина «Чуют правду» публика была ошеломлена. Шаляпина вызывали без конца.

И я видел, как Ковалевский, со слезами на глазах, говорил Мамонтову:

— Кто этот Шаляпин? Я никогда не слышал такого певца!

К Мамонтову в ложу пришли Витте и другие и выражали свой восторг. Мамонтов привел Шаляпина со сцены в ложу. Все удивлялись его молодости.

За ужином, после спектакля, на котором собрались артисты и друзья, Шаляпин сидел, окруженный артистками, и там шел несмолкаемый хохот. После ужина Шаляпин поехал с ними кататься по Волге.

— Эта такая особенная человека! — говорил Труффи. — Но такой таланта я вижу в первый раз.

*Шаляпин в роли
Ивана Сусанина
Опера М. И. Глинки
«Жизнь за царя»*



В МОСКВЕ

В начале театрального сезона в Москве, в Частной опере Мамонтова, мной были приготовлены к постановке оперы: «Рогнеда» Серова, «Опричник» Чайковского и «Русалка» Даргомыжского.

В мастерскую на Долгоруковской улице, которую мы занимаем вместе с В. А. Серовым, часто приходил Шаляпин. Если засиживался поздно, то оставался ночевать.

Шаляпин был всегда весел и остроумно передразнивал певцов русских и итальянских, изображая их движения, походку на сцене. Он совершенно точно подражал их пению. Эта тонкая карикатура была смешна.

Своей подвижностью, избытком энергии, множеством переживаний — веселье, кутежи, ссоры — он так себя утомлял, что потом засыпал на двадцать часов и разбудить его не было возможности. Особенностью его было также, что он мог постоянно есть. Он был богатырского сложения.

Я не видел Шаляпина, чтобы он когда-либо читал или учил роль. И все же — он все знал, и никто так серьезно не относился к исполнению и музыке, как он. В этом была для меня какая-то неразгаданная тайна. Какой-либо романс он проглядывал один раз и уже его знал и пел.

Когда он бывал серьезно расстроен или о чем-нибудь скорбел, то делался молчалив и угрюм. Ничто не могло рассеять его дурного настроения. Он стоял у окна и стучал пальцем по стеклу или как-то рассеянно стряхивал с себя пыль или крошки со стола, которых не было.

Сначала я не понимал, что с ним происходит, и спросил однажды:

— Что с тобой?

— Как тебе сказать, — ответил он, — ты не поймешь. Я, в сущности, и объяснить как-то не могу. Понимаешь ли, как бы тебе сказать... в искусстве есть... постой, как это назвать... есть «чуть-чуть». Если это «чуть-чуть» не сделать, то нет искусства. Выходит около. Дирижеры не понимают этого, а потому у меня не выходит то, что я хочу... А если я хочу и не выходит, то как же? У них все верно, но не в этом дело. Машина какая-то. Вот многие артисты поют верно, стараются, на дирижера смотрят, считают такты — и скука!.. А ты знаешь ли, что есть дирижеры, которые не знают, что такое музыка. Мне скажут: сумасшедший, а я говорю истину. Труффи следит за мной, но сделать то, что я хочу, — трудно. Ведь оркестр, музыканты играют каждый день, даже по два спектакля в воскресенье, — нельзя с них и спрашивать, играют, как на балах. Опера-то и скучна. «Если, Федя, все делать, что ты хочешь, — говорит мне Труффи, — то хотя это верно, но это требует такого напряжения, что после спектакля придется лечь в больницу». В опере есть места, где нужен эффект, его ждут — возьмет ли тенор верхнее до, а остальное так, вообще. А вот это неверно.

Стараясь мне объяснить причину своей неудовлетворенности, Шаляпин много говорил и в конце концов сказал:

— Знаешь, я все-таки не могу объяснить. Верно я тебе говорю,



Сусанин — Шаляпин
Рисунок
Д. Мельникова

«Шаляпинский Сусанин — это отражение целой эпохи. Это виртуозное и таинственное воплощение народной мудрости, той мудрости, что в тяжелые годы испытаний спасала Русь от гибели», — писал исследователь творчества Шаляпина Э. А. Старк

Реклама
на спектакли
театра Зимина
в журнале
«Рампа и жизнь»

Театр оперы С. И. ЗИМИНА.

СПЕКТАКЛИ Ф. И. ШАЛЯПИНА

Въ понед., 8-го февраля—„ФАУСТЪ“. Въ среду, 10-го фев.—
„ВРАЖЬЯ СИЛА“. Въ пятницу 12-го фев.— „БОРИСЪ ГОДУНОВЪ“.

Уполномоченный дир. А. И. Варовий.



С. И. Зимин,
театральный
деятель, в 1904 году
открыл в Москве
частный оперный
театр, продолживший
дело С. И. Мамонтова
Рисунок Ф. Шляпина

«Я знаю милого Сергея
Ивановича, — писал певец
Зимину, — и, конечно,
в его желании, чтобы наши
спектакли были живее и
лучше, чем в Большом
театре, — нисколько не
сомневаюсь!»

а, в сущности, не то. Всё не то. Это надо чувствовать. Понимаешь, всё хорошо, но запаха цветка нет. Ты сам часто говоришь, когда смотришь картину, — не то. Всё сделано, всё выписано, нарисовано — а не то. Цветок-то отсутствует. Можно уважать работу, удивляться труду, а любить нельзя. Работать, говорят, нужно. Верно. Но вот и бык, и вол трудится, работает двадцать часов, а он не артист. Артист думает всю жизнь, а работает иной раз полчаса. И выходит — если он артист. А как — неизвестно.

На репетиции Шляпин пел вполголоса, часто останавливал дирижера, прося повторить, и, повторяя, пел полным голосом. Отбивал громко такт ногой, даже своему другу Труффи. Труффи не обижался и делал так, как хотел Шляпин. Но говорил мне, смеясь:

— Этот Черт Иваныч Шляпин — таланта огромная. Но он постоянно меняет, и всегда хорошо. Другая дирижер палочка бросит и уйдет. Но я его люблю, понимаю, какая это артист. Он чувствует музыку и понимает, что хотел композитор. Как он поет Лепорелло Моцарта. А Даргомыжского. Я, когда дирижирую, — плачу, удивляюсь и наслаждаюсь. Но я так устаю. Он требует особого внимания. Это такая великая артист...

В первый же сезон Частной оперы, когда выступал Шляпин, вся Москва говорила уже о нем, и когда мы с ним обедали в ресторане «Эрмитаж» или «Континенталь», то вся обедающая публика смотрела на Шляпина.

Шляпин не любил многолюдных мест, и когда попадал в большие рестораны, то старался сесть в сторонке, чтобы не возбуждать внимания.

При большом ресторане «Эрмитаж» был сад. И в этот сад от ресторана шла большая терраса. Как-то летом мы пришли туда с Шляпиным. Шляпин на террасе сидеть не хотел. Мы прошли внутрь ресторана и сели сбоку от буфета, за небольшой ширмой. Посетители заметили Шляпина и стали передвигать столы так, чтобы им было видно за ширмой Шляпина.

Нас было трое. Третий был приятель Шляпина — Лодыженский. Одет он был странно. На голове — котелок, поддевка, повязанная серебряным кавказским поясом. И был он похож на человека, торгующего лошадьми. Таких бывало много на скачках. Шляпин вдруг подозвал поваров и приказал ему принести пяток яиц и спиртовку. Я подумал, что он хочет глотать сырые яйца — для голоса, что он иногда и делал.

Нет. Он зажег спиртовку, попросил у Лодыженского его котелок и, держа его над огнем, вылил в него яйца.

— Что ты делаешь? — возмущался Лодыженский. — Пропал котелок.

— Черт с ним! — отвечал Шаляпин.

Котелок дымит, а Шаляпин накладывает из котелка к себе на тарелку яичницу. Публика возмутилась. Особенно сердился какой-то лицеист: «Это вызов! Какой хам!»

Все посетители ресторана, услышав, как Шаляпин готовит яичницу, подходили к буфету, будто выпить, а на самом деле — посмотреть вбок за ширму. Возвращаясь к своим столам, они громко выражали негодование. Доносились слова:

— Босьяк! Невежа!..

А Шаляпин оставался серьезен и продолжал с нами разговаривать как ни в чем не бывало. Конечно, яичницу он не ел, но ловко делал вид, что ест. Таких озорных проделок за ним было немало. Впрочем, были люди, не прощавшие Шаляпину и его больших гонимых.

Как-то весной, в ресторане Крынкина на Воробьевых горах, мы сидели на террасе за столиком. Был солнечный день. Мы ели крошку. Из окон террасы была видна Москва-река, горы в садах, и я писал маленький этюд.

Шаляпин пошел погулять. Неподалеку от меня, за столом, сидели какие-то посетители. Один был в форме телеграфиста. Он взглянул в окно на Шаляпина, который стоял у изгороди, и, вздохнув, сказал приятелям:

— Хорошо ему, легко живется, споет — и пожалуйста деньги. Штука не хитрая. Правды-то нет! Голос и голос! Другое дело, может, нужней. Молчит и работает. А этот орет на всю Москву — «кто я?».

— Послушайте, — сказал я. — Вы, я вижу, люди почтенные. За что вы не любите Шаляпина? Поет он для вас. Можете взять билеты, послушать его — получите большое удовольствие.

— Поет! Мы знаем, что поет. А сколько он получает?

— И вы тоже получаете.

— Нет, сколько он получает? Это разница. Я, вот, здесь вот эти горы Воробьевы и дворец его императорского высочества обслуживаю. Понять надо! Серьезное дело! Сколько он получает и сколько я? Разница! Вот что!

Человек был в большом гневе, и я не знал, что ответить. Когда вернулся Шаляпин и сел со мной за стол, сердитые люди поднялись и стали одеваться. Уходя, они зло посмотрели в нашу сторону.

* * *

У Шаляпина образовалось много знакомств в Москве, и летом он часто гостил в деревне Путятино, у певицы Частной оперы Т. С. Любатович.

Однажды он заехал ко мне и просил меня поехать с ним к Любатович:

— Поедем. Возьми ружье, ты ведь охотник. Там дичи, навер-



К. А. Коровин
*Портрет
Т. С. Люботович*
Фрагмент

но, много. Глушь, место замечательное. Татьяна — баба хорошая. Ты знаешь, ведь я женюсь.

— Как женишься? На ком? — удивился я.

— На Иоле Торнаги. Ну, балерину у нас знаешь? Она, брат, баба хорошая, серьезная. Ты шафером будешь. Там поблизости в деревне я венчаюсь. Должно быть, Труффи придет, Малинин, Рахманинов, Мамонтов. А как ты думаешь, можно мне в деревне в поддевке венчаться? Я терпеть не могу эти сюртуки, пиджаки разные, потом шляпы. Картуз же — умней, лучше. Козырек — он солнце загораживает, и ветром не сносит.

сит. В вагоне еду — я люблю смотреть в окошко. В Пушкино, к Карзинкиным недавно ехал, высунул в окошко, у меня панамы и улетела. Двадцать пять рублей заплатил...

СВАДЬБА

У подъезда одноэтажного домика в три окошка стояли подводы. Возчики долго томились и говорили: «Пора ехать, поп дожидается».

— Федор, — говорили Шаляпину, — пора ехать.

Но Шаляпин замешкался. Встал поздно.

— Постой, сейчас, — говорил он, — только папирос набью.

Невеста, уже одетая в белое платье, и все мы, гости, уже сели на подводы. Наконец выбежал Шаляпин и сел со мной на подводу. Он был одет в поддевку, на голове — белый чесучовый картуз.

Мы проехали мост, перекинутый через пруд. Здесь в крайней избе я жил с приятелем своим, охотником Колей Хитровым. Он выбежал из избы, подбежал к нам и сел на облучок рядом с возчиком.

— Господи, до чего я напугался! — обернувшись к нам, стал он рассказывать. — Говорят, здесь каторжник бежит. А меня вчера заставили сад сторожить — там ягоды воруют, клубнику. Вдруг слышу: по мосту кто-то бежит и звякает кандалами. Мост пробежал — и ко мне! Я скорей домой, схватил ружье и стал палить из окна. Мужики сбежались, ругаются: «Что ты, из дому стреляешь, — деревню зажжешь!» А я им: «Каторжник сейчас пробежал в кандалах к саду Татьяны Спиридоновны». Мужики — кто за косы, кто за вилы — ловить его. Мы все побежали к саду. Слышим: кандалами

звякает за садом. «Вон он где!» — кричу я. Подбежали — и вдруг видим... лошадь, и ноги у ней спутаны цепью. Вот меня мужики ругали!..

— Замечательный парень у тебя этот Коля, — смеясь, сказал мне Шаляпин. — Откуда достоешь таких?

* * *

Ехали лесами и полями. Вдали, за лесом, послышался удар грома. Быстро набежали тучи, сверкнула молния, и нас окатил проливной дождь. Кое у кого были зонтики, но у нас зонтиков не было, и мы приехали в церковь мокрехоньки.

Начался обряд венчания. Я держал большой металлический венец, очень тяжелый. Рука скоро устала, и я тихо спросил Шаляпина:

— Ничего, если я на тебя корону надену?

— Вали, — ответил он.

Венец был велик и спустился Шаляпину прямо на уши...

По окончании венчания мы пошли к священнику — на улице всё еще лил дождь.

В небольшом сельском домике гости едва поместились. Матушка и дочь священника хлопотали, приготавливая чай. Мы с Шаляпиным пошли на кухню, разделись и положили на печку сушить платье.

— Нельзя ли, — спросил Шаляпин священника, — достать вина или водки?

— Водки нет, а кагор, для церкви, есть.

И мы, чтобы согреться, усердно наливали в чай кагору. Когда двинулись в обратный путь, священник наделил нас зонтиками... У Путятина нам загрозили дорогу крестьяне, протянув поперек колеи ленту. Ее держали в руках девушки и визгливо пели какую-то песню, славя жениха и невесту.

В песне этой были странные слова, которые я запомнил:

Мы видели, мы встречали

Бродягу в сюртуке, в сюртуке, в сюртуке...

Мужики просили с молодых выкуп на водку. Я вынул рублевку и дал. Бабы говорили: «Мало. А нам-то на пряники?» Другие тоже дали крестьянам денег. Лепту собрали, и мы поехали.

Вернувшись к Татьяне Спиридоновне [Любатович], мы увидели столы, обильно уставленные винами и едой. Поздравляя молодых, все целовались с ними. Кричали «горько».

К вечеру Коле Хитрову опять выпал жребий сторожить сад. И когда я, распростившись, уходил к себе на деревню, Шаляпин вышел со мной.

— Пойдем посмотрим, как твой приятель караулит...

В глубине сада, огороженного канавой с разваленным частоколом, мы увидели огонек фонаря.

Шаляпин сделал мне знак, мы легли в траву и тихо поползли к канаве. Фонарь, горевший в шалашике, покрытом рогожей, освещал испуганное лицо Коли. Вытаращив глаза, он смотрел в темную ночь.



Ф. И. Шаляпин
Автопортрет. 1914

Анализируя этот автопортрет Шаляпина, А. Г. Раскин писал: «В повороте головы, чуть отведенной назад, в волосах, как бы откинутах ветром, в напряженности линии, очерчивающей лоб и подбородок, ощущается порыв, устремленность вперед, навстречу безграничным просторам».

*Шаляпин в опере
«Псковитянка»
Н. И. Римского-
Корсакова
Рисунок
Ю. Анненкова*



*А. Я. Головин
Шаляпин в роли
Бориса Годунова
Этюд к картине*



— А этого сторожа надо резать! — не своим голосом сказал Шаляпин.

— Кто такой? — завопил неистово Коля. — Буду стрелять!

И, выскочив из шалаша, пустился бежать из сада.

— Держи его! — кричал Шаляпин. — Не уйдешь!..

Коля кинулся к дому Татьяны Спиридоновны. Прибежав туда, он крикнул:

— Разбойники!..

Все переполошились. Высыпали на улицу.

Подходя к дому, мы увидели Иолу Игнатьевну, молодую. В беспокойстве она говорила:

— Господи! Где Федя, что с ним?..

Шаляпин был в восторге.

ЧАСТНАЯ ОПЕРА

Сезон в Частной опере в Москве, в театре Мамонтова, открылся оперой «Псковитянка» Римского-Корсакова.

Я, помню, измерил рост Шаляпина и сделал дверь в декорации нарочно меньше его роста, чтобы он вошел в палату наклоненный и здесь выпрямился, с фразой:

— Ну, здравия желаю вам, князь Юрий, мужи-псковичи, присесть позвольте.

Так он казался еще огромнее, чем был на самом деле. На нем была длинная и тяжелая кольчуга из кованого серебра. Эту кольчугу, очень древнюю, я купил на Кавказе у старшины хевсур. Она плотно облегла богатырские плечи и грудь Шаляпина. И костюм Грозного сделал Шаляпину тоже я.

Шаляпин в Грозном был изумителен. Как бы вполне обрел себя в образе сурового русского царя, как бы принал в себя его неспокойную душу. Шаляпина не было на сцене, был оживший Грозный.

В публике говорили:

— Жуткий образ...

Таков же он был и в «Борисе Годунове»...

Помню первое впечатление.

Я слушал, как Шаляпин пел Бориса, из ложи Теляковского. Это было совершенно и восхитительно.

В антракте я пошел за кулисы. Шаляпин стоял в бармах Бориса. Я подошел к нему и сказал:

— Ну, знаешь ли, сегодня ты в ударе.

— Сегодня, — сказал Шаляпин, — понимаешь ли, я почувствовал, что я в самом деле Борис. Ей-богу! Не с ума ли я сошел?

— Не знаю, — ответил я. — Но только сходи с ума почаще...

Публика была потрясена. Вызовам, крикам и аплодисментам не было конца. Артисты это называют «войти в роль». Но Шаляпин больше чем входил в роль — он поистине перевоплощался. В этом была тайна его души, его гения.

Когда я в ложе рассказал Теляковскому, что Шаляпин сегодня вообразил себя подлинным Борисом, тот ответил:

— Да, он изумителен сегодня. Но причина, кажется, другая. Сегодня он поссорился с Купером, с парикмахером, с хором, а после ссор он поет всегда как бы утверждая свое величие... Во многом он прав. Ведь он в понимании музыки выше всех здесь.

* * *

Состав артистов Частной оперы в Москве был удивительный. В «Фаусте», например, Маргариту пела Ван-Зандт, Фауста — Анджело Мазини, Мефистофеля — Шаляпин.

Шаляпин тогда впервые выступал с Мазини и на репетиции, помню, все посматривал на него. Мазини не пел, а только условливался с дирижером и проходил места на сцене.

По окончании репетиции Шаляпин мне сказал:

— Послушай, а Мазини какой-то особенный. Барин. Что за штука? В трио мне говорит: «Пой так», — и мы с Ван-Зандт, представь, три раза повторили. Обращается ко всем на «ты». Бевиньяни его слушается. Иола говорила, что замечательный певец. Я еще не слышал...

Ван-Зандт, Мазини, Шаляпин... Вряд ли «Фауст» шел в таком составе где-нибудь в Европе...

Шаляпин был в восторге от Мазини. Говорил: «У него особенное горло»; «Вот он умеет петь».

За ужином после спектакля, на котором Ван-Зандт не присутствовала, рядом сидели Мазини, Девойд, молодой тенор Пиццорни, Дюран и многие другие артисты, все говорили по-итальянски.

К концу ужина Мазини, не пивший шампанского, налил себе красного вина и протянул стакан Шаляпину.

— Ты замечательный артист, — сказал он. — Приезжай ко мне в Милан гостить. Я тебе покажу кое-что в нашем ремесле. Ты будешь хорошо петь.

И, встав, подошел к Шаляпину, взял его за щеки и поцеловал в лоб...

Шаляпин не забыл приглашения Мазини и весной поехал в Милан. Вернувшись летом в Москву, он был полон Италией и в восторге от Мазини.

Одет был в плащ, как итальянец. Курил длинные сигары, из которых перед тем вытаскивал соломинку. А выкурив сигару, бросал окурки через плечо.

В сезоне, в «Дон-Жуане» с Падилла, Шаляпин пел Лепорелло уже по-итальянски, с поразительным совершенством. Да и говорил по-итальянски, как итальянец. А в голосе его появились лиризм и *mezzo voce**.

* * *

Однажды в Париже, не так давно, когда Шаляпин еще не был болен, за обедом в его доме его старший сын Борис**, после того, как мы говорили с Шаляпиным о Мазини, спросил отца:

— А что, папа, Мазини был хороший певец?

Шаляпин, посмотрев на сына, сказал:



Ф. И. Шаляпин
*Автопортрет в роли
Бориса Годунова*
1916

* Мягкость (*ит.*).

** Борис Федорович Шаляпин
(1904 — 1979) —
художник. — Ред.

— Да Мазини не был певец, это вот я, ваш отец, — певец, а Мазини был серафим от Бога.

Вот как Шаляпин умел ценить настоящее искусство.

Мы продолжали в тот вечер говорить о Мазини.

— Помнишь, — сказал я, — Мазини на сцене мало играл, почти не гримировался, а вот стоит перед глазами образ, который он создавал в «Фаворитке», в «Севильском цирюльнике». Какая мера!.. Какое обаяние!

— Еще бы! Ведь он умен... Он мне, брат, сказал: «Бери больше, куда поёшь, а то пошлют к черту, и никому не будешь нужен!» Мазини ведь пел сначала на улицах. Знал жизнь...



Б. Ф. Шаляпин
*Портрет
Шаляпина в роли
Бориса Годунова
1930. Париж*

— А вот я встретил как-то в Венеции Мазини, он меня позвал в какой-то кабачок пить красное вино, там был какой-то старик, гитарист, он взял у него гитару и долго пел со стариком. Помню, я себя чувствовал не на земле: Мазини замечательно аккомпанировал на гитаре. В окна светила луна, и черные гондолы качались на Canale Grande*. Это было так красиво, — мне мнилось, будто я улетел в другой век поэзии и счастья. Никогда не забуду этого вечера.

— А я не слышал, как он поет с гитарой. Должно быть, хорошо... А вот скажи, что это стоит — эта ночь, когда Мазини пел с гитарой? Сколько франков?

— Ну, не знаю, — ответил я. — Ничего не стоит!..

— Вот и глупо, — сказал Шаляпин.

— Почему? Он же сам жил в это время, он же артист. Он восторгался ночью.

— Да, может быть. Он был странный человек...

В Милане в галерее — знаешь, там бывают артисты, певцы, кофе пьют — он мне однажды сказал: «Все они не умеют петь».

— Как же, постой... Когда я писал портрет с Мазини, отдыхая, он обычно пел с гитарой и, помню, однажды сказал мне: «Я вижу, тебе нравится, как я пою». — «Я не слышал ничего лучше», — ответил я. «Это что! — сказал мне Мазини. — У меня был учитель, которому я не достоин застегнуть сапоги. Это был Рубини. Он умер». И Мазини перекрестился всей рукой. «А я слышал Рубини», — сказал я. «Ты слышал Рубини?» — «Да, четырнадцать лет, мальчиком, я слышал Рубини. Может быть, я не понял, но, по моему, вы, Анджело, вы поете лучше». — «Неужели?» — Мазини радостно засмеялся...

— Какая несправедливость, — сказал вдруг Шаляпин, Мазини чуть не до восьмидесяти лет пил красное вино, а я не могу. У меня же сахар нашли. И черт его знает, откуда он взялся!.. А ты знаешь, что Мазини на старости сделался антикваром?... Я тоже, брат, хожу по магазинам и всякие вещи покупаю. Вот фонари купил. Может быть, придется торговать. Вот, видишь ли, я дошел до понимания Тициана. Вот это, видишь, у меня Тициан, — показал он на большую картину с нагими женщинами.

И, встав из-за стола, повел меня смотреть полотно.

— Вот видишь, подписи нет, а холст Тициана. Но я отдам рес-

* Большой канал (ит.).

таврировать, так, вероятно, найдут и подпись. Что ж ты молчишь? Это же Тициан? — тревожился Шаяпин.

— Не знаю, Федя, — сказал я. — Может быть, молодой. Но что-то мне не особенно нравится.

— Ну вот, значит, меня опять надули.

Шаяпин расстроился до невозможности.

ШАЛЯПИН И ВРУБЕЛЬ

На Долгоруковской улице в Москве, в доме архитектора Червенко, была у меня мастерская.

Для Серова Червенко построил мастерскую рядом с моей. Ход был один.

Приехав из Киева, Врубель поселился у меня в мастерской.

Врубель был отрешенный от жизни человек — он весь был поглощен искусством. Часто по вечерам приходил к нам Шаяпин, иногда и после спектакля. Тогда я посылал дворника Петра в трактир за пивом, горячей колбасой, калачами.

На мольберте стоял холст Врубеля. Большая странная голова с горящими глазами, с полуоткрытым сухим ртом. Все было сделано резкими линиями, и начало волос уходило к самому верху холста. В лице было страдание. Оно было почти белое.

Придя ко мне, Шаяпин остановился и долго смотрел на полотно:

— Это что же такое? Я ничего подобного не видал. Это же не живопись. Я не видал такого человека.

Он вопросительно смотрел на меня.

— Это кто же?

— Это вот Михаил Александрович Врубель пишет.

— Нет. Этого я не понимаю. Какой же это человек?

— А нарисовано как! — сказал Серов. — Глаза. Это, он говорит, «Неизвестный».

— Ну, знаешь, этакую картину я бы не хотел у себя повесить. Наглядишься, отведешь глаза, а он всё в глазах стоит... А где же Врубель?

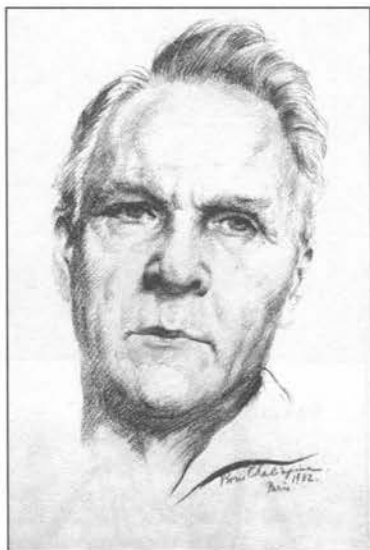
— Должно быть, еще в театре, а может, ужинает с Мамонтовым.

Шаяпин повернул мольберт к стене, чтобы не видеть головы «Неизвестного».

— Станный человек этот Врубель. Я не знаю, как с ним разговаривать. Я его спрашиваю: «Вы читали Горького?», а он: «Кто это такой?». Я говорю: «Алексей Максимович Горький, писатель». — «Не знаю». Не угодно ли? В чем же дело? Даже не знает, что есть такой писатель, и спрашивает меня: «А вы читали Гомера?» Я говорю: «Нет». — «Почитайте, неплохо... Я всегда читаю его на ночь».

— Это верно, — говорю я, — он всегда на ночь читает. Вон, видишь, — под подушкой у него книга. Это Гомер.

Я вынул изящный небольшой томик и дал Шаяпину.



Б. Ф. Шаяпин
Портрет отца
1932. Париж

Николай Бенуа писал о сыне Шаяпина: «Борис унаследовал от отца многие способности. Но из всех предпочел живопись, достигнув в этой области большого успеха и как пейзажист и как портретист. И я помню, как всегда охотно Федор Иванович позировал сыну, которым он так гордился... Портреты и зарисовки отца, сделанные Борисом, являются бесценнейшими памятниками великому русскому артисту!..»

Шаляпин открыл, перелистал книгу и сказал:

— Это же не по-русски.

— Врубель знает восемь иностранных языков. Я его спрашивал, отчего он читает именно Гомера. «За день, — ответил он, — устанешь, наслушаешься всякой мерзости и скуки, а Гомер уводит...» Врубель — очень хороший человек, но со странностями. Он, например, приходит в совершенное расстройство, когда манжеты его рубашки испачкаются или промнутся. Он уже не может жить спокойно. И если нет свежей под рукою, бросит работу и поедет покупать рубашку. Он час причесывается у зеркала и тщательно отделяет ногти. А в газетах утром читает только отдел спорта и скачки. Скачки он обожает, но не играет. Обожает лошадей. Ездит верхом, как жокей. Приятели у него все — спортсмены, цирковые атлеты, наездники. Он ведь и из Киева с цирком приехал.

Отворилась дверь, и вошел М. А. Врубель.

— Как странно, — сказал он, — вот здесь, по соседству, зал отдается под свадьбы и балы. Когда я подъехал и платил извозчику, я увидел, что в доме бал. А у подъезда лежит контрабас, а за ним — музыкант на тротуаре. И разыгрывается какой-то скандал. В этом было что-то невероятно смешное. Бегут городовые, драка.

— Люблю скандалы, — вскинулся Шаляпин, — пойдёмте посмотрим.

— Все кончилось, — сказал Врубель, — повезли всех в полицию.

— Послушайте, Михаил Александрович, вот вы — образованный человек, а вот здесь стояла картина ваша, такая жуткая, — что это за человек, «Неизвестный»?

— А это из лермонтовского «Маскарада» — вы же знаете, читали.

— Не помню... — сказал Шаляпин.

— Ну, забыть трудно, — ответил Врубель.

— Я бы не повесил такую картину у себя.

— Бойтесь, что к вам придет такой господин? А может прийти...

— А все-таки, какой же это человек, «Неизвестный», в чем тут дело?

— А это друг ваш, которого вы обманули.

— Это все ерунда. Дружба! Обман! Все только и думают, как бы тебя обойти. Вот я делаю полные сборы, а спектакли без моего участия проходят чуть ли не при пустом зале. А что я получаю? Это же несправедливо! А говорят — Мамонтов меня любит! Если любишь, плати. Вот вы Горького не знаете, а он правду говорит: «Тебя эксплуатируют». Вообще в России не любят платить... Я сказал третьего дня Мамонтову, что хочу получать не помесечно, а по спектаклям, как гастролер. Он и скис. Молчит, и я молчу.

— Да, но ведь Мамонтов зато для вас поставил все оперы, в которых вы создали себя и свою славу, он имеет тоже право на признательность.

— А каменщикам, плотникам, архитекторам, которые строили театр, я тоже должен быть признателен? И, может быть, даже им платить? В чем дело? «Псковитянка!» Я же Грозный, я делаю



«Шаляпин сердится»
Рисунок А. Шабад

сборы. Трезвинский не сделает. Это вы господские разговоры ведете.

— Да, я веду господские разговоры, а вот вы-то не совсем...

— Что вы мне говорите «господские»? — закричал, побледнев, Шаляпин. — Что за господа! Пороли народ и этим жили. А вы знаете, что я по паспорту крестьянин и меня могут выпороть на колючие?

— Это неправда, — сказал Врубель. — После реформ Александра II никого, к сожалению, не порют.

— Как, «к сожалению»? — крикнул Шаляпин. — Что это он говорит, какого барина разделяет из себя!

— Довольно, — сказал Врубель.

Что-то неприятное и тяжелое прошло в душе. Шаляпин крикнул:

— И впрямь, к черту всё и эту тему!

— Мы разные люди. — Врубель оделся и ушел.

— Кто он такой, этот Врубель, что он говорит? — продолжал в гневе Шаляпин. — Гнилая правда.

— Да, Федор Иванович, когда разговор зайдет о деньгах, всегда какая-нибудь гадость выходит, — сказал Серов и заморгал глазами. — Но Мамонтову театр тоже, кажется, много стоит. Его ведь все за театр ругают. Только вы не бойтесь, Федор Иванович, вы получите...

— Есть что-то хочется, — сказал несколько погодя Шаляпин. — Поехать в «Гурзуф», что ли, или к «Яру»? Константин, у тебя деньги есть, а то у меня только три рубля.

И он вынул из кармана свернутый трешник.

— Рублей пятнадцать... Нет — двенадцать. Этого мало.

Я обратился к Серову:

— Антон, у тебя нет денег?

— Мало, — сказал Серов и полез в карман.

У него оказалось семь рублей.

— Я ведь не поеду, вот возьмите пять рублей.

— Куда же ехать, — сказал я, — этих денег не хватит.

Поездка не состоялась, и Шаляпин ушел домой.



М. М. Чупрыников

Ф. И. Шаляпин

Скульптура демонстрировалась на первой художественной выставке артистов в 1912 году. Там же были представлены и рисунки Шаляпина

КОНЕЦ ЧАСТНОЙ ОПЕРЫ

В характере Шаляпина произошла некоторая перемена. По утрам, просыпаясь поздно, он долго оставался в постели. Перед ним лежали все выходящие газеты, и первое, что он читал, была театральная хроника, к которой он всегда относился с большим раздражением.

— Когда ругают, — говорил он, — то неверно, а когда хвалят, то тоже неверно, потому что ничего не понимают. Кашкин еще куда ни шло, ну а Кругликов — это что ж! странный человек. Вообще у нас критика бутербродная...

Утром приходили знакомые, поклонники. Шаляпин принимал их, лежа в постели. В это время нянька приносила к нему родив-



Шаляпин на охоте

шегося сына Игоря*. Ребенок был со светлыми кудрями, и Шаляпин играл с ним, несчетно целуя и радуясь.

Когда его спрашивали, что он намерен петь новое, он нехотя отвечал, что не знает; не знает, будет ли и вообще-то петь еще.

А мне всегда говорил серьезно и наедине:

— Ты скажи, Константин, Мамонтову, что я хочу жить лучше, что у меня, видишь ли, сын и я хочу купить дом. В сущности, в чем же дело? У всех же есть дома. Я тоже хочу иметь свой дом. Отчего мне не иметь своего дома?

Шаляпин был озабочен материальным благополучием, а Мамонтов говорил, что он требует такой оплаты, какой Частный театр дать не может. Нет таких сборов. Гастроли Мазини не могут проходить целый год, так как публика не может оплатить такого сезона. Таманьо не мог сделать десять полных сборов по таким повышенным ценам.

Из-за денежных расчетов между Шаляпиным и Мамонтовым происходили частые недоразумения.

— Есть богатые люди, почему же я не могу быть богатым человеком? — говорил Шаляпин. —

Надо сделать театр на десять тысяч человек, и тогда места будут дешевле.

Мамонтов был совершенно с ним согласен, но построить такого театра не мог. Постоянная забота о деньгах, получениях, принимала у Шаляпина болезненный характер. Как-то случилось так, что он никогда не имел при себе денег — всегда три рубля и мелочь. За завтраком ли, в поезде с друзьями — он растерянно говорил:

— У меня же с собой только три рубля...

Это было всегда забавно.

* * *

Летом Шаляпин гостил где-нибудь у богатых людей или у друзей: у Козновых, Ушковых. И более всего у меня.

Когда мы приезжали ко мне в деревню на охоту или на рыбную ловлю, мужички приходили поздравить нас с приездом. Им надо было дать на водку, на четверть, и я давал рубль двадцать копеек.

Шаляпин возмущался и ругательски меня ругал.

— Я же здесь хочу построить дом, а ты развращаешь народ! Здесь жить будет нельзя из-за тебя.

— Федя, да ведь это же охотничий обычай. Мы настреляли тетеревов в их лесу сколько, а ты сердишься, что я даю на чай. Ведь это их лес, их тетерева.

Серов, мигая, говорил:

— Ну, довольно, надоело.

И Шаляпин умолкал.

* Первый сын Шаляпина (1899 — 1903), умерший в четырехлетнем возрасте. — Ред.

Государственный контролер Третий Иванович Филиппов обратился как-то к Шаляпину, чтобы тот приехал в Петербург для участия в его хоре. Шаляпин спросил Мамонтова, как в данном случае поступить.

— Как же, Феденька, — ответил Мамонтов, — вы же заняты в театре у меня, билеты проданы. Это невозможно.

И Мамонтов написал Филиппову письмо, что не может отпустить Шаляпина. В это время уже заканчивалась постройка Архангельской железной дороги.

— Какая странность, — говорил мне Мамонтов, — ведь ему же известно, что Шаляпин находится у меня в труппе. Ему надо было прежде всего обратиться ко мне...

В конце концов Шаляпин уехал все же в Петербург петь в хор. Между Филипповым и Мамонтовым вышла ссора...

В это время (1899 год) я был привлечен к сотрудничеству князем Тенишевым, назначенным комиссаром русского отдела на парижской выставке 1900 года. Великая княгиня Елизавета Федоровна также поручила мне сделать проект кустарного отдела и помочь ей в устройстве его.

И вдруг в Париже я узнал, что Мамонтов разорен и арестован. Вернувшись в Москву, я с художниками Васнецовым и Серовым навестил Мамонтова в тюрьме. Савва Иванович был совершенно покоен и тверд и не мог нам объяснить, почему над ним стряслась беда. <...> Всё быстро продали с аукциона — и заводы, и дома.

Я сейчас же навестил Савву Ивановича в доме его сына, куда его перевели под домашний арест. Савва Иванович держал себя так, будто с ним ничего не случилось. Его прекрасные глаза, как всегда, смеялись. И он только грустно сказал мне:

— А Феденьке Шаляпину я написал, но он что-то меня не навестил.

Частная опера продолжалась под управлением Винтер — сестры артистки Любатович. Я не был в театре под ее управлением. Там делал постановки М. А. Врубель, с которым Шаляпин поссорился окончательно. А потом, кажется, и со всеми в театре.

ОБЕД У КНЯГИНИ ТЕНИШЕВОЙ

Я вернулся в Париж и занимался устройством русского отдела выставки. Однажды утром, как сейчас помню, приехал Шаляпин в гостиницу на рю* Коперник и поселился со мной. Была весна, апрель. Я торопился с работами. Первого мая открывалась выставка. В русском отделе все было готово. Во время работ по размеще-

Известно более двадцати автопортретов Шаляпина, созданных им с первых лет XX в. и до 30-х годов. «Они пронизаны чувством, сохраняют жизненный трепет, выражают настроения автора. В этом смысле шаляпинские автопортреты — подлинные человеческие документы».

А. Г. Раскин. Шаляпин и русские художники



Ф. Шаляпин. «Я»
Автошарж. 1916

* Rue — улица (фр.).

нию экспонатов Шаляпин был всегда со мной на выставке. Для этого даже получил отдельный пропуск. Но скучал и говорил:

— Ну довольно, кончай, пойдем завтракать. Ты посмотри на мой Париж, — говорил он с акцентом, подражая какому-то антрепренеру.

Шаляпин был весел. Говорил:

— Я здесь буду петь.

Княгиня Тенишева приглашала Шаляпина к себе, и князь усердно угощал его роскошными обедами и розовым шампанским, приговаривая:

— Пейте. Всё вздор.

И оба усердно выпивали.

Но вышло недоразумение. Княгиня позвала Шаляпина на большой обед в их особняке на рю Бассано. Было приглашено много народу. В конце обеда княгиня

просила Шаляпина спеть. Шаляпин отказался, говоря, что у него нет с собой нот. Но оказалось, что уже был приглашен пианист и приобретены ноты его репертуара. Пришлось согласиться.

Шаляпин пел. Приглашенные гости-иностранцы были в восхищении от замечательного артиста. Он пел много и был в ударе. Утром на другой день Тенишев прислал Шаляпину в подарок булавку с бриллиантом. А Федор Иванович как раз в это время сидел у меня и писал счет за исполненный концерт. Счет был внушительный, и тут же был послан князю Тенишеву с его же посланным.

В полдень, отправляясь завтракать на выставку, мы встретили у подъезда того же посланного. Он принес большой пакет с деньгами от князя Тенишева и попросил Шаляпина дать расписку в получении.

В ресторане за завтраком я сказал, смеясь:

— Что ж ты, Федя, получил и булавку, и деньги.

— А как же, булавка — это подарок, а я за подарок не пою. Это же был концерт. Я пел почти три часа. Какие же тут булавки.

— Ты так перед отъездом и не повидал Савву Ивановича? — спросил я.

— Нет, я же не понимаю, в чем дело. Арест. А ты думаешь, что он виноват?

— Нет, я не думаю, что он виноват. Этого не может быть, — сказал я убежденно.

— Это, должно быть, Третий [Филиппов] ему устроил праздник. Он же контролер. У него все виноваты.

— А вот ты Третью за концерт счета не напишешь.

— Ну нет! Я тоже ему счетик написал! Заплатил. Но уж больше меня в хор петь не зовет.

И Шаляпин засмеялся.

На выставке мы завтракали в ресторане «Бояр», где стены были из одного стекла. Весеннее солнце весело играло по столам. Недалеко, в стороне, сидел какой-то господин и всё посматривал на нас.

— Это русский, — сказал Шаляпин.



*Париж.
Большие бульвары
Фото начала XX в.*

Рядом с ним сидели двое иностранцев. Разбавляя абсент, они лили в длинные бокалы, поверх которых лежали кусочки сахара, воду. Русский позвал гарсона и заказал ему тот же напиток, что пили иностранцы, но щелчком сшиб сахар с бокала и велел налить его дополна абсентом. Гарсон вопросительно посмотрел на чудака. Русский, встав, сказал:

— Федор Иванович, ваше здоровье! — И одним духом выпил весь стакан абсента.

— Постой, — сказал Шаляпин. И, поднявшись, подошел к русскому. — Что это вы пьете?

— Без воды надо это пить, они не понимают.

— Ну-ка, налей.

И Шаляпин тоже выпил абсент без воды.

— А крепкая штука, в первый раз пью. Водка-то наша — просто вода...

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИМПЕРАТОРСКИЕ ТЕАТРЫ

По открытии парижской выставки в мае 1900 года я получил письмо от управляющего московскими императорскими театрами В. А. Теляковского, в котором он мне предлагал принять на себя ведение художественной части московских императорских театров и сообщить о времени моего приезда в Москву.

Я сказал об этом Шаляпину.

— Придется и тебе петь в императорском театре.

— Вряд ли, — ответил мне Федор Иванович, — они меня там терпеть не могут. Да к тому же считают революционером.

— Какой ты революционер? Где ж ты будешь петь? Мамонтов ведь разорен.

На этом разговор наш оборвался.

По приезде моем в Москву, на другой же день утром, ко мне приехал очень скромного вида человек, одетый в серую военную тужурку. Он был немножко похож лицом на простого русского солдата. В светло-серых глазах его я прочел внимание и ум.

Он просто сказал мне:

— Я бы хотел, чтобы вы вошли в состав управления театрами. Страдает у нас художественная сторона. Невозможно видеть невежественность постановок. Я видел ваши работы у Мамонтова, и мне хотелось бы, чтобы вы работали в театре. Жалею, что нельзя привлечь Мамонтова, с ним такое несчастье.

— А как же с оперой? — сказал я. — Ведь опера — это Шаляпин. Какая же русская опера без Шаляпина?

— Да, это правда, — согласился Теляковский. — Но это очень трудно провести. Хотя я об этом всегда думал.

В тот же день я приехал к Теляковскому, и мы с ним проговорили до шести часов утра... <...>

Ф. И. Шаляпин
1900-е годы



* * *

Шаляпин тем временем вел ежедневно переговоры с Теляковским. И Теляковский говорил мне, смеясь:

— Ну и особенный человек ваш Шаляпин. Вы знаете, какие пункты он вносит в контракт? Например: постоянная годовая ложа для его друга Горького. Потом еще три ложи для его друзей, которых, оказывается, он даже поименно не знает. Потом плата, не виданная в императорских театрах, — полторы и две тысячи за спектакль. Притом он уже несколько раз терял подписанные мной с ним контракты. Наконец, знаете, что я сделал? Я подписал ему чистый бланк, чтобы он вставил сам пункты, какие ему нравятся. Все равно, кроме платы, ничего выполнить невозможно. Например: у его уборной должны находиться, по его требованию, два вооруженных солдата с саблями наголо...

Я не мог слушать эти рассказы без смеха.

— Зачем же это ему нужно?

Теляковский отвечал, тоже смеясь:

— А как же! Для устрашения репортеров...

Через некоторое время Теляковский вновь мне сказал:

— Шаляпин-то ваш опять контракт потерял. Жена его положила в шкаф, а шкаф переменял мебельщик. Всё ищет, пока поет без контракта. Чтоб удовлетворить его требования, пришлось повысить цены на его спектакли. Что делать? Великий артист... Я лично рассказал государю о Шаляпине, контрактах, декадентах. Государь смеялся и сказал, что ему все только и говорят, что о декадентах в императорском театре.

Вскоре, по уходе Волконского, Теляковский был назначен директором императорских театров в Петербурге. Императорские театры — опера и балет — делали с тех пор полные сборы, и казенные субсидии театрам уменьшились благодаря этому более чем вдвое.

Газеты долго еще продолжали писать о декадентстве. И вдруг — тон изменился. Про меня начали писать: «Наш маститый», «превзошел себя». Уже привыкнув к ругани, я даже испугался: не постарел ли я?..

Шаляпин был в полном расцвете сил и своей славы.

СПЕКТАКЛЬ В ЧЕСТЬ ЛУБЕ

В Петербург приехал президент Французской республики Лубе. Весной, в Китайском театре в Царском Селе, был назначен парадный спектакль. Я делал декорации для акта «Фонтаны» из балета «Конёк-Горбунок», оперы «Фауст» — «Сад Маргариты», а также для сцены «Смерть Бориса», в которой участвовал Шаляпин.

Подошел вечер спектакля. Шаляпин одевался и гримировался Борисом. Режиссеры волновались, как бы не опоздал. <...>

— Начинайте, начинайте, — говорил Шаляпин.

В это время в уборную к нему зашел великий князь Владимир Александрович.

Сев против гримировавшегося Шаляпина, он спросил его:

— Ну как? Что-нибудь новое учите?

— Некогда, ваше императорское высочество, — ответил Шаляпин. — Некогда.

— А что же?

— У меня французенка, ваше высочество, и какая! Что учить? Когда учить? Все равно все забудешь... Какая французенка! Вы поймете...

— А, а! — засмеялся басом великий князь. — Что же, все может быть. И давно это с вами случилось?

— На днях.

— Федор Иванович, — говорил оробелый режиссер, — увертюра кончается, ваш выход.

— Я слышу, слышу — сказал Шаляпин и быстро поднялся.

Я вышел с ним на сцену. У выходной двери, сзади декораций боярской думы, режиссер, державший дверь, чтобы выпустить в нужный момент Шаляпина, следил по клавиру. Шаляпин, стоя около меня, разговаривал с балетной танцовщицей:

— Господи, если бы я не был женат... Вы так прекрасны! Но это все равно, моя дорогая...

Тут режиссер открыл дверь, и Шаляпин, мгновенно приняв облик обреченного царя, шагнул в дверь со словами:

— Чур, чур, дитя, не я твой лиходей...

В голосе его зазвучала трагедия.

Я удивился его опыту и этой невероятной уверенности в себе. Он был поразителен...



Федор Шаляпин
Шарж братьев Легат
1904

СКАНДАЛ

После спектакля Лубе уехал. Все артисты были приглашены к ужину. Мы с Шаляпиным уехали в ресторан «Медведь». К нам присоединился основатель русского оркестра Андреев*.

В зале ресторана к нам подошел какой-то человек высокого роста, поздоровался с Андреевым и обратился к Шаляпину:

— Я никак не могу достать билет на ваш спектакль. Вы теперь знаменитость, а я вас помню, когда вы еще ею не были. Дайте-ка мне два билета.

— Я же не ношу с собой билетов, — ответил Шаляпин. — Обратитесь в кассу театра.

— Не надо, — сказал пришедший.

И, обратившись к Андрееву, добавил:

— Загордился не в меру! Забыл, как в Казани пятерку у меня выклянчил.

Шаляпин побледнел. Я схватил его за руку и сказал:

— Он же пьян.

Но Шаляпин, вскочив, как тигр, сразу перевернул обидчика в воздухе.

* Василий Васильевич Андреев (1861 — 1918) — балалаечник-виртуоз, основатель первого оркестра русских народных инструментов. — Ред.

Все, сидевшие кругом, бросились на Шаляпина, повисли на нем... Но он в одно мгновение всех раскидал и вышел в раздевальню: «Едем!» Он весь трясся...

И мы уехали на Стрелку.

— Вот видишь, — сказал Шаляпин, — я нигде не могу бывать. Ни в ресторане, нигде. Вечные скандалы.

Протянув руку, он налил себе вина.

— Смори, — сказал я, — что это, рука у тебя в крови?

— Да, — ответил он, — что-то этот палец не двигается, распух что-то. Должно быть, я ему здорово дал.

И спросил у Андреева:

— Кто он такой?

— Да ювелир один, я его знаю. Он парень хороший. Ты ведь это зря, Федя, он спьяну.

— Что такое — хороший? Какие же я могу ему дать билеты! Я же их в кармане не ношу. Вообще, у меня никаких билетов нет.

Я оговорил в контракте, что буду сам распределять часть билетов публике, но контракт, понимаешь, Иола потеряла. А из-за этого черт знает что выходит... не верит ведь никто, что у меня биле-

тов нет. Будто я дать не хочу. Придется кассу сделать у меня в доме.

— Ерунда, — говорю я. — Что ж, у твоих ворот будет всю ночь стоять народ в очереди?

— Ну, так тогда пускай мне дадут полицию, я буду разгонять. Я же говорю, что в этой стране жить нельзя.

Шаляпин опять расстроился.

В это время метрдотель на серебряном подносе подал Шаляпину и нам бокалы с шампанским. Там же лежала карточка. Метрдотель показал на дальний стол.

— Это оттуда вам приказали подать.

Шаляпин взял бокал и стал пристально смотреть на сидевших за дальним столом. Там заплотировали, и весь зал подхватил. Аплотирова, кричали:

— Спойте, Шаляпин, спойте.

— Вот видишь, я прав — жить нельзя. — Шаляпин вновь побледнел. — Уйдем, а то будет скандал...

Дорогой Шаляпин говорил:

— Я же есть хочу. Поедем к Лейнеру, там сядем в отдельный кабинет.

У Лейнера кабинета не оказалось. Пришлось пойти в «Малый Ярославец». В «Малом Ярославце» — о, радость — мы встретили Глазунова с виолончелистом Вержбиловичем. Они сидели одни за столиком в пустом ресторане и пили коньяк. Глазунов заказал яблоко. Вержбилович сказал:

— Мы блины с ним ели. Сидим — поминаем Петра Ильича Чайковского.

▲ КОНЦЕРТЫ ФЕДОРА ИВАНОВИЧА ШАЛЯПИНА ▼

Петербург — 27 декабря; Москва — 30 декабря; с 2-го января турне по России.

Симфонические концерты под управлением 8-летнего дирижера Вилли ФЕРРЕРО. Петербург и Москва — декабрь.

Открытие сезона Итальянской оперы в Петербурге 7-го января 1914 г. «Риголетто». Участники: Э-де Идальго, М. Половерози, М. Баттистини и др.

Концерты Маттиа БАТТИСТИНИ: С.-Петербург, Варшава, Рига, Киев.

Администратор Л. Н. Аннибалъ. ♦ Уполномоченный дирекции А. И. Барский.

Реклама о
поездках
Ф. И. Шаляпина
по России в
журнале
«Рампа и жизнь»
1913

Он обратился ко мне:

— Помните, как мы здесь часто обедали?

И к Шаляпину:

— Жаль, не пришлось ему послушать вас. А то б он написал для вас. Вот Николай Андреевич [Римский-Корсаков] верхним чутьем взял. Учужал, что Шаляпин будет.

— Верно, — подтвердил Глазунов. — Действительно, почуял, что будет артист.

Шаляпин при встрече с большими артистами всегда менял тон. Бывал чрезвычайно любезен и ласков.

— Коньяк хорош, — сказал Глазунов. — И приятно после блинов. Советую с яблоком.

Шаляпин рассказал за ужином про трудности своей жизни и о том, что ему недостаточно платят. Глазунов и Вержбилович слушали молча и рассеянно.



Н. А. Римский-Корсаков
Рисунок **Ф. Шаляпина**
1908

ВЕСНА

Слышу, в коридоре звонок. Отворяю — Федор Иванович Шаляпин. Раздеваясь, говорит:

— Весна, оттепель!

Смотрит на меня вопросительно:

— Ты в деревню не едешь? Я свободен эту неделю. Ты там на тягу ходишь в лес. Я бы тоже хотел пойти. Я как-то не знаю, что такое тяга.

В коридоре опять звонок. Отворяю — Павел Александрович Тучков, в пенсне, в котелке, лицо веселое. Раздеваясь, говорит:

— Весна. Я еду к тебе. Тянет, понимаешь ли, тянет. Понять надо, да, да...

— Куда тебя тянет? — спрашивает Федор Иванович, закуривая папиросу.

— На природу тянет. Вальдшнепы тянут, жаворонки прилетели. Вы ничего не понимаете. Я сейчас ехал на извозчике к тебе. Он меня везет по теневой стороне. Я говорю — возьми налево, где солнце. А он говорит: «Никак невозможно». — «Держи лево», — говорю ему. А он: «Чего? Мне из-за вас городской морду побьет». Довольно всего этого. Я еду к тебе сегодня же с ночным. Там заеду к Герасиму и сажусь на кряковую утку. На реке, у леса.

— Если ты едешь один, — говорю я, — то возьми паспорт. А то может нагряться урядник, лицо у тебя такое серьезное, подумает: что это за человек такой сердитый живет, взять его под сомнение. А ты — камергер...

— Постой, — Павел Александрович озабоченно полез в боковой карман, поискал и достал паспорт.

— Ну-ка, дай, — Федор Иванович взял у него из рук паспорт. — Что же это такое? При-чи-сленный... Какая гадость. — Федор Иванович захохотал.

— Постой, дай сюда, — рассердился Павел Александрович.

Он взял паспорт у Шаляпина и мрачно спросил: «Где это?»

— Да вот тут, — показал Шаляпин. — Ну, «состоящий»,

«Шаляпин умел видеть и понимать духовную красоту людей, с которыми ему приходилось общаться... Точностью передачи натуры отмечен портретный набросок Римского-Корсакова. Сделанный через несколько месяцев после смерти композитора, он был своеобразной данью его памяти».

А. Г. Раскин. Шаляпин и русские художники

«утвержденный», а то «причисленный» — ерунда. Какой-то мелкий чинуша.

— Постой, — уже совсем в сердцах сказал Тучков. — Дай чернила. — И, сев за стол, вычеркнул из паспорта обидное слово. — Причисленный — непричисленный, всё это вздор, пошлости. Но весна — и я еду. Сажусь на кряковую утку там, на реке, у леса...

— Позволь, в чем дело? То есть, как же ты на утку сядешь? — спросил Шаляпин.

— Довольно шуток. Ничего не понимаешь и не поймешь. Пой себе, пой, но в охотники не лезь, и все вы ничего не понимаете. Что вам весна? Понимаете, что значит до весны дожиться? Дожить до весны — счастье. А вам все равно, у вас там, — он показал на грудь, — пусто. Я еду.

— И я, Павел, еду с тобой, — сказал серьезно Шаляпин. — Но только в чем же все-таки дело? Что значит сесть на утку? Надо же ясно говорить.

— Все равно не поймешь, — сказал Павел Александрович. — Не охотник — и молчи.

— Постой, — вступился я. — Всё очень просто. Берется утка и небольшой деревянный кружок, плоский, на палке. К кружку веревкой привязывается за лапу утка. Палку с кружком и уткой ставят на воду в реке, недалеко от берега. Утка плавает на привязи около кружка и кричит. А селезни летят на зов утки, и их с берега стреляют.

— А когда же на нее садятся? — серьезно спросил Федор Иванович.

— Довольно пошлостей, — рассердился Павел Александрович. — Вздор. Не то. Утка домашняя не годится. На нее не сядешь. Понимаешь? У ней селезень около всегда свой, а уток Герасим приготавливал — ручных, диких, помесь с кряквой. Эти утки орут. Зовут селезней весной, и те летят к ним из пространства. Понимаешь? Женихи летят. А ты сидишь на берегу в кустах и стреляешь — одного, другого, десятого.

— Вот какая история... — сказал Шаляпин. — Бабы вообще бессердечны. Убивают любовника, а ей все равно. Теперь понимаю, в чем дело, и тоже еду...

На Ярославском вокзале мы все собрались. Публика поглядывала на могучую фигуру Федора Ивановича, одетого охотником, в высоких новых сапогах.

Когда сели в вагон, все были в хорошем настроении.

В весенней ночи горели звезды. К утру приехали на станцию, сели в розвальни, покатали по талой дороге, объезжая большие лужи.

В глубине весеннего неба летели журавли, и лес оглашался пением птиц. О молодость! О весна! О Россия!

Федор Иванович потерял папиросы и рассердился.

В моем доме, в лесу, у самой речки, пахло сосной. В большой комнате — мастерской — шипел самовар... Деревенские лепеш-



ки, ватрушки, пирожки... А в окна видны были горящие на солнце сосны, проталины и лужи у сарая. Куры кудахтали — весна, весна...

Герасим принес в корзине уток. Объяснял Федору Ивановичу, что утки эти не домашние, а помесь дикой с домашней. Эта орет, а на домашнюю сегодня не возьмешь...

К вечеру, на берегу разлившейся реки, в кустах, расселись охотники. А в воде, недалеко от берега, поставили кружки, у которых плавали привязанные за лапу утки и орал во все горло. Селезни дурум летели на утиный призыв. Их тут и стреляли.

Наутро они были поданы к завтраку. Федор Иванович был очень доволен, хотя, к сожалению, простудился. Насморк. Вероятно, потому, что оделся очень тепло в ангорские кофты.

С. А. Виноградов
Интерьер дачи
Коровина в Охотине
Фотокопия. Из фондов
Переславль-Залесского
музея-заповедника

НА ОТДЫХЕ

Это лето [1903 года] Шаляпин и Серов проводили со мной в деревне близ станции Итларь. Я построился в лесу, поблизости от речки Нерли. У меня был чудесный новый дом из соснового леса.

Моими друзьями были охотники-крестьяне из соседних деревень — милейшие люди. Мне казалось, что Шаляпин впервые видит крестьян — он не умел как-то с ними говорить, немножко их побаивался. А если и говорил, то всегда какую-то ерунду, которую они выслушивали с каким-то недоверием.

Он точно роль играл — человека душа нараспашку; всё на кого-то жаловался, намекал на горькую участь крестьян, на их тяжелый

труд, на их бедность. Часто вздыхал и подпирал щеку кулаком. Друзья мои охотники слушали про все эти тяжкие невзгоды народа, но отвечали как-то невпопад и видимо скучали.

Почему взял на себя Шаляпин обязанность радетеля о народе — было непонятно. Да и он сам чувствовал, что роль не удается, и часто выдумывал вещи уже совсем несуразные: про каких-то помещиков, будто бы ездивших на тройке, запряженной голыми девками, которых били кнутами, и прочее в том же роде.

— Этого у нас не бывает, — говаривал ему, усмехаясь, охотник Герасим Дементьевич.

А однажды, когда Шаляпин сказал, что народ нарочно спаивают водкой, чтобы он не сознавал своего положения, заметил:

— Федор Иванович, и ты выпить не дурак. С Никоном-то Осипчем на мельнице, на-кося, гуся зажарили, так полведра вы вдвоем-то кончили. Тебя на сене на телеге везли, а ты мертво спал. Кто вас неволил?..

* * *

Был полдень. Шаляпин встал и медленно одевался. Умывать ему подавал у террасы дома расторопный Василий Харитонов Белов, маляр, старший мастер декоративной мастерской. Он служил у меня с десятилетнего возраста; когда я впервые охотился в этих местах, отец его упросил меня взять его: «Дитев больно много — прямо одолели».

От меня Василий Белов ушел в солдаты. Служил где-то в Польше и опять вернулся ко мне. Человек он был серьезный и положительный. Лицо имел круглое, сплошь покрытое веснушками, глаза как оловянные пуговицы, роста небольшого, выправка — солдатская. Говорил отчетливо: «Так точно, никак нет». Федор Иванович его очень любил. Любил с ним поговорить.

Разговоры были особенные и очень потешали Шаляпина. Он говорил, что Василий — замечательный человек, и хохотал от души. А Василий хмурился и говорил потом на кухне, что у Шаляпина только смехун в голове, сурьеза никакого — хи-хи да ха-ха, а жалование получает здоровое...

Василий имел особое свойство — всё путать. На этот раз, подавая умываться Шаляпину из ковша, рассказал, что студенты — народ самый что ни есть отчаянный — в Москве, на Садо-

вой, в доме Соловейчика, где находится декоративная мастерская, женщину третьего дня зарезали, и в карете скорой медицинской помощи ее отправили в больницу. Он сам видел — до чего кричала! Вот какой народ эти студенты — хуже нет.

— Что же, — спросил Шаляпин, — красива, что ли, она была или богата?

— Чего красива! — с неудовольствием ответил Василий. —



В. А. Серов
Коровин рыбачит
1904

Толстая, лет под шестьдесят. Сапожникова жена. Бедные — в подвале жили.

— Ты что-то врешь, Василий, — сказал Шаляпин.

— Вот у вас с Кистинтин Ликсеичем Василий всё врет. Веры нету.

— Так зачем же студентам резать какую-то толстую старую бабу, жену бедного сапожника, ты подумай?

— Так ведь студенты!.. Народ такой!..

Шаляпин, умывшись, пришел в мою большую мастерскую. Там уже кипел самовар. Подали оладьи горячие, пирожки с вязигой, сдобные лепешки, выборгские крендели.

Василий вошел и подал Шаляпину «Московский листок», который он привез с собой, и сказал:

— Вот, сами прочтите, а то всё говорите: «Василий врет». — И ушел.

Шаляпин прочел: «Студенты Московского университета, в количестве семи человек, исключаются за невзнос платы». Далее следовало: «В Тверском участке по Садовой улице, в доме Соловейчика, мещанка Пелагея Митрохина, 62 лет, в припадке острого алкоголизма, поранила себе сапожным ножом горло и в карете скорой медицинской помощи была доставлена в больницу, где скончалась, не приходя в сознание».

— Ловко Василий читает, — смеялся Шаляпин. — Замечательный человек.

* * *

Однажды они с Серовым выдумали забаву.

При входе ко мне в мастерскую был у двери вбит сбоку гвоздь. Василий всегда браво входил на зов, вешал на гвоздь картуз, вытягивался и слушал приказания.

И вот однажды Серов вынул гвоздь и вместо него написал гвоздь краской, на пустом месте, и тень от него.

— Василий! — крикнул Шаляпин.

Василий, войдя, по привычке хотел повесить картуз на гвоздь. Картуз упал. Он быстро поднял картуз и вновь его повесил. Картуз опять упал.

Шаляпин захохотал.

Василий посмотрел на Шаляпина, на гвоздь, сообразил, в чем дело, молча повернулся и ушел.

Придя на кухню, говорил, обидевшись:

— В голове у них мало. Одно вредное. С утра всё хи-хи да ха-ха... А жалованье все получают во какое!

* * *

— Василий, ну-ка скажи, — помню, спросил у него в другой раз Шаляпин, — видал ты русалку водяную или, к примеру, лесового черта?

— Лесового, его не видал, и русалку не видал, а есть. У нас прапорщик в полку был — Усачев... Красив до чего, ловок. Ну, и за по-

лячками бегал. Они, конечно, с ним то-се. Пошел на пруд купаться. Ну и шабаш — утопили.

— Так, может, он сам утонул?

— Ну нет. Почто ему топиться-то? Они утопили. Все говорили. А лесовиков много по ночи. Здесь место такое, что лесовые заводят. Вот Феокист надясь рассказывал, что с ним было. Здесь вот, у кургана, ночью шел, так огонь за ним бежал. Он от него, а ему кто-то по морде как даст! Так он, сердешный, до чего бежал — задохся весь. Видит, идет пастушонок, да как его кнутовищем вытянет! А время было позднее, насилу дома-то отдышался.

— Ну и врешь, — сказал Шаляпин. — Феокисту по морде дали в трактире на станции. Приятеля встретил, пили вместе. А как платить — Феокист отказался: «Ты меня звал». Вот и получил.

— Ну вот, — огорчился Василий. — А мне говорит: «Это меня лесовик попотчевал ночью здесь, к Кистентину Лисеичу шел».

И такие разговоры были у Шаляпина с Василием постоянно.

* * *

К вечеру ко мне приехали гости: гофмейстер Н. и архитектор Мазырин — мой школьный товарищ, человек девического облика, по прозвищу Анчутка.

Мазырин, по моему поручению, привез мне лекарства для деревни. Между прочим, целую бутылку касторового масла.

— Это зачем же столько касторового масла? — спросил Шаляпин.

Я сказал:

— Я его люблю принимать с черным хлебом.

— Ну, это врешь. Это невозможно любить.

Я молча взял стакан, налил касторового масла, обмакнул хлеб и съел.

Шаляпин в удивлении смотрел на меня и сказал Серову:

— Антон! Ты посмотри, что Константин делает. Я же запаха слышать не могу.

— Очень вкусно, — сказал я. — У тебя просто нет силы воли преодолеть внушение.

— Это верно, — встрял в разговор Анчутка, — характера нет.

— Не угодно ли, характера нет! А ты сам попробуй...

Мазырин сказал:

— Налей мне.

Я налил в стакан. Он выпил с улыбкой и вытер губы платком.

— В чем же дело? — удивился Шаляпин. — Налей и мне.

Я налил ему полстакана. Шаляпин, закрыв глаза, выпил залпом.

— Приятное препровождение времени у вас тут, — сказал гофмейстер.

Шаляпин побледнел и бросился вон из комнаты...

— Что делается, — засмеялся Серов и вышел вслед за Шаляпиным.

Шаляпин лежал у сосны, а Василий Белов поил его водой. Отлежавшись, Шаляпин пососал лимон и обвязал голову мокрым полотенцем. Мрачнее ночи вернулся он к нам.

— Благодарю. Угостили. А вот Анчутка — ничего. Странное дело...

Он взглянул на бутылку и крикнул:

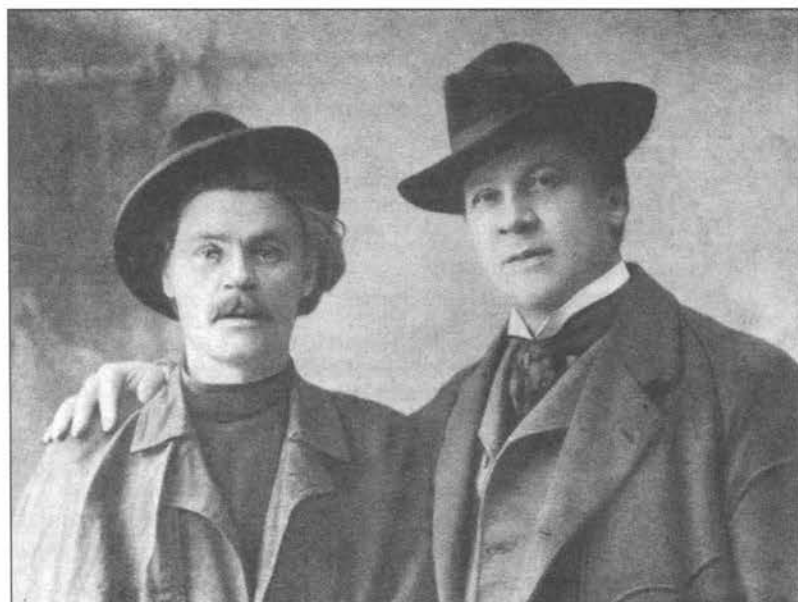
— Убери скорей, я же видеть ее не могу...

И снова опрометью кинулся вон.

ПРИЕЗД ГОРЬКОГО

Утром рано, чем свет, когда мы все спали, отворилась дверь, и в комнату вошел Горький.

В руках у него была длинная палка. Он был одет в белое непромокаемое пальто. На голове — большая серая шляпа. Черная блуза, подпоясанная простым ремнем. Большие начищенные сапоги на высоких каблуках.



*М. Горький и
Ф. Шаляпин
1900-е годы*

Встреча с Горьким стала поворотным моментом в жизни Шаляпина. Но и на Горького певец произвел неизгладимое впечатление. В письме к издателю В. А. Поссе Горький вспоминал: «Был здесь (в Н. Новгороде. — *Ред.*) Шаляпин. Этот человек — скромно говоря — гений... Это, брат, некое большое чудовище, одаренное страшной, дьявольской силой поработать толпу. Умный от природы, он в общественном смысле пока еще — младенец, хотя и слишком развит для певца. И это *слишком* — позволяет ему творить чудеса... Огромная, славная фигура!»

— Спать изволят? — спросил Горький.

— Раздевайтесь, Алексей Максимович, — ответил я. — Сейчас я распоряжусь — чай будем пить.

Федор Иванович спал как убитый после всех тревог. С ним спала моя собака Феб, которая его очень любила.

Гофмейстер и Серов спали наверху в светелке.

— Здесь у вас, должно быть, грибов много, — говорил Горький за чаем. — Люблю собирать грибы. Мне Федор говорил, что вы страстный охотник. Я бы не мог убивать птиц. Люблю я певчих птиц.

— Вы кур не едите? — спросил я.

— Как сказать... Ем, конечно... Яйца люблю есть. Но курицу ведь режут... Неприятно... Я, к счастью, этого не видал и смотреть не могу.

— А телятину едите?

— Да как же, ем. Окрошку люблю. Конечно, это все несправедливо.

— Ну, а ветчину?

— Свинья все-таки животное эгоистическое. Ну конечно, тоже бы не следовало.

— Свинья по четыре раза в год плодится, — сказал Мазырин. — Если их не есть, то они так расплодятся, что сожрут всех людей.

— Да, в природе нет высшей справедливости, — сказал Горький. — Мне, в сущности, жалко птиц и коров тоже. Молоко у них отнимают, детей едят. А корова ведь сама мать. Человек — скотина порядочная. Если бы меньше было людей, было бы гораздо лучше жить.

— Не хотите ли, Алексей Максимович, поспать с дороги? — предложил я.

— Да, пожалуй, — сказал Горький. — У вас ведь сарай есть. Я бы хотел на сене поспать, давно на сене не спал.

— У меня свежее сено. Только там, в сарае, барсук ручной живет. Вы не испугаетесь? Он не кусается.

— Не кусается — это хорошо. Может, он только вас не кусает?

— Постойте, я пойду его выгоню.

— Ну, пойдемте, я посмотрю, что за зверюга.

Я выгнал из сарая барсука. Он выскочил на свет, сел на травку и стал гладить себя лапками.

— Все время себя охорашивает, — сказал я, — чистый зверь.

— А морда-то у него свиная.

Барсук как-то захрюкал и опять проскочил в сарай.

Горький проводил его взглядом и сказал:

— Стоит ли ложиться?

Видно было, что он боялся барсука, и я устроил ему постель в комнате моего сына, который остался в Москве.

К обеду я заказал изжарить кур и гуся, уху из рыбы, пойманной нами, раков, которых любил Шаляпин, жареные грибы, пирог с капустой, слоеные пирожки, ягоды со сливками.

За едой гофмейстер рассказал о том, как ездил на открытие мощей преподобного Серафима Саровского, где был и государь, говорил, что сам видел исцеления больных: человек, который не ходил шестнадцать лет, встал и пошел.

— Исцеление! — засмеялся Горький. — Это бывает и в клиниках. Вот во время пожара параличные сразу выздоравливают и начинают ходить. При чем здесь все эти угодники?

— Вы не верите, что есть угодники? — спросил гофмейстер.

— Нет, я не верю ни в каких святых.

— А как же, — сказал гофмейстер, — Россия-то создана честными людьми веры и праведной жизни.

— Ну нет. Туенядцы ничего не могут создать. Россия создавалась трудом народа.

— Пугачевыми, — сказал Серов.

— Ну, неизвестно, что было бы, если бы Пугачев победил.

— Вряд ли, все же, Алексей Максимович, от Пугачева можно

было ожидать свободы, — сказал гофмейстер. — А сейчас вы приходите — народ не свободен?

— Да как сказать... в деревнях посвободнее, а в городах скверно. Вообще, города не так построены. Если бы я строил, то прежде всего построил бы огромный театр для народа, где бы пел Федор. Театр на двадцать пять тысяч человек. Ведь церковью же настроено на десятки тысяч народу.

— Как же строить театр, когда дома еще не построены? — спросил Мазырин.

— Вы бы, конечно, сначала построили храм? — сказал Горький гофмейстеру.

— Да, пожалуй.

— Позвольте, господа, — сказал Мазырин. — Никогда не надо начинать с театра, храма, домов, а первое, что надо строить, — это остроги.

Горький, поблуднев, вскочил из-за стола и закричал:

— Что он говорит? Ты слышишь, Федор? Кто это такой?

— Я — кто такой? Я — архитектор, — сказал спокойно Мазырин. — Я знаю, я строю, и каждый подрядчик, каждый рабочий хочет вас надуть, поставить вам плохие материалы, кирпич ставить на песке, цемент уворовать, бетон, железо. Не будь острога, они бы вам показали. Вот я и говорю — город с острога надо начинать строить.

Горький нахмурился:

— Неумно.

— Я-то дело говорю, я-то строил, а вы сочиняете... и говорите глупости, — неожиданно выпалил Мазырин.

Все сразу замолчали.

— Постойте, что вы, в чем дело, — вдруг спохватился Шаляпин. — Алексей Максимыч, ты на него не обижайся, это Анчутка слуду...

Мазырин встал из-за стола и вышел из комнаты.

Через несколько минут в большое окно моей мастерской я увидел, как он пошел по дороге с чемоданчиком в руке.

Я вышел на крыльцо и спросил Василия:

— Куда пошел Мазырин?

— На станцию, — ответил Василий. — Они в Москву поехали.

От всего этого разговора осталось неприятное впечатление. Горький все время молчал.

После завтрака Шаляпин и Горький взяли корзинки и пошли в лес за грибами.

— А каков Мазырин-то! — сказал, смеясь, Серов. — Анчутка-то!.. А похож на девицу...

— Горький — романтик, — сказал гофмейстер. — Странно, почему он все сердится? Талантливый писатель, а тон у него точно у обиженной прислуги. Всё не так, все во всем виноваты, конечно, кроме него...

Вернувшись, Шаляпин и Горький за обедом ни к кому не обращались и разговаривали только между собой. Прочие молчали. Анчутка еще висел в воздухе.

К вечеру Горький уехал.

НА РЫБНОЙ ЛОВЛЕ

Был дождливый день. Мы сидели дома.

— Вот дождик перестанет, — сказал я, — пойдем ловить рыбу на удочку. После дождя рыба хорошо берет.

Шаляпин, скучая, пел:

Вдоль да по речке,

Речке по Казанке,

Серый селезень плывет...

Одно и то же, бесконечно.

А Серов сидел и писал из окна этюд — сарай, пни, колодезь, корову.

Скучно в деревне в ненастную пору.

— Федя, брось ты этого селезня тянуть. Надоело.

— Ты слышишь, Антон, — сказал Шаляпин Серову (имя Серова — Валентин. Мы звали его Валентошей, Антошей, Антоном), — Константину не нравится, что я пою. Плохо пою. А кто ж, позвольте вас спросить, поет лучше меня, Константин Алексеевич?

— А вот есть. Цыганка одна поет лучше тебя.

— Слышишь, Антон. Коська-то ведь с ума сошел. Какая цыганка?

— Варя Панина. Поет замечательно. И голос дивный.

— Ты слышишь, Антон? Коську пора в больницу отправить. Это какая же, позвольте вас спросить, Константин Алексеевич, Варя Панина?

— В «Стрельне» поет. За пятерку песню поет. И поет как надо... Ну, погода разгулялась, пойдем-ка лучше ловить рыбу...

Я захватил удочки, сажалку и лесы. Мы пошли мокрым лесом, спускаясь под горку, и вышли на луг.

Над соседним бугром, над крышами мокрых сараев, в небесах полукругом светилась радуга. Было тихо, тепло и пахло дождем, сеном и рекой.

На берегу мы сели в лодку и, опираясь деревянным колом, поплыли вниз по течению. Показался желтый песчаный обрыв по ту сторону реки. Я остановился у берега, воткнул кол, привязал веревку и, распустив ее, переплыл на другую сторону берега.

На той стороне я тоже вбил кол в землю и привязал к нему туго второй конец веревки. А потом, держа веревку руками, переправился назад, где стоял Шаляпин.

— Садись, здесь хорошее место.

С Шаляпиным вместе я, вновь перебирая веревку, доплыл до середины реки и закрепил лодку.

— Вот здесь будем ловить.

Отмерив грузом глубину реки, я на удочках установил поплавок, чтобы наживка едва касалась дна, и набросал с лодки прикормки — пареной ржи.

— Вот смотри: на этот маленький крючок надо надеть три зернышка — и опускай в воду. Видишь маленький груз на леске. Смотри, как идет поплавок по течению. Он чуть-чуть виден. Я нарочно так сделал. Как только его окунет — ты тихонько подсекай концом удилища. И поймаешь.

— Нет, брат, этак я никогда не ловил. Я просто сажаю червяка и сижу, покуда рыба клюнет. Тогда и тащу.

Мой поплавок медленно шел по течению реки и вдруг пропал. Я дернул кончик удочки — рыба медленно шла, подергивая конец. У лодки я ее подхватил подсачком.

— Что поймал? — спросил Шаляпин. — Какая здоровая.

— Язь.

Шаляпин тоже внимательно следил за поплавком и вдруг изо всех сил дернул удочку. Леска оборвалась.

— Что ж ты так, наотмашь? Обрадовался сдуру. Леска-то тонкая, а рыба большая попала.

— Да что ты мне рассказываешь, леска у тебя ни к черту не годится!

Покуда я переделывал Шаляпину снасть, он запел:

Вдоль да по речке...

— На рыбной ловле не поют, — сказал я.

Шаляпин, закидывая удочку, еще громче стал петь:

Серый селезень плывет...

Я, как был одетый, встал в лодке и бросился в воду. Доплыл до берега и крикнул:

— Лови один.

И ушел домой.

К вечеру пришел Шаляпин. Он наловил много крупной рыбы. Весело говорил:

— Ты, брат, не думай, я живо выучился. Я, брат, теперь и петь брошу, буду только рыбу ловить. Антон, ведь это черт знает какое удовольствие! Ты-то не ловишь!

— Нет. Я люблю смотреть, а сам не люблю ловить.

Шаляпин велел разбудить себя рано утром на рыбную ловлю. Но, когда его будил Василий Белов, раздался крик:

— Чего же, сами приказали, а теперь швыряетесь!

— Постой, Василий, — сказал я, — давай ведро с водой. Залезай на чердак, поливай сюда, через потолок пройдет.

— Что же вы, сукины дети, делаете со мной! — орал неистово Шаляпин. Мы продолжали поливать. Шаляпин озлился и выбежал в рубашке — достать нас с чердака. Но на крутой лесенке его встретили ведром холодной воды. Он сдлся и хохотал...

— Ну что здесь за рыба, — говорил Герасим Дементьевич. — Надо ехать на Новенькую мельницу. Там рыба крупная. К Никону Осиповичу.

На Новенькую мельницу мы взяли с собой походную палатку, закуски, краски и холсты. Всё это — на отдельной телеге. А сами

Ф. И. Шаляпин

«Не клюет!»

1914

Рисунок сделан в Ратухине, недалеко от дачи Шаляпина. Тот же мост, что виден в глубине наброска, изображен на картине К. А. Коровина «Осень. На мосту» (см. цв. вклейку)



ехали на долгуше, и с нами приятель мой, рыболов и слуга Василий Княжев, человек замечательный.

Ехали проселком, то полями ржаными, то частым ельником, то строевым сосновым лесом. Заезжали в Буково к охотнику и другу моему, крестьянину Герасиму Дементьевичу, который угощал нас рыжиками в сметане, наливал водочки.

Проезжали мимо погоста, заросшего березами, где на деревянной церкви синели купола и где Шаляпин в овощной лавке купил баранок, маковых лепешек, мятных пряников, орехов. Набил орехами карманы поддевки и всю дорогу с Серовым их грыз.

Новенькая мельница стояла у большого леса. По песчаному огромному бутру мы спустились к ней. Весело шумели, блистая брызгами воды, колеса.

Мельник Никон Осипович, большой, крепкий, кудрявый старик, весь осыпанный мукой, радостно встретил нас.

На бережку, у светлой воды и зеленой ольхи, поставили палатку, приволокли из избы мельника большой стол. На столе поставили большой самовар, чашки. Развернули закуску, вино, водку. А вечером разожгли костер, и в котелке кипела уха из налимов.

Никон Осипович был ранее старшиной в селе Заозерье и смолodu певал на клиросе. Он полюбил Федора Ивановича. Говорил:

— Эх, парень казовый! Ловок.

А Шаляпин все у него расспрашивал про старинные песни. Никон Осипович ему напевал:

«Дедушка, — девицы
Раз мне говорили, —
Нет ли небылицы
Иль старинной были?»

Разные песни вспоминал Никон Осипович.

Едут с товарами
В путь из Касимова
Муромским лесом купцы...

И «Лучину» выучил петь Шаляпина Никон Осипович.

Мы сидели с Серовым и писали вечер и мельницу красками на холсте. А Никон Осипович с Шаляпиным сидели за столом у палатки, пили водку и пели «Лучинушку». Кругом стояли помольцы...

Никон Осипович пел с Шаляпиным «Лучину», и оба плакали. Кстати, плакали и помольцы.

— Вот бы царь-то послушал, — сказал Никон Осипович, — «Лучина»-то за душу берет. То, может, поплакал бы. Узнал бы жисть крестьянскую.

Я смотрю — здорово они выпили: четверть-то водки пустая стоит. Никон Осипович сказал мне потом:

— А здоров петь-то Шаляпин. Эх, и парень золотой. До чего — он, при деле, что ль, каком?

— Нет, певчий, — ответил я.

— Вона что, да... То-то он втору-то ловко держит. Он, поди, при приходе каком в Москве.

— Нет, в театре поет.

— Ишь ты, в театре. Жалованье, поди, получает?

- Еще бы. Споеет песню — сто целковых.
— Да полно врать-то. Этакие деньги за песни.

Шаляпин просил меня не говорить, что он солист его величества, а то из деревень сбегутся смотреть на него, жить не дадут...

ФАБРИКАНТ

В это лето Шаляпин долго гостил у меня. Он затеял строить дом поблизости и купил у крестьянина Глушкова восемьдесят десятин лесу. Проект дачи он попросил сделать меня. Архитектором пригласил Мазырина.

Осматривая свои владения, он увидел по берегам речки Нерли забавные постройки, вроде больших сараев, где к осени ходила по кругам лощадь и большим колесом разминала картофель, — маленькие фабрики крестьян. Процеживая размытый картофель, они делали муку, которая шла на крахмал. А назывался этот продукт что-то вроде «леком дикстрин». Я, в сущности, и сейчас не знаю, что это такое.

Шаляпин познакомился с крестьянами-фабрикантами. Один из них, Василий Макаров, был столь же высокого роста, как и Шаляпин, — мы прозвали его Руслан. А другой, Глушков, — маленького роста, сердитый и вдумчивый. К моему ремеслу художника они относились с явным неодобрением. И однажды Василий Макаров спросил меня:

— И чего это вы делаете — понять невозможно. Вот Левантин Ликсандрович Серов лошадь опоенную, которую живодеру продали, в телегу велел запрячь и у леса ее кажинный день списывает. И вот старается. Чего это? Я ему говорю: «Левантин Ликсандрыч, скажи, пожалуйста, чего ты эту клячу безногую списываешь. Ты бы посмотрел жеребца-то глушковского, вороного, двухлетний. Вот жеребец — чисто зверь, красота конь! Его бы списывал. А ты что? Кому такая картина нужна? Глядеть зазорно. Где такого дурака найдешь, чтобы такую картину купил». А он говорит: «Нет, эта лошадь опоенная мне больше вашего жеребца вороного нравится». Вот ты и возьми. Чего у его в голове — понять нельзя. Вот Шаляпин — мы ему рассказываем, а он тоже смеется, говорит: «Они без понятия». А он, видно, парень башковатый. Всё у нас выпытывает — почем крахмал, леком дикстрин... Намекает, как бы ему фабрику здесь поставить. Значит, у него капитал есть, ежели его на фабриканта заворачивает. Видать, что не зря лясы точит. Тоже, знать, пустяки бросать хочет. Ну чего тут песенником в киятре горло драть? Знать, надоело. Тоже говорим ему: «Ежели на положение фабриканта встанете, то петь тебе бросать надо, а то всурьез никто тебя не возьмет. Настоящие люди дела с тобой делать не станут... нипочем...»

Вскоре мы с Серовым заметили, что Шаляпин все чаще с Глушковым и Василием Макаровым беседует. И все — по секрету от нас. Вечерами у них время проводит.

Я спросил его однажды:

— Что, Федя, ты, кажется, здесь фабрику строить хочешь?

Шаляпин деловито посмотрел на меня.

— Видишь ли, Константин. У меня есть деньги, и я думаю: почему, скажи пожалуйста, вот хотя бы Морозов или Бахрушин — они деньги не держат в банке из четырех процентов, а строят фабрики? Они не поют, а наживают миллионы. А я всё пой и пой. Почему же я не могу быть фабрикантом? Что же, я глупее их? Вот и я хочу построить фабрику.

— С трубой? — спросил я.

— Что это значит — «с трубой»? Вероятно, с трубой.

— Так ты здесь воздух испортишь. Дым из трубы пойдет. Я терпеть не могу фабрик. Я тебе ее сожгу, если построишь.

— Вот, нельзя говорить с тобой серьезно. Всё у тебя ерунда в голове.

* * *

Сидим мы с Серовым недалеко от дома и пишем с натуры красками. В калитку идут Шаляпин, Василий Макаров, и около вприпрыжку еле поспевает маленького роста Глушков. Идут, одетые в поддевки, и серьезно о чем-то совещаются...

Когда Шаляпин поравнялся с нами, мы оба почтительно встали и, сняв шапки, поклонились, как бы хозяину.

Шаляпин презрительно обронил в нашу сторону:

— Просмеетесь.

И сердито посмотрел на нас...

* * *

Шаляпин сердился, когда мы при нем заговаривали о фабрике.

— Глупо! Леком дикстрин дает сорок процентов на капитал. Понимаете?

— А что вам скажет Горький, когда вы фабрику постройте и начнете рабочих эксплуатировать? — спросил однажды Серов.

— Позвольте, я не капиталист, у меня деньги трудовые. Я пою. Это мои деньги.

— Они не посмотрят, — сказал я. — Придешь на фабрику, а там бунт. Что тогда?

— Я же сначала сделаю небольшую фабрику. Почему же бунт? Я же буду платить. И потом я сам управлять не буду. Возьму Василия Макарова. Крахмал ведь необходим. Рубашки же все крахмалят в городах. Ведь это сколько же нужно крахмалу!.. В сущности, что я вам объясняю? Ведь вы же в этом ничего не понимаете.

— Это верно, — сказал Серов.

И почти все время, пока Шаляпин гостил у меня, у него в голове сидел «леком дикстрин».

Кончилась эта затея вдруг.

Однажды, в прекрасный июльский день, на широком озере Васькутина, когда мы ловили на удочки больших шук и у костра ели уху из котелка, Василий Княжев сказал:

— Эх, Федор Иванович, когда вы фабрику-то постройте, веселье это самое у вас пройдет. Вот как вас обделают, за милую душу. До нитки разденут. Плутни много.

И странно, этот простой совет рыболова и бродяги так подействовал на Шалапина, что с тех пор он больше не говорил о фабрике и забыл о «леком дикстрине».

НА ОХОТЕ

К вечеру мы пришли к краю озера, где были болота, — Герасим сказал, что здесь будет перелет уток.

Место поросло кустами ивняка, осокой. Небольшие плёсы.

Герасим шепнул мне:

— Шалапина надо подале поставить. Горяч больно, не подстрелил бы. Не приведи бог. Я с ним нипочем на охоту не пойду. Очинно опасно.

Вечерело. Потухла дальняя заря. Вдали с озера показалась стая уток. Летели высоко, в стороне от нас.

Вдруг раздались выстрелы: один, другой...

— Что делает, — сказал стоявший рядом со мной Герасим. — Где же они от него летят! Более двухсот шагов, а он лупит! Горяч.

Утки стаями летели от озера через болото над нами, но все — вне выстрелов.

А Шалапин беспрерывно стрелял — по всему болоту растянулся синий дым.

В быстром полете показались чирки.

— Берегись! — крикнул вдруг Герасим.

Я выстрелил вдогонку чиркам. Выстрелил и Герасим. Видно было, как чирок упал.

Низко над нами пролетели кряковые утки. Герасим выстрелил дублетом, и утка упала. Был самый перелет.

Пальба шла, как на войне...

Когда совсем стемнело, Герасим, вставив в рот пальцы, громко свистнул.

Мы собрались.

— Ну, ружьецо ваше, — сказал мне Шалапин, — ни к черту не годится.

— То есть как же это? Это ружье Берде. Лучше нет.

— Им же стрелять надо только в упор. Погодите, вот когда я здесь построюсь, вы увидите, какое у меня ружьецо будет!

— Дайте-ка я понесу Федору Иванычу ружье, — лукаво сказал Герасим. И, взяв ружье у Шалапина, его разрядил. — Горяч очень!

Убитых кряковых уток и чирка мы на берегу озера распотрошили, посыпали внутрь соли, перцу и зарыли неглубоко в песок.

Василий Княжев и Герасим нарубили сушняка по соседству в мелколесье и развели на этом месте большой костер. Была тихая светлая ночь. Дым и искры от костра неслись ввысь.

— А неплохо ты живешь, Константин, я бы всю жизнь так жил.

— Да, Константин понимает, — сказал Серов.

Разгребая колом костер, Герасим вытащил уток и на салфетке снял с них перья, которые отвалились сами собой. Из фляжки налили по стакану коньяку. Герасим сказал:

— Федор Иванович, попробуйте жаркое наше охотничье.

И протянул ему за лапу чирка. Шаляпин, выпив коньяк, стал есть чирка.

— Замечательно!

— Чирок — первая утка, — сказал Герасим. — Скусна-а!..

В котелке сварился чай. Ели профоры ростовские. А Василий Княжев расставлял донные удочки, насаживая на крючки мелкую рыбешку. Короткие удилища он вставлял в песок и далеко закидывал лески с наживкой. Сверху удилища на леске висели бубенчики.

— Надо расставлять палатку, — сказал я.

— Слышишь, звонит? — вскинулся Шаляпин и побежал к берегу.

— Подсачок! — закричал он с реки.

Большая рыба кружила у берега. Василий подхватил ее подсачком и выкинул на берег.

— Шелеспер.

— Ну и рыбина, это что же такое. Спасибо, Константин. Я даже никогда не слышал, чтобы ночью ловили рыбу.



Шаляпину нравилось жить в деревне, нравились деревенские утехы — рыбная ловля и охота. Но только, надо правду сказать, рыболов Василий Княжев не очень долюблял ловить с ним рыбу.

— Упустит рыбину, а я виноват. Вот ругается — прямо деться некуда!

И деревенский охотник Герасим Дементыч тоже отлынивал ходить с ним на охоту. Говорил:

— Что я?.. Собака Феб и та уходит от его с охоты. Гонит ее на каждую лужу: «Ищи!» А у собаки-то чутье, она ведь чувствует, что ничего нет, и не ищет. Ну и собака, значит, виновата. Я говорю: «Федор Иванович, ведь видать, что она не прихватывает — нету на этой луже ничего. Кабы было, она сама прихватывать зачнет. Видать ведь». — «Нет, — говорит, — здесь обязательно в кустах утки должны сидеть». Попали раз на уток-то, ну Феб и выгоняет. Так чисто войну открыл. Мы с Иваном Васильевичем на землю легли. А он прямо в осоку сам за утками бросился. Чуть не утоп. Раненую утку ловил. А та ныряет. Кричит: «Держи ее». Ведь это что — горяч больно.

Герасим лукаво посмотрел на меня и продолжал:

— А незадача — бранится... Ишь мы с тобой прошли одна — Никольское, Мелоча и Порубь — восемь верст прошли, и — ниче-

Шаляпин на охоте (редкий снимок)
В верхнем ряду справа налево: Ф. И. Шаляпин, москвич-охотник С. С. Рябов, крестьянин — хозяин сруба. В нижнем ряду слева направо: композитор Ф. Ф. Кенеман, москвич-охотник А. С. Рябов и ярославский охотник А. А. Казаков. Снимок сделан во время привала в Ростовском уезде Ярославской губернии. Фото С. И. Манухина

го, ты не сердишься. Закусить сели, выпили, это самое, коньячку, а с Шаляпиным трудно. Подошли с ним у Никольского — всего полторы версты, говорю — завернем, здесь ямка есть болотная в низинке — чирки бывают. Обошли — нет ничего. Он говорит: «Ты что меня гоняешь так-то, зря? Где чирки? Что ж говорит? Зря нечего ходить». Идет и сердится. Устали, сели закусить. Он, значит, колбасу ест, ножом режет, из фляжки зеленой пьет. Мне ничего не подносит — сердится: «Попусту водишь!» А ведь птицу за ногу не привяжешь. Птица летуча. Сейчас нет, а глядишь, к вечеру и прилетела...

Впрочем, Герасим любил Шаляпина. Однажды он мне рассказывал:

— Помните, когда на Новенькую ехали, ко мне в Буково заехали, у нас там на горке омшайники большие. Шаляпин спрашивает: «Что за дома — окошек нет?» Говорю: «Омшайники в стороне стоят, туда прячем одежду и зерно — овес и рожь, горох, гречу. Оттого в стороне держим — на пожарный случай, деревня сгореть может, а одежда и хлеб — останется». — «Покажи, — говорит, — пойдем в омшайник». Ну, пошли, отпер я ему дверь, понравился омшайник Федору Ивановичу. «Хорош, — говорит, — омшайник, высокий, мне здесь поспать охота». Ну, снял я ему тулуп, положил на пол, подушку принес. «Вот, — говорит, — тебе папиросы и спички, не бойся, я курить не буду». Так чего! До другого дня спал. В полдень вышел. «Хорошо, — говорит, — спать в омшайнике. Мух нет, и лесом пахнет...» Потом на Новенькую мельницу кады к Никон Осиповичу ехали, так говорил мне, на лес показывал: «Я вот этот лес куплю себе и построю дом, буду жить. Хорошо тут у вас. Хлебом пахнет. Я ведь сам мужик. Вот рожь когда вижу, глаз отвести не могу. Нравится. Есть сейчас же мне хочется...» Ну, значит, проезжая село Пречистое, в лавочку заехали. А в лавочке что: баранки, орехи, мятные пряники, колбаса. Он и говорит Семену, лавочнику: «Раздобудь мне рюмочку водки». Тот: «С удовольствием. У меня есть своя». Вот он выпил, меня угостил. Таранью закусывали и колбасой копченой. Так заметьте: он все баранки, что в лавке были, съел, и колбасу копченую. Вот здоров! Чисто богатырь какой. «Герасим, — говорит, — скажу тебе по правде, я делом занят совсем другим, но, как деньги хорошие наживу, вот так жить буду, как сейчас. Здесь жить буду, у вас. Как вы живете». — «Ну, — говорю, — Федор Иванович, крестьянская-то жизнь нелегка. С капиталом можно». А видать ведь, Кистинтин Ликсеич, что душа у него русская. Вот с Никоном Осипычем — мельником — как выпили они — и «Лучину» пели. Я слушал, не утерпеть — слеза прошибает... А гляжу — и он сам поет и плачет...

* * *

В тишине ночи до нас донеслись голоса — по дороге к деревне Кубино кто-то ехал.

— Эвона! Знать, они там. Костер жгут.

Кто-то крикнул во тьме:

— Кинстинтин Лисеич!



*Шаляпин и Коровин
(в центре) с группой
охотников —
жителей ст. Итларь
Из фондов
Переславль-Залесского
музея-заповедника
Публикуется впервые*

— Это, должно быть, Белов кричит, — сказал Серов.

— Василий, — кричали мы, — заворачивай сюда.

Из-за кустов показалась лошадь. Возчик Феокист и Василий, спрыгнув с тарантаса, подбежали к нам.

— Федор Иванович, к вам из Москвы приехали. Велели, чтоб беспременно сейчас приезжали.

— Кто приехал?

— Велели сказать, что приехал Еврей Федорыч, он, говорит, знает, так ему и скажи.

Шаляпин нахмурился.

— А нынче какое число-то?

— Двадцать первое июля.

— Да разве двадцать первое? Ах, черт, а я думал восемнадцатое. Мне завтра петь надо в Москве. Обещал Щукину. В «Эрмитаже» в Каретном ряду. А я и забыл.

— Вот и Еврей Федорыч говорил: «Он, знать, забыл». По комнате ходит и за голову держится. Воду всё пьет. Смотреть жалость берет: «Шаляпин, — говорит, — меня до самоубийства доведет. Скажите ему, что я деньги привез, три тыщи».

— А что же он сам сюда не приехал? — спросил Шаляпин.

— Хотел, да потом говорит: «Неохота ехать, у вас всё леса тут, глухота, еще зарежут разбойники».

— Что же, — в раздумье сказал Шаляпин, — ехать, что ли?

И он смотрел на нас.

— Поезжай, Федя, — сказал я. — А что петь будешь?

— Сальери. Я один не поеду.

Доехав до деревни, наняли подводу. Дорогой я спросил Шаляпина:

— А кто этот Еврей Федорович?

— У Шукина служит. Не знаю.

Когда мы приехали ко мне, приезжий бросился к Шаляпину на шею.

— Федя, что ты со мной делаешь. Я же умираю! Шукин меня ругает. Все билеты уже проданы. Вот я тебе и денег привез. Едем, пожалуйста, — поезд в три часа из Ярославля на Москву. Утром приедем, репетиция будет.

— Ну какая там репетиция. Едем утром в десять часов — в шесть вечера будем в Москве.

— Ой, умоляю, едем в три. Умоляю!..

— Ну нет, брат, я есть хочу. Поезжай в три и скажи, что я приеду.

— Как же я без тебя приеду? Мне же голову оторвут! Пожалей меня! У меня порок сердца. Курить нельзя, вина пить нельзя. Икота начинается. Тебе кланяются Рафалли и Лева. Они так тебя любят, так любят, говорят: «Ах, Шаляпин, это же артист!!!»

— Ну-ка, давай деньги.

— Деньги вот. И расписку вот подпиши.

Шаляпин внимательно пересчитал деньги, положил в карман и долго читал расписку.

— Это что же за идиот у вас там такую расписку писал? Что это значит: «Сим солист его величества обязуется...»

— Ой, — сказал приезжий, — не угробляй меня, Федя, у меня порок сердца.

Шаляпин усмехнулся, взял лист бумаги и написал другую расписку...

КУПАНЬЕ

Гостя у меня в деревне, Шаляпин, встав, шел купаться на реку. Перед тем как войти в воду, Шаляпин долго сидел в купальне, завернувшись в мохнатую простыню.

С ним ходил архитектор Мазырин и мой слуга Василий Белов. Мазырин был маленького роста, тщедушный. Приходя в купальню, быстро раздевался, бросался в воду и нырял. Шаляпин говорил мне:

— Черт его знает, Анчутка прямо морской конек. А я не могу. Должен попробовать, холодна ли вода. И нырять не могу. Да и купальня у тебя мала.

Случившийся тут Василий Белов посоветовал Шаляпину купаться прямо в реке.

— Где ж вам тут нырять. Не по росту!

Шаляпин послушался Василия и на другой день полез прямо в реку.

Хотел нырнуть, но запутался в водорослях и бодяге. И — рассердился ужасно.

— Что же это у вас делается, Константин Алексеевич? Бодяга! Купаться нельзя. Это же не река.

— Как не река? Вода кристальная. Дивная река!

— Вот что, — прервал Шаляпин, — позови мужиков и вели им,

чтобы они скосили эту траву в реке. Когда я здесь куплю землю и построю дом, я всю реку велю скосить.

На другой день я попросил соседей, и они косили водоросли в реке. Шаляпин смотрел.

— Я бы тоже косил, да не умею.

— Как не умеете? — изумился Мазырин. — Вы же говорили, что крестьянином были?

— Да, но никогда не косил и не пахал. Отец пахал.

Я ничего не сказал. Отец Шаляпина, когда бывал у него в Москве, часто приходил и ко мне на Долгоруковскую улицу. Он говорил о себе, что никогда не занимался крестьянством. Был волостным писарем при вятской слободке, а также служил в городской управе, тоже писарем.

— А Федор говорит, что он крестьянин. Ну нет. С ранних лет ничего не делал. Из дому всё убегал и пропадал. Жив аль нет — не знаешь. Сапожником не был никогда. Нужды не видал. Где же! Я же всегда ему деньги давал. И тогда-то он жаден до денег был и сейчас такой же. С певчими убежал. Ну и с тех пор не возвращался. Не проходи мимо певчие на Пасхе, не позови я их к себе в дом на угощение, он бы не пел теперь. Дишкант они у него нашли. Ну и сманили...

На следующий день Шаляпин купался в реке спокойно и плавал, как огромная рыба, часа два подряд.

Ф. И. Шаляпин
1900-е годы



1905 ГОД

Наступил 1905 год. Была всеобщая забастовка.

В ресторане «Метрополь» в Москве Шаляпин пел «Дубинушку». Появились красные знамена. Улицы были не освещены, электричество не горело. Все сидели по домам. Никто ничего не делал, и никто не знал, что будет.

Утром ко мне пришел Шаляпин, обеспокоенный. Разделся в передней, вошел ко мне в спальню, посмотрел на дверь соседней комнаты, затворил ее и, подойдя ко мне близко, сказал шепотом:

— Ты знаешь ли, меня хотят убить.

Я удивленно спросил:

— Кто тебя хочет убить? Что ты говоришь? За что?

— А черт их знает. За «Дубинушку», должно быть.

— Постой, но ведь ее всегда все студенты пели. Я помню с пятнадцати лет. То ли еще пели!

— Ну вот, поедem сейчас ко мне. Я тебе покажу кое-что.

Дорогой, на извозчике, Шаляпин говорил:

— Понимаешь, у меня фигура такая, все же меня узнают. Загнмироваться, что ли?

— Ты не бойся.

— Как не боясь? Есть же сумасшедшие. Кого хочешь убьют.

Когда приехали, Шаляпин позвал меня в кабинет и показал на большой письменный стол. На столе лежали две большие кучи писем.

— Прочти.

Я вынул одно письмо и прочел. Там была грубая ругань, письмо кончалось угрозой: «Если ты будешь петь «Жизнь за царя», тебе не жить».

— А возьми-ка отсюда, — показал он на другую кучу.

Я взял письмо. Тоже безобразная ругань: «Если вы не будете петь, Шаляпин, «Жизнь за царя», то будете убиты».

— Вот видишь, — сказал Шаляпин, — как же мне быть? Я же певец. Это же Глинка! В чем дело? Знаешь ли что? Я уезжаю!

— Куда?

— За границу. Беда — денег нельзя взять. Поезда не ходят... Поедем на лошадях в деревню.

— Простудишься, осень. Ехать далеко. Да и не надо. В Библии сказано: «Не беги из осажденного города».

— Ну да, но что делается! Горький сидит дома и, понимаешь ли, забаррикадировался. Насилу к нему добился. Он говорит: «Ре-

волюция начинается. Ты не выходи, а если что — прячься в подвал или погреб». Хороша жизнь. Какие-то вчера подходили к воротам.

— Поедем ко мне, Федя. У нас там, на Мясницкой, тихо. А то возьмем ружья и пойдем в Мытищи на охоту. Я «бурмистра» возьму. Он зайцев хорошо гоняет.

На другой день пошли поезда, и мы уехали в Петербург.

За рубежом.

Шаляпинъ въ балетъ.

Въ Лондонѣ съ большимъ интересомъ ждутъ постановки балета „Шехеразада“, гдѣ Шаляпинъ долженъ выступить въ роли балетнаго артиста. Онъ играетъ роль Шакриара, которую всегда исполнялъ танцовщикъ г. Булгаковъ.

— Пьеса Леониды Андреева „Не убій“ пойдетъ на сценѣ берлинскаго театра „Deutsches Theater“.

Русскій балетъ въ Лондонѣ.

Намъ сообщаетъ объ успѣхѣ, гастролей Александры Балашовой и Михаила Моравкина въ Лондонѣ.

*Такую вот
неожиданную
информацию о
великомъ певце
можно найти в
дореволюционных
журналахъ*

Моя квартира помещалась над квартирой Теляковского, на Театральной улице. Мы приехали утром и в десять часов спустились к Теляковскому.

Он встретил Шаляпина радостно:

— Вот приехали — отлично. А я только что говорил с Москвой по телефону, чтоб вы ехали. Вам надо оставаться в Петербурге.

Шаляпин стал рассказывать Теляковскому об анонимных письмах, угрозах.

— Я тоже получаю много анонимных писем. Ведь вы, Федор Иванович, — человек выдающийся. Что же делать? В Петербурге будет вам спокойнее. Я уж составил репертуар. Вы поете Гремину в «Онегине», Варяжского гостя в «Садко», «Фауста», Фарлафа в «Руслане». Покуда никаких царей не поете. «Дубинушку» пока петь тоже подождите.

— Я остановлюсь в номерах Мухина, — сказал Шаляпин.

— Да зачем? У Константина Алексеича наверху большая квартира.

— Отлично, — согласился Шаляпин.

Я ждал Шаляпина до вечера, но он как ушел с утра, так и не возвращался.

Когда стемнело, я ушел работать в мастерскую и вернулся к себе поздно ночью. В моей комнате на постели сладко спал Шаляпин. Я лег в соседней комнате. Утром Шаляпин продолжал спать.

Я ушел и вернулся в четыре часа дня — Шаляпин всё спал. Спал до вечера.

Вечером мы пошли к Лейнеру.

— Знаешь ли, — рассказывал Шаляпин, — куда ни попадешь — просто разливное море. Пьют. Встретил, помнишь, того ювелира — уйти нельзя, не пускает; всё объяснял, как он после скандала в клинике лежал. Я ведь руку ему вывихнул. Оказался хороший парень: «Нет, уж теперь я тебя не отпущу, убийцу моего». Напились.

После обеда мы поехали в Мариинский театр и со сцены прошли в ложу к Теляковскому.

Шел балет.

Шаляпин сказал Теляковскому, что хотел бы поехать за границу.

— А что же, поезжайте, — одобрил Теляковский. — В Москву ехать не стоит, там беспокойно.

— А мне надо ехать, — сказал я.

— Зачем? Поезжайте в Париж. Кстати, соберете там материалы для «Спящей красавицы»...

Я послушался совета, Шаляпин остался в России.

СЛАВА

Будучи в Париже, я как-то встретил чиновника посольства Никифорова. Он сказал мне: «В Москве-то нехорошо, а ваш приятель Шаляпин — революционер, погиб на баррикадах», — и показал какую-то иллюстрацию, на которой были изображены Горький, Шаляпин, Телешов и еще кто-то как главные революционеры. Я подумал: «Что за странность. Неужели и Телешов? Женился на богатейшей женщине. А Шаляпин? Неужели и он революционер — так любит копить деньги. Горький — тот, по крайней мере, всегда был в оппозиции ко всякой власти. И неужели Шаляпин погиб на баррикадах?» Что-то не верилось...

Я вернулся в Москву вскоре после восстания.

Я жил в Каретном ряду, во втором этаже. Поднявшись к себе, увидел свою квартиру в разрушении. Окна выбиты. Стены кабинета разбиты артиллерийскими снарядами. Стол и мебель засыпаны штукатуркой. Ящики из стола выворочены, бумаги на полу. Соседняя квартира Тесленко была тоже разрушена.

Вскоре в кухонную дверь вошла остававшаяся при квартире горничная. На цепочке она держала мою собаку Феба — он обрадовался мне, урчал носом и как бы хотел что-то сказать.

Видимо, как отклик на вышеприведенную публикацию и появилась эта карикатура Andre'a



Шаляпинъ пробуетъ свои силы въ балетѣ.

— Вот, барин, — сказала горничная, — дело-то какое вышло. Окна велели ведь завешивать — по всей Москве стрел шел. Я пошла к окну — рыбкам в аквариуме воду менять, — а оттелева вон, со двора жандармского управления, как ахнут в соседнюю квартиру! Я взяла Феба да и убежала к родным... А когда прошло это самое, опять переехала на кухню. А то убили бы здесь.

Шаяпина не было в Москве, ни на каких баррикадах он не сражался...

* * *

<...> Вскоре приехал из Петербурга и Шаяпин. Помню его выступление в Большом театре в опере «Жизнь за царя».

После окончания спектакля он долго сидел в уборной и говорил встревоженно:

— Надо подождать. Пойдем через ход со сцены. Не люблю встречаться после спектакля с почитателями. Выйдешь на улицу — аплодисменты, студенты, курсистки...

И он был прав. Мы вышли на улицу со сцены проходом, где выходили рабочие и хористы. И всё же, когда мы подходили к карете, несмотря на густой снег, слепивший глаза, толпа каких-то людей бросилась к нам. Кто-то крикнул:

— Шаяпина качать!

Двое, подбежав, схватили Шаяпина — один поперек, другой за ноги. Шаяпин увернулся, сгреб какого-то подбежавшего к нему парня и, подняв его вверх, бросил в толпу. Парень крикнул, ударившись о мостовую. Толпа растерялась. Шаяпин и я быстро сели в карету и уехали.

— Что? Говорил я тебе, видишь!

Дома мы увидели, что кисть правой руки Шаяпина распухла. Наутро он не мог двинуть пальцами.

Я был поражен силой Шаяпина — с какой легкостью он поднял над собой и бросил человека в толпу.

Шаяпин уже совсем перестал посещать рестораны. И когда надо было куда-нибудь ехать, всегда задумывался.

— Нельзя мне нигде бывать. Я стараюсь себя сдерживать, но иногда — не могу. То мне предлагают выпить, то ехать еще куда-то ужинать, и когда я отказываюсь, то вижу злые глаза. «Господин Шаяпин, не желаете вступить со мной в знакомство? Презираете? Я тоже пою...» и прочее. Ну как ты будешь тут? Одолевают. Ведь он не то что любит меня. Нет. Он себя показывает. Он не прощает мне, что я пою, что я на сцене имею успех. Он хочет владеть мной, проводить со мной время. И как иногда хочется дать в морду этому господину!.. Отчего я не встречал этого за границей? Никогда не встречал...

— Ничего не поделаешь, Федя, — сказал я, — ведь это слава. Ты великий артист.

— Поверь мне, я терпеть не могу славы. Я даже не знаю, как мне говорить с разными встречными людьми. С трудом придумываю — что сказать. Вот ты можешь. Я удивляюсь. В деревне с мужиками, с охотниками любишь жить, разговаривать. Я же не могу.

И как устаешь от этой всей ерунды! Им кажется, что очень легко петь, раз есть голос. Спел — и Шаляпин. А я беру за это большие деньги. Это не нравится... И каждый раз, когда я пою, я точно держу экзамен. Иду как бы на штурм, на врагов. И нелегко мне даются эти победы... Они и я — разные люди. Они любят слушать пение, смотреть картины, но артиста у нас не любят, как не любят и поэтов. Пушкина дали убить. А ведь это был Пушкин!.. В ресторане выпил рюмку водки, возмущаются: «Пьет. Певец пить не должен». В чем дело? Ты всегда не такой, как им хочется. Получает много. А я за концерт назначил вдвое — бранились, но пришли. На «Демона» в бенефис еще поднял цены — жалею, что не вдвое, ошибся. Все равно было бы полно...

Когда мы подъехали к дому, Шаляпин сказал мне:

— Что-то не хочется спать. Поедем куда-нибудь ужинать. У тебя деньги есть?

— Есть.

— У меня же только три рубля... Поедем, там на Тверской, говорили мне, кавказский погребок есть в подвале. Там армянин шашлыки делает. Хорошие шашлыки, по-кавказски.

— Знаю, — говорю, — но там всегда много артистов ужинает.

— Это там «Шалтырь», что ли?

— Какой «Шалтырь»? — удивился я. — Ты хочешь сказать «Алатр»?

— Ну да, «Алатр». Я туда побаиваюсь ехать.

У Страстного монастыря отпустили карету и взяли лихача. И мы поехали с Федором Ивановичем за город.

— Ты что же с ним не торговался? — спросил дорогой меня Шаляпин.

— Ведь цена известна, пятерку надо дать. В «Гурзуф» — это далеко.

— Пятерка! Да ведь пятерка — это огромные деньги.

— Не расстраивайся, — говорю, — Федя.

В «Гурзуфе», поднимаясь по деревянной лестнице во второй этаж, мы встретили выходящую навеселе компанию. Одна из женщин закричала: «Шаляпин! Вернемтесь, он нам споет».

Шаляпин быстро прошел мимо и, не раздеваясь, прошел в кабинет.

— Заприте дверь и никого не пускайте, — сказал он метрдотелю.

Метрдотель посмотрел на дверь и увидел, что в ней нет замка. Шаляпин выпустил метрдотеля, захлопнул дверь и держал ручку. В дверь послышался стук, хотели отворить. Но Шаляпин уперся ногой в притолоку и не пускал.

— Жить же нельзя в этой стране!

Наконец послышался голос метрдотеля.

— Готово-с, отворите...

Все же с метрдотелем в кабинет ворвалась компания. Женщины, весело смеясь, подбежали к Шаляпину, протягивали к нему руки, кричали:

— Не сердитесь, не сердитесь! Несравненный, дивный, мы любим вас, Шаляпин. Обожаем.



Шаляпинский силуэт-шутка

Рисунок А. Шабад

Шаляпин рассмеялся. Женщины усадили его на диван, окружили. Обнимали и шептали ему что-то на ухо.

Мужчины, стоявшие в стороне, держали поднос с налитыми бокалами шампанского.

— Прошу прощения, — вставая, сказал Шаляпин, — вы поймите меня, я же не виноват. Я пою, я артист — и только. А мне не дают жить. Вы не думайте, что я не хочу видеть людей. Это неверно. Я люблю людей. Но я боюсь, боюсь оскорбления.

— Федор Иванович, — сказал один из мужчин, — но, согласитесь, мы тоже любим вас. Что же делать? Вот дамы наши, как услышали, что вы приехали, всех нас бросили. Вы сами видите, в какое печальное положение мы попали. Взыть можно. Пожалейте и нас, и позвольте вам предложить выпить с нами шампанского. Мы ведь с горя пьем.

Федор Иванович развеселился. Выпил со всеми на «ты», сел за пианино и запел, сам себе аккомпанируя:

Ах ты, Ванька, разудала голова...

Лишь к утру компания москвичей привезла Шаляпина, окруженного дамами, домой...

НА РЕПЕТИЦИЯХ

В. В. Стасов писал: «Передо мной явился Иван Грозный в целом ряде разносторонних мгновений своей жизни... Какой это был бесконечный ряд чудесных картин!.. Какая истинно скульптурная пластика являлась у него во всех движениях, можно бы, кажется лепить его каждую секунду, и будут выходить все новые и новые необычайные статуи!»

*Царь Иван
Грозный —
Шаляпин*



В Москве, на Балчуге, у Каменного моста, я лежал больной тифом в моей мастерской.

Однажды утром пришел ко мне Шаляпин. Разделся в передней и, войдя ко мне, сказал:

— Ты сильно болел, мне говорили. Что же это с тобой? Похудел, одни кости.

Шаляпин сел около меня, у столика.

— Видишь ли, я пришел к тебе посоветоваться. Я ухожу из императорских театров. Все дирижеры мне бойкот объявили. Все обижены. Они же ничего не понимают. Я им говорю: «Может быть,

вы лучше меня любите ваших жен, детей, но дирижеры вы никакие...» Представь, все обиделись. И я больше не пою, ухожу из театра. Я же могу всегда получать больше, чем мне платят. Где хочешь — за границей, в Америке... Ты знаешь, твой Теляковский закатил мне в контракте какую неустойку — двести тысяч! Ты как думаешь, он возьмет?

— Что такое, — ответил я, — «возьмет Теляковский»... Теляковский ничего не может ни взять,

ни отдать. На это есть государственный контроль, который возьмет, конечно.

— Ну, я так и знал, в этой стране жить нельзя.
И Шаляпин ушел.

* * *

Дирижировал Коутс. Шаляпин пел Грозного, Галицкого, Бориса. Всё — в совершенстве.

Театр, как говорят, ломился от публики. И в каждом облике Шаляпин представал по-новому. И всякое новое воплощение его было столь убедительно, что вы не могли представить себе другой образ. Это были именно те люди, те характеры, какими показывал их Шаляпин.

На репетициях Шаляпин бывал всегда гневен. Часто делал замечания дирижеру. Отношение Шаляпина к искусству было серьезно и строго. Если что-нибудь не выходило, он приходил в бешенство и настаивал на точном исполнении его замыслов.

При появлении Шаляпина на сцене во время репетиции наступала полная тишина, и все во все глаза смотрели на Шаляпина. Чиновники в вицмундирах при виде Шаляпина уходили со сцены.

Шаляпин был ко всем и ко всему придирчив.

Однажды, на генеральной репетиции «Хованщины» Мусоргского, которую он режиссировал, Шаляпин, выйдя в сцене «Стрелецкое гнездо», сказал:

— Где Коровин?

Театр был полон посторонних — родственников и знакомых артистов. Я вышел из средних рядов партера и подошел к оркестру. Обратившись ко мне, Шаляпин сказал:

— Константин Алексеевич. Я понимаю, что вы не читали историю Петра, но вы должны были прочесть хотя бы либретто. Что же вы сделали день, когда на сцене должна быть ночь? Тут же говорится: «Спит стрелецкое гнездо».

— Федор Иванович, — ответил я, — конечно, я не могу похвастаться столь глубоким знанием истории Петра, как вы, но все же должен вам сказать, что это день, и не иначе. Хотя и «спит стрелецкое гнездо». И это ясно должен знать тот, кто знает «Хованщину».

В это время из-за кулис выбежал режиссер Мельников. В руках у него был клavier. Он показал его Шаляпину и сказал:

— Здесь написано: «Полдень».

Шаляпин никогда не мог забыть мне этого.

КАМЕНЬ

На сцене стоял камень, вечный камень. Он был сделан вроде как изголовье. Этот камень ставили во всех операх. На нем сидели, пели дуэты, на камне лежала Тамара, в «Русалке» — Наташа, и в «Борисе Годунове» ставили камень.

Как-то раз Шаляпин пришел ко мне и, смеясь, сказал:



Ф. И. Шаляпин
*Автопортрет в роли
Ивана Грозного*
1913

По отзывам современников, Шаляпин создавал образ Грозного на контрастах, подчеркивая противоречивость и неоднозначность характера царя.

Сам Шаляпин, описывая свое восприятие личности Грозного, замечал: «Под толщею деспотизма и зверства, там где-то, далеко-далеко в глубине, я увидел теплющуюся искру любви и доброты».

— Слушай, да ведь это черт знает что — режиссеры наши все ставят этот камень на сцену. Давай после спектакля этот камень вытащим вон. Ты позовешь ломового, мы его увезем на Москва-реку и бросим с моста.

Но камень утащить Шаляпину режиссеры не дали.

— Не один, — говорили, — Федор Иванович, вы поете, камень необходим для других...

Трезвинский даже сказал ему:

— Вы, декаденты!..

АНТРЕПРЕНЕРША ИЗ БАКУ

Шаляпин любил ссориться, издеваться над людьми, завидовал богатству — страсти стихийно владели его послушной душой. Он часто мне говорил, что в молодости своей никогда не испытал доброго к себе внимания, — его всегда ругали, понукали.

— Трудно давался мне пятачок. Волга, бродяжные ночлеги, трактирщики, крючники, работа у паромных пристаней, голодная жизнь... Я получаю теперь очень много денег, но, когда у меня хотят взять рубль или двугривенный, — мне жалко. Это какие-то мои деньги. Я ведь в них, в грошах, прожил свою юность. Помню, как одна антрепренерша в Баку не хотела мне заплатить — я был еще на выходах, — и я поругался с ней. Она кричала: «В шею! Гоните эту сволочь! Чтоб духу его здесь не было!» На меня бросились ее служащие, прихвостни. Вышла драка. Меня здорово помяли. И я ушел пешком в Тифлис. А через десять лет мне сказали, что какая-то пожилая женщина хочет меня видеть: «Скажите ему, что он у меня пел в Баку и что я хочу его повидать». Я вспомнил ее и крикнул: «Гоните в шею эту сволочь!» И ее выгнали из передней.

— Ты мог бы поступить и по-другому, — сказал я.

— Брось, я не люблю прощать. Пускай и она знает. Так лучше. А то бы считала меня дураком. Ты не знаешь, что такое антрепренер. А ты думаешь, даже Мамонтов или Дягилев, если бы я дался, не стали бы меня эксплуатировать? Брось, я, брат, знаю. Понял...

ДЕНЬГИ

Сколько ни вспоминаю Федора Шаляпина в его прежней жизни, когда он часто гащивал у меня в деревне и в Крыму, в Гурзуфе, не проходило дня, чтобы не было какой-либо вспышки. В особенности когда вопрос касался искусства и... денег.

Когда кто-нибудь упомянет о каком-нибудь артисте, Шаляпин сначала молча слушает, а потом его вдруг прорвет:

— Вот вы говорите «хороший голос», но он же идиот, он же не понимает, что он поет. И даже объяснить не может, кого изображает.

И начинается... Из-за денег та же история. С шоферами, с из-

возчиками, в ресторане... Ему всегда казалось, что с него берут лишнее.

В магазине Шанкс на Кузнецком мосту он увидел как-то в окне палку. Палка понравилась. Шаляпин зашел в магазин. Приказчик, узнав его, с поклоном подал ему палку. Шаляпин долго ее примерял, осматривал, ходил по магазину.

— А ручка эта металлическая?

— Серебряная.

— Что же стоит эта палка?

— Пятьдесят рублей. Что же для вас-то, Федор Иванович, пятьдесят рублей, — имел неосторожность сказать приказчик.

— То есть что это значит — для вас? Что я, на улице, что ли, деньги нахожу?..

И пошло... Собрались приказчики, пришел заведующий.

— Как он смеет мне говорить «для вас»...

И Шаляпин в гневе ушел из магазина, не купив палку...

В ресторане, потребовав счет, Шаляпин тщательно его проверял, потом подписывал и говорил:

— Пришлите домой.

Помню, мы с Серовым однажды сыграли с ним шутку.

Шаляпин пригласил меня и Серова завтракать в «Эрмитаж». Я упросил директора, Егора Ивановича Мочалова, поставить в счет холодного поросенка, которого не подавали. Егор Иванович подал счет Шаляпину. Тот внимательно просмотрел его и сказал:

— Поросенка же не было.

— Как не было? — сказал я. — Ты же ел!

— Антон, — обратился Шаляпин к Серову, — ты же видел, поросенка не было.

— Как не было? — изумился Серов. — Ты же ел!

Шаляпин посмотрел на меня, потом на Серова и, задыхнувшись, сказал:

— В чем же дело? Никакого поросенка я не ел.

Егор Иванович стоял молча, понутив голову.

— Я не понимаю... Ведь это же мошенничество.

Шаляпин, как всегда в минуты сильного волнения, водил рукой по скатерти, как бы считая сор, которого не было.

— Отличный поросенок, — сказал я, — ты съел скоро, не заметил в разговоре.

Шаляпин тяжело дышал, ни на кого не смотря.

Тут Егор Иванович не выдержал:

— Это они шутить изволят. Велели в счет поросенка поставить...

Шаляпин готов был вспылить, но посмотрел на Серова, рассмеялся.

* * *

Приятели знали эту слабую струнку Шаляпина.

Раз он позвал после концерта приятелей — композитора Юрия Сахновского, [Корещенко] и Курова, который писал музыкальные рецензии в газетах, — поужинать в «Метрополь» в Москве.



В. А. Серов
Портрет Щепетко
1904

Шаляпин сам заказал ужин. Подали холодное мясо и водку. Тут Сахновский сказал:

— Я мяса не ем, а закуски нет.

Позвал полового и приказал:

— Расстегаи с осетриной и икры.

Шаляпин помрачнел. Когда расстегаи были съедены, Сахновский сказал:

— Федор, Корещенко скажет тебе слово. Мне самому неудобно — ты пел мой романс.

Корещенко поднял рюмку.

— Что ты, с ума сошел! — воскликнул Сахновский. — Надо шампанского!

Шаляпин поморщился и велел подать бутылку шампанского. Вино разлили по бокалам, но всем не хватило.

Когда Корещенко начал свою речь, Сахновский знаком подзвал полового и что-то шепнул ему. Через несколько мгновений половой принес на подносе шесть бутылок шампанского и стал методически откупоривать. Шаля-

пин перестал слушать Корещенко и с беспокойством поглядел на бутылки.

— В чем дело?

— Не беспокойся, Федя, куда ты все торопишься? Не допил я... Не беспокойся. Хорошо посидится — еще выпьем.

— Но я не могу сидеть, я устал, — сказал с раздражением Федор Иванович. — Ты ведь концерта не пел.

— А ты выпей и отдохни, — невозмутимо продолжал Сахновский. — Не допил я!.. Куда торопиться?..

Шаляпин с каждым словом все более хмурился.

— А о вине не беспокойся, Федя, — все тем же невозмутимым голосом пел Сахновский. — За вино я заплачу.

— Не в этом дело! — вспыхнул Шаляпин. — Припишите там в мой счет. Устал я!

И уехал домой мрачный.

Избалованный заслуженным успехом, Шаляпин не терпел неудач ни в чем. Однажды, играя на бильярде у себя с приятелем моим, архитектором Кузнецовым, он проиграл ему все партии. Замучился, но выиграть не мог. Кузнецов играл много лучше.

В конце концов Шаляпин молча, ни с кем не простясь, ушел

спать. А много времени спустя, собираясь ко мне в деревню, как бы невзначай спросил:

- А этот твой Кузнецов будет у тебя?
 - А что? — в свою очередь спросил я.
 - Грубое животное! Я бы не хотел его видеть.
- «Бильярд», — подумал я.

ШАЛЯПИН И СЕРОВ

Часто достаточно было пустяка, чтобы Шаляпин пришел в неистовый гнев, и эта раздражительность с годами все возрастала. С Врубелем он поссорился давно и навсегда. Да и с Серовым.

Узнав однажды, что у меня будет Шаляпин, Серов не поехал ко мне в деревню. Меня это удивило. И каждый раз, когда впоследствии я приглашал его к себе одновременно с Шаляпиным, от малчивался и не приезжал.

Я спросил как-то Серова:

— Почему ты избегаешь Шаляпина?

Он хмуро ответил:

— Нет. Довольно с меня.

И до самой смерти не виделся больше с Шаляпиным.

Раз Шаляпин спросил меня:

— Не понимаю, за что Антон на меня обиделся?

— Ну что вам друзья, Федор Иванович, — ответил я. — «Было бы вино... да вот и оно!», как ты сам говоришь в роли Варлаама.

В сущности, когда кто-нибудь нужен был — Серов ли, Васнецов, то он был «Антоша дорогой» либо «дорогой Виктор Михалыч». А когда нужды не было, слава и разгулы с услужливыми друзьями заполняли ему жизнь...

Странные люди окружали Шаляпина. Он мог над ними вдоволь издеваться, и из этих людей образовалась его свита, с которой он расправлялся круто: Шаляпин сказал — и плохо бывало тому, кто не соглашался с каким-либо его мнением. Отрицая самовластие, он сам был одержим самовластием. Когда он обедал дома, что случалось довольно редко, то семья его молчала за обедом, как набрав в рот воды.

КОГДА ШАЛЯПИН НЕ ПЕЛ

Шаляпин довольно часто отказывался петь, и иногда — в самый последний момент, когда уже собиралась публика. Его заменял в таких случаях по большей части Власов. В связи с этими частыми заменами по Москве ходил анекдот.

...Шаляпин ехал на извозчике из гостей навеселе.

— Скажи-ка, — спросил он извозчика, — ты поешь?

— Где же мне, барин, петь? С чаво? Во когда крепко выпьешь, то, бывает, вспомнишь и запоешь.

— Ишь ты, — сказал Шаляпин, — а вот я когда пьян, так за меня Власов поет...

«Ощущение полноты жизни, которым было проникнуто все существо Шаляпина, блестяще передано в акварельном портрете, сделанном Серовым в 1904 г. Шаляпин сидит вполоборота, обнаженный до пояса, прикрыв грудь и руки меховой шубой. Молодое, упругое тело, широкие плечи, большая сильная рука. Крупная гордая голова, крутая линия лба, мягко очерченный и в то же время волевой подбородок. Взгляд сосредоточенный и просветленный. Видно, что художника увлекла модель. Он с какой-то особой нежностью лепит формы и передает теплоту неярко освещенного тела».

А. Г. Раскин. Шаляпин и русские художники

Филипп II —
Шаляпин
Опера Д. Верди
«Дон-Карлос»



«Его Филипп казался сошедшей со старинной картины фигурой или ожившей мраморной статуей», — вспоминал певец С.Ю. Левик

Не было дома в Москве, где бы не говорили о Шаляпине. Ему приписывали самые невероятные скандалы, которых не было, и выставляли его в неприглядном виде. Но стоило ему показаться на сцене — он побеждал. Восторгу и вызовам не было конца.

В бенефис оркестра, когда впервые должен был идти «Дон-Карлос» Верди, знатоки и теоретики говорили:

— Шаляпин провалится.

В частности, и у Юрия Сахновского, когда он говорил о предстоящем спектакле, злой огонек светился в глазах. А когда я встретил его в буфете театра после второго акта и спросил: «Ну что же, как вы,

критики, скажете?» — он ответил: «Ну что скажешь... Ничего не скажешь... Силища!..»

В чем была тайна шаляпинского обаяния? Соединение музыкальности, искусства пения с чудесным постижением творимого образа.

ЦЫГАНСКИЙ РОМАНС

На второй день Рождества я справлял мои именины. Собирались мои приятели — артисты, художники, охотники. И всегда приезжал Шаляпин.

На этот раз он приехал сразу после спектакля из театра, в костюме Галицкого. Все обрадовались Федору Ивановичу. Он сел за стол рядом с нашим общим приятелем Павлом Тучковым. В руках у того была гитара — он пел, хорошо подражая цыганам, и превосходно играл на гитаре. К концу ужина Павел Александрович сказал Шаляпину:

— Вторь!

Шаляпин оробело послушался. Павел Александрович запел:

Задремал тихий сад...

Ночь повеяла...

Павел Александрович остановился и искоса посмотрел на Шаляпина:

— Врешь. Сначала.

Задремал тихий...

Снова — многозначительная пауза: Шаляпин фальшивил.

Высоко подняв брови и выпучив глаза, Павел молча смотрел на Шаляпина.

— Еще раз. Сначала...

Шаляпин все не попадал в тон — выходило невероятно скверно. Шаляпин смотрел растерянно и виновато.

— Скажите, пожалуйста, — спросил наконец Тучков Шаляпина, — вы, кажется, солист его величества? Странно! И даже очень странно...

- А что? — спросил робко Шаляпин.
- Как что? Врешь, слуху нет — фальшиво...
- Разве? — изумился Шаляпин. — Что такое...
- Сначала!

Задремал тихий сад...

— Ничего не выходит! Да, это вам не опера. Орать-то можно, но петь надо уметь. Не можете спеть цыганского романса, не дано. Уха нет.

Шаляпин был столь комичен в этой новой неожиданной роли, что нельзя было удержаться от смеха. Кругом приятели мои ржали, как лошади. И один только Павел Александрович никак не мог сообразить, что происходит:

— Совершенно непонятно: оперу петь умеет, а цыганский романс не может. Слуха не хватает. Ясно...

«ДЕМОН»

К бенефису Шаляпина готовили «Демона» Рубинштейна в моей постановке. Костюм, равно как и парик и грим, делал Шаляпину я. Спектакль как-то не ладился. Шаляпин очень негодовал, Говорил мне:

— Не знаю, буду ли еще петь.

Мы жили в это время вместе. Вернувшись как-то с репетиции, он сказал:

— Я решил отказаться. Выйдет скандал, билеты все проданы. Не так всё, понимаешь, — дирижируют вяло, а завтра генеральная репетиция. Ну-ка, напишу я письмо.

— Скажи, — спросил я, — вот ты все время со мной, на репетиции был не больше получаса, а то и совсем не ходишь, значит, ты знаешь «Демона»?

— Ну, конечно, знаю, — ответил Шаляпин, — каждый студент его в номерах поет. Не выходит у меня с Альтани. Пойду вызову по телефону Корещенко.

Шаляпин встал с постели и пошел говорить по телефону. Вскоре приехал Корещенко с клавиром. Шаляпин, полуодетый, у пианино показал Корещенко место, которое не выходило у него с оркестром. Корещенко сел за пианино, Шаляпин запел:

Клянусь я первым днем творенья...

И сразу остановился.

— Скажи, пожалуйста, — спросил он Корещенко, — ты ведь, кажется, профессор консерватории?

— Да, Федя, а что?

— Да как что, а что же ты играешь?

— Как что? Вот что, — он показал на ноты.

— Так ведь это ноты, — сказал сердито Шаляпин, — ведь еще не музыка. Что за темпы! Начинай сначала.

И Шаляпин щелкал пальцем, отбивая такт, сам ударял по клавишам, постоянно останавливал Корещенко и заставлял повторять.

За завтраком в «Эрмитаже» Шаляпин говорил:



*Ф. И. Шаляпин
в роли Филиппа II
Рисунок Макса*

«Никто из тех, кому посчастливилось видеть Шаляпина... не забудет облика великого артиста в момент оркестрового вступления к знаменитой арии короля Филиппа... Шаляпин "просто" сидел в кресле и "просто" молчал, но мы, зрители, чувствовали, что в это молчание он вкладывает все напряжение сил творящего актера-музыканта. В его застывшей фигуре, склоненной в царственной скорби голове, в трагической неподвижности лица и глаз, в кистях рук, покоящихся на кресле, всё было доведено до высшей четкости, до последней грани скульптурности. И во всем звучала музыка... Уже задолго до своего вокального вступления Шаляпин "молча пел" музыку», — писал дирижер А. М. Пазовский.

— Невозможно. Ведь Рубинштейн был умный человек, а вы все ноты играете, как метрономы. Смысла в вашей музыке нет. Конечно, мелодия выходит, но всего нотами не изобразишь!..

Корещенко был скромный и тихий человек. Он покорно слушал Шаляпина и сказал:

— Но я же верно играю, Федя.

— Вот и возьми их! — сказал Шаляпин. — Что из того, что верно! Ноты — это простая запись, нужно их сделать музыкой, как хотел композитор. Ну вас всех к черту!

На другой день утром мы поехали на генеральную репетицию. Шаляпин был молчалив и расстроен.

Когда мы приехали в театр, репетиция уже шла. Как всегда, Альтани, увидав Шаляпина в кулисе, остановил оркестр и показал ему вступление палочкой.

Дитя, в объятиях твоих... — запел Шаляпин и остановился.

Сняв шарф и шубу, он подошел к дирижеру и обратился к оркестру:

— Господа, вы — музыканты, вы все — профессора, и вы, дорогой маэстро, — обратился он к Альтани, — прошу вас, дайте мне возможность продирижировать мои места в опере.



Демон —
Шаляпин
С картины
А. Я. Головина
Фрагмент

Альтани отдал палочку концертмейстеру Крейну, который, встав, передал ее на сцену Шаляпину. Шаляпин поднял палочку:

— Ариозо «Клянусь», — и запел полным голосом.

Когда он дошел до фразы: «Волною шелковых кудрей», — оркестр встал, музыканты закричали «браво» и сыграли Шаляпину туш.

Шаляпин продирижировал всю свою партию. Альтани что-то отмечал карандашом в партитуре. Шаляпин пел и за себя, и за хор и сразу повеселел. Благодарил Альтани и музыкантов, всех артистов и хор.

Когда мы с Шаляпиным вышли из театра, он сказал:

— Видишь, какая история, теперь все ладится. Я же боялся сказать: «Дайте мне продирижировать». Черт его знает — Альтани обидится. Положит палочку, уйдет — и опять забастовка дирижеров. Они думают, что я их учу, а они все ученые. Я же прошу понять меня, и только. Теперь споем... А знаешь ли, дешево я назначил за билеты. Надо было вдвое. Поедем куда-нибудь завтракать. В «Эрмитаже» народу много, пойдем к Тестову, здесь близко. Съедем головизну. Нет! Головизна тяжело, закажем уху из ершей и расстегаи. Надо выпить коньяку...

Бенефис прошел с огромным успехом. Но гордая московская пресса холодно отозвалась о бенефисе Шаляпина. Вообще Шаляпин был с прессой не в ладах.

Впрочем, после своего бенефиса в Петербурге он больше «Демона» не пел. Говорил, что партия для него все же высока, хотя он ее и транспонировал.

Вскоре после бенефиса Шаляпин, Горький, Серов, я и Сахновский поехали вечером ужинать. Подъехав к Страстному монастырю, остановились и стали обсуждать, куда ехать, — Горький и Шаляпин не хотели встречаться с толпой. Решили ехать за город, в «Стрельну». Шаляпин — отдельно с Горьким. А Сахновский — с нами, на паре, которую взяли на площади. Дорогой Сахновский, как обычно, говорил, что бросил пить.

— Нельзя, полнею... А вот в «Стрельне» придется.

В «Стрельне» заняли отдельный кабинет. Принесли закуски, вино, холодного поросенка.

Соседний кабинет был полон кутящими гостями. Там было шумно. Пел венгерский хор. Вдруг наступила тишина, и мужской голос неожиданно запел на мотив Мефистофеля:

Сто рублей на бенефис
Я за вход себе назначил,
Москвичей я одурачил,
Деньги все ко мне стеклись.

В соседнем кабинете раздался хохот и аплодисменты.

Мой великий друг Максим
Заседал в отдельной ложе,
Полугорьких двое тоже
Заседали вместе с ним.
Мы дождались этой чести,
Потому что мы друзья,
Это все — одна семья,
Мы снимались даже вместе,
Чтоб москвич увидеть мог,
Восемь пар смазных сапог,
Смазных сапог,
Восемь пар смазных сапог,
Смазных сапог, да!

— Что за черт, — сказал Шаляпин. — А ведь ловко.

Позвали метрдотеля. Шаляпин спросил:

— Кто это там?

— Да ведь как сказать... Гости веселятся. Уж вы не выдайте, Федор Иванович. Только вам скажу: Алексей Александрович Бахрушин* с артистами веселятся. Они хотели вас видеть, только вы не пустите.

Горький вдруг нахмурился и встал:

— Довольно. Едем.

Мы все поднялись. Обратно Горький и Шаляпин снова ехали вместе, мы — на паре.

— Чего он вскинулся? — удивлялся Серов. — Люди забавляются. Неужели обиделся? Глупо!

Ф. И. Шаляпин и
И. М. Москвин
Внизу шарж на Моск-
вина с надписью:
«Милый Ванюша!
Да здравствуют бли-
ны! Ай да масляна —
всякой сладостью
понаскучила!»



* Алексей Александрович Бахрушин (1865 — 1929) — купец, основатель театрального музея в Москве (теперь: Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина). — Ред.

НА ВОЛГЕ

От директора императорских театров Теляковского я получил телеграмму. Он просил меня приехать к нему в имение Отрадное, близ Рыбинска, на Волге.

— Поедем, Федя, — предложил я.

— Ладно, — ответил Шаляпин, — я люблю Волгу. Поедем из Ярославля на пароходе «Самолет». Будем есть стерлядь кольчи́ком.

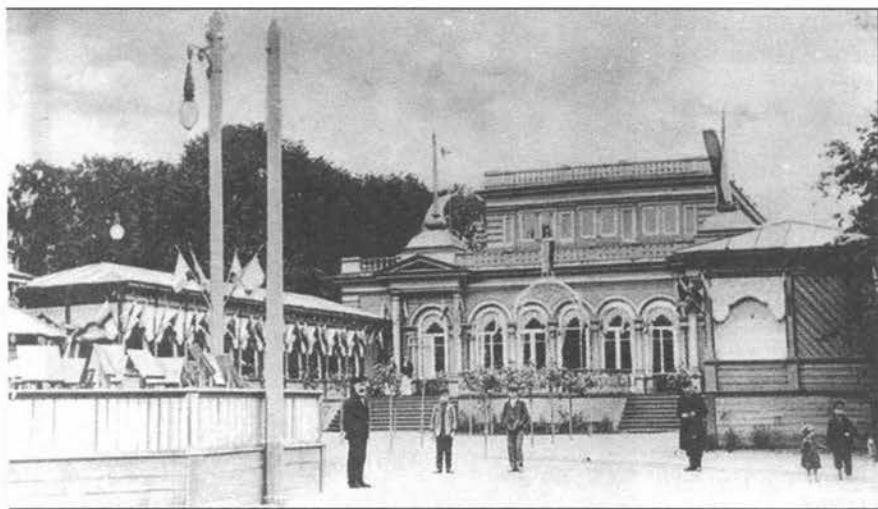
— Ты что, так в поддевке и поедешь?

— А почему же? Конечно, в поддевке.

— Узнают тебя на пароходе, будут смотреть.

— А черт с ними. Пускай.

Когда приехали в Ярославль, узнали, что пароход «Самолет» уходит через три часа. Куда деться? Пошли в городской сад и сели



*Ресторан Бутлера
в Ярославле*

у ресторана снаружи. Нам была видна дорога, которая спускалась к Волге. По ней ехали ломовики, везли рогожные кули с овсом, огромные мешки с хлебом, в корзинах из прутьев — белугу, осетрину, севрюгу. Вozы тянулись бесконечно по дороге. Слышалось: «Ы... Ы...» Ломовые понукали лошадей. Ехали ба-

бы на возах, в цветных платках, загорелые и дородные... <...>

К обеду нам подали белугу с хреном и икру зернистую, на корбке было написано: «Колганов. Москва».

— Ты посмотри, что написано, — сказал Шаляпин, — в чем дело?

Он рассердился, позвал человека и приказал:

— Убери.

Только мы стали есть белугу, как за соседний столик сели два чиновника, в фуражках с кокардами. Один молодой, другой постарше.

Молодой посмотрел на Шаляпина и сказал что-то другому. Старший тоже посмотрел на Шаляпина. «Узнали», — подумал я.

Чиновники встали и подошли к нам. Старший сказал:

— Здравствуйте, Федор Иванович. Позвольте вас приветствовать в нашем городе.

— Очень рад, — ответил Шаляпин. — Но я вас не знаю.

— Нас много, — ответил, улыбаясь, старший. — Мы чиновники у губернатора. Нас много, и губерний много. А вы один — великий артист. Позвольте вас приветствовать.

— Садитесь, — сказал Шаляпин.

Один из чиновников позвал человека и заказал бутылку шампанского. Когда подали шампанское, оба чиновника встали и подняли бокалы.

— Мы ездили в Москву вас слушать, Федор Иванович, и каждый день вспоминаем о вашем спектакле с восторгом. Но, простите, Федор Иванович, мы слышали, что вы — друг Горького. Друг этого лжеца и клеветника России. Неужели это правда?

Шаляпин побледнел.

— Мы, очевидно, с вами разные люди. Мне неприятно слышать про Алексея Максимовича, что он — лжец и клеветник. Вам, вероятно, не нравится та правда, которую он говорит.

Шаляпин отвернулся от чиновников, позвал человека и коротко сказал мне:

— Заплати.

Я расплатился по счету. Шаляпин молчал, ждал.

— Пойдем.

И мы ушли, не дотронувшись до шампанского.

— Вот видишь, — сказал мне дорогой Шаляпин, — жить же нельзя в этой стране.

Мы шли, спускаясь к Волге. Шаляпин вел меня по берегу мимо бесконечных пристаней. Потом вдруг сказал:

— Зайдем сюда.

Проходя мимо бочек и всюду наваленного товара, мы подошли к рыбной лавке. Лавочник, по приказанию Шаляпина, взял ножик, вытер о фартук и вытянул осетра изо льда. Осетр открывал рот. Лавочник бросил его на стол и полоснул ножом по животу. Показалась икра. Лавочник выгреб ее ложкой в миску, поставил миску и соль в бураке перед Шаляпиным и подал калачи. Шаляпин щепотью посолил икру в миске и сказал:

— Ешь, вот это настоящая.

Мы ели зернистую икру с калачом.

— Это еще не белужья, — говорил Шаляпин, откусывая калач. — Настоящая-то ведь белужья зернистая.

— Белужей нет, — сказал рыбак. — Белужья боле за границу идет. Белужья дорога. У нас в Ярославле белужей не достать. В Питере, Москве еще можно.

* * *

Всю дорогу до Теляковского Шаляпин проспал в каюте.

Теляковский обрадовался Шаляпину. За обедом был священник соседнего села и две гувернантки — англичанка и француженка. Видно было, что Шаляпин им понравился. С англичанкой он заговорил на английском языке. Та рассмеялась: Шаляпин не знал по-английски и нес чепуху, подражая произношению англичан.

Через два дня мы уехали. Возвращались опять на пароходе «Самолет».

Стоял ясный летний день. Далеко расстилалась Волга, завораживая за лесные берега, по которым были разбросаны деревни, села и блестили купола церквей.

Мы с Шаляпиным сели за стол в салоне первого класса. Шаляпин заказал чай. Снял картуз и салфетку бросил себе через плечо на поддевку. Налил чай из стакана в блюдце, взял его всей пятерней и, мелко откусывая сахар и дуя в блюдце, говорил:

— Швырок-то ноне в цене. Три сорок, не приступись. У Гаврюхина швырку досыта собака наестся. Не проворотишь. Да ведь кому как. Хоть в лепешку расстелись, а Семену крышка.

Я подумал: «Чего это Федор разделявает? Купца волжского — дровяника».

Все пассажиры смотрели на нас. Входили в салон дамы и с удивлением оглядывали Шаляпина.

Я вышел из салона на палубу. Прошла какая-то женщина в нарядной шляпе. За ней — муж, держа за руку мальчика. Муж, догоняя жену, говорил:

— Это не он. Не он, уверяю тебя.

— Нет, он, — отвечала жена. — Он. Я его узнала.

— Да не он же, что ты!

— Перестань, я знаю.

Они обошли кругом по палубе. И когда приблизились опять к салону, где сидел и пил чай Шаляпин, женщина вновь бросила взгляд в окно и с уверенностью сказала:

— Он.

Муж, поравнявшись со мной, приостановился и робко спросил:

— Извините, вот вы в рубке сидели с этим высоким, чай пили, — что, это Шаляпин?

— Нет, — ответил я. — Купец. Дрова по Волге скупает...

Когда я вошел в салон, Шаляпин продолжал пить чай из блюдца и салфеткой вытирать пот с лица и со лба. Я опять подсел к нему. Он тотчас же стал снова дурить.

— Неча гнаться. Швырок-от погодит. Не волк, в лес не уйдет. Пымаем. Наш будет. В Нижнем скажу, так узнает Афросимова. Он еще поплачет. Погоди.

— Довольно, Федя, — шепнул я. — Тебя же узнали.

— А куда ему есеньть до Блудова? Блудовский капитал не перешибет, он теперь на торф переходит. Он те им покажет. В ногах поваляются. Возьми швырок, возьми. Вот тогда-то за два двадцать отдадут. А то без порток пустит. Блудова-то я знаю.

— Довольно же! — вновь тихо сказал я.

— Черт с ними!

Пароход подходил к пристани. Показался большой монастырь. Черными пятнами на фоне светлых стен казались монахи. На пристани шел молебен. Пароход причалил к пристани. На берегу остановили молебен, произошло какое-то движение. На пристань вышли священник, дьякон с кадилом, столпились монахи. Все смотрели во все глаза на пароход. В толпе слышалось: «Шаляпин, Шаляпин! Где он?»

Федор Иванович ушел и заперся в каюте.

Пароход подошел к Ярославлю.

Я постучался в каюту к Шаляпину.

— Выходи, приехали.

— Погоди, — ответил мне из-за двери Шаляпин, — пускай разойдутся. Ну их к черту. После второго свистка я выйду...

Шаляпин, когда сходил с парохода, взял мою шляпу, а мне дал свой чесучовый картуз. На берегу быстро прошел к лодочнику, взял лодку, крикнул: «Садись!» — и навалился на весла.

Лодка быстро проскользнула мимо всяких суденышек и барок на волжский простор. Шаляпин расхохотался.

— Вот катавасия!.. Покою нет! И что я им дался?

Он ловко управлял лодкой. Светлые ресницы его блестели на солнце.

— Вот мы сейчас приедем, Константин. Я покажу тебе знакомый трактир. Поедим настоящих расстегаев с севрюгой.

Шаляпин быстро вытащил лодку на отлогий берег, и мы пошли по тропинке к дороге. Шаляпин взял у меня картуз и отдал мне шляпу. Справа от дороги была навалена масса бревен. Шаляпин шагал широко и ловко. Глядя на него, я подумал: «А страшно вато, должно быть, не зная — кто он, встретиться в глухом месте с таким молодцом со светлыми ресницами». В его огромном росте, сильных движениях была некая разбойничья удаль.

— Вот он, трактир, за бугром, — сказал Шаляпин.

Мы подошли к двухэтажному деревянному дому. Сбоку у входа на большой вывеске вкривь и вкось было написано: «Трактир».

По деревянной лестнице поднялись на второй этаж. Пахло чаем и квасом. В трактире было мало народу.

Сели у окна за столиком. Подошел половой. Шаляпин заказал расстегаи. Из-за стойки смотрел на нас краснорожий, с черной бородой, трактирщик. Проторос посередине, кудрявые волосы блестели от помады.

— Это сын, должно быть, — сказал мне Шаляпин. — А трактирщик-старик, видно, помер.

Расстегаи — горячие, масляные, с рыбой — были действительно замечательные. Половой подал водку.

— Может, вам анисовой аль березовой? — крикнул нам из-за стойки трактирщик.

— Давай березовой, — в тон ему отозвался Шаляпин. — А ты не сын ли будешь Петра Гаврилова?

— Сын. А вы что — отца знали?

Трактирщик, выйдя из-за стойки, подошел к нам.

— Присядь, — сказал Шаляпин.

— Илюшка! — крикнул хозяин. — Ну-ка, подай тешку балыковую. Гости хорошие. А вы ярославские али как?

— Был ярославский, а теперь в Москве живу, — ответил Шаляпин.



Шаляпин на концерте
Шарж И. А. Малинина
1914

— А при каком деле? — спросил трактирщик.
— Дровами торгую.
— Так-так. Чего ж, дело хорошее. Бывали, значит, здесь при отце?..

Трактирщик как-то хитро и испытующе посмотрел на нас.

— Так, так... У меня третьеводни какое дело вышло. Тоже пришли молодцы этикие, одеты по-богатому. Пили, вот пили. Такой разгул завели. Вдруг полиция — да сколько! — прямо на пароходе причалили и всех их забрали. Самые что ни на есть мошенники. Вот которые в карты по пароходам обыгрывают. Один все-таки убежал. Говорят, главный... Вот, покушайте-ка тешечки, — сказал трактирщик, — первый сорт.

В трактир ввалилась толпа здоровых, загорелых, в белых рубахах и лаптях людей.

— Бурлачье, — презрительно сказал хозяин. — Илюшка, отворяй окошки, а то воздух испортят.

Бурлаки, шумно смеясь и бранясь, заняли столы и скамейки. Кричали:

— Давай щи жирнищи, поглядывай! Сморчищи не дай, а то на голову выльем!

Бурлаков всё прибывало. Толпой у стойки они пили водку. Половые подавали щи в больших деревянных мисках. Появился, с завязанным глазом, гармонист и сел в сторонке.

Наступила тишина: бурлаки хлебали щи молча. Никто из них на нас не обратил никакого внимания. Из кувшинов разливали квас. Некоторые пили водку.

Похлебав щей, сразу все заговорили. И опять замолчали, когда подали белужину.

— Ну что ж ты, играй! Запузыривай!

Гармонист запел, подыгрывая на гармонии:

Вот и барин в шляпе ходит...

Песня была непристойная до невозможности. Шалапин встал, подошел к стойке и спросил у хозяина карандаш и бумагу. Вернувшись к столу, сказал:

— Надо, брат, это записать, больно здорово.

Вытащив кошель, бурлаки бросали деньги в шапку — собирал один. Сосчитав деньги, он пошел к стойке платить хозяину и дал несколько медяков гармонисту.

Бурлаки все разом поднялись и вышли. Было видно из окна, как они бегом бежали по дороге и завернули за бугор к Волге.

Гармонист подошел к нам и протянул картуз:

— Ну-ка, дай ему двутривенный, — сказал Шалапин.

Я дал гармонисту полтинник и спросил:

— Отчего песни все похабные такие поете?

— Э... — покачав головой, ответил гармонист, — других-то слушать не будут. Это бурлаки, тверские, самый озорной народ. Барки тянут. А вот лес которые гонят — архангельские, с Поморья, — те староверы, тем не споешь этих песен, морду набьют. Тем духовные подавай.

Мы пошли обратно по дороге к лодке. У самой воды нас догнал полицейский и сказал хриплым голосом:

— Простите за беспокойство, — не я прошу, служба велит, — позвольте узнать ваше звание.

Ни у меня, ни у Шаляпина паспортов с собой не было. У меня была в кармане только бумага на право писания с натуры. Я дал ее полицейскому.

— Очень хорошо-с.

— А он, — показал я на Шаляпина, — артист императорских театров Федор Иванович Шаляпин.

— Как-с? Да неужели? Господин Шаляпин! Вот ведь что, господи. В Нижнем-то вы пели, я был при театре тогда в наряде. Эх, ведь я в пяти верстах живу отсюда. Сейчас пару достану. Ежели бы ко мне, судаком отварным, с капорцами соус, угостил бы вас.

— Давайте адрес, мы как-нибудь приедем, — сказал Шаляпин.

— Сделайте радость, господин Шаляпин, и карточку вашу захватите, пожалуйста.

Он вырвал из книжечки бумажку и записал адрес.

— Ежели милость будет, черкните дня за два. Я всегда по берегу здесь. Мы ведь береговая полиция.

— А каких это вы жуликов третьего дня поймали здесь? — спросил Шаляпин.

— Шулера это. На пароходах обыгрывают. Главный-то из рук ушел. Прямо в землю провалился. Привели на пароход, он и пропал. А у него все деньги. А тех тоже выпустили. Знаем, а доказать нельзя...

Вернувшись в Ярославль, мы поехали на вокзал. До поезда оставалось полтора часа. На вокзале было пусто. Мы сели за большой

стол, спросили чаю. Вскоре вошел какой-то господин низенького роста, в пальто, в котелке, с зонтиком. На носу у него было золотое пенсне. Тщательно расчесанная бородка. Сзади него шли двое опрятно одетых рабочих. Несли доброй кожи чемоданы, пестрый плед. Незнакомец, блеснув стеклами, внимательно посмотрел на Шаляпина, сел за стол напротив нас и тоже спросил чаю. Рабочие поставили около него чемоданы и, поклонившись, ушли. Видно было, что это какой-то богатый фабрикант.

Шаляпин, попивая чай, пристально поглядывал на него. Тот, видимо, несколько смутился.

Вдруг Шаляпин спросил:

— Яшка, ты что же, не узнаешь меня?

Сосед, испуганно взглянув на Шаляпина, быстро ответил:

— Я не Яшка, и я вас не знаю.

— Смотри, — обратившись ко мне, сказал Шаляпин, — не узнает. А вместе со мной в остроге сидел, в Нижнем.

— Вы ошибаетесь. Я вас не понимаю. Какое вы имеете право оскорблять меня?



Ярославль
Московский вокзал
Фотография начала XX в.

— Вот сукин сын, — не унимался Шаляпин. — Не узнает! И имя, наверное, переменял.

— Милостивый государь, я вас прошу оставить меня в покое. Я буду на вас жаловаться жандарму.

— Не будешь! От воинской повинности бегал, сам мне сознавался.

Сосед вскочил из-за стола, бросил монету и, схватив чемоданы и плед, быстро вышел из буфета. В окно мы видели, как он взял у станции извозчика и уехал.

— Что такое, Федя, — спросил я. — Ты его знаешь?

— Нет, — смеясь, ответил Шаляпин. — В глаза никогда не видел.

— Что же это такое?

Шаляпин смеялся.

* * *

Шаляпин лежал в купе против меня. Дверь купе отворилась. Вошел контролер с кондуктором. Шаляпин, закрыв глаза, похрапывал.

— Ваш билет, — спросил контролер.

Я дал ему билет и толкнул Шаляпина. Он не пошевелился. Я покачал его за плечо. Он сонными глазами, точно не вполне проснувшись, взглянул на контролера и стал искать билет по карманам.

Контролер нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

Шаляпин, глядя на него сонными глазами, спросил:

— А Киев скоро?

— Какой Киев? На Москву едете.

— Да неужели? — удивился Шаляпин.

Контролер ушел, обидевшись.

На следующей станции к нам в купе вошли: контролер, кондуктор и жандарм.

— Ваш билет, — потребовал кондуктор.

Шаляпин стал снова шарить по карманам.

— Вы куда едете? — спросил жандарм.

— А вам что?

— Пожалуйста на станцию.

— Чего бы я туда стал ходить? Мне и здесь хорошо...

Все ушли. Мы проехали еще несколько станций. У Троице-Сергия к нам в купе явились: контролер и с ним уже два жандарма и кондуктор.

— Ваш билет, — спросил жандарм.

Шаляпин небрежно вынул из жилетного кармана билет и дал.

— Позвольте ваш вид и ваше местожительство.

— У меня нет с собой паспорта, а местожительство в Москве.

На Новинском бульваре свой дом.

— Пожалуйста на станцию, подписать протокол.

Шаляпин с важным видом поднялся с места и пошел к дверям. На станции он спросил жалобную книгу и написал в ней, что не понимает, почему напрасно пассажиров будят в купе таком-то, номер

вагона такой-то и пугают толпой полиции и жандармов. Он просил господина министра, князя Хилкова, обратить внимание на это безобразие.

Мы опять сели в вагон и поехали. Перед Москвой в купе пришел обер-кондуктор. Он был испуган и огорченно и заискивающе сказал Шаляпину:

— Ведь это, конечно, беспокойство причиняют, но я-то тут, верьте слову, ни при чем...

Шаляпин милостиво кивнул головой и записал его фамилию и адрес.

— Знаю, знаю, любезный... Не беспокойся, ничего не будет...

В КРЫМУ

В Крыму, в Гурзуфе, у моря, я построил себе дом в четырнадцать комнат. Дом был хороший. Когда вы просыпались, то видели розы с балкона и синее море. Впрочем, как ни прекрасен был Гурзуф, но я все же любил больше мой деревенский дом, среди высоких елей моей прекрасной родины.

Шаляпин приезжал ко мне в Крым. И не один. С ним были: Скиталец, Горький и еще кто-то. Я пригласил специального повара, так как Шаляпин сказал:

— Я хотел бы съесть шашлык настоящий и люля-кебаб.

Из окон моей столовой было видно, как громоздились пригорки Гурзуфа с одинокой виллой наверху. За завтраком Шаляпин серьезно сказал:

— Вот эту гору я покупаю и буду здесь жить.

И после завтрака пошел смотреть понравившиеся ему места. Его сопровождал грек Месалиди, который поставлял мне камень для постройки дома.

Вернувшись, Шаляпин прошел на террасу — она была очень просторна и выходила к самому морю; над ней был трельяж, покрытый виноградом. За Шаляпиным следовала целая толпа людей.

Когда я вышел на террасу, Шаляпин лежал в качалке. Кругом него стояли: Месалиди, какие-то татары и околоточный Романов с заспанным круглым лицом и охрипшим голосом; шло совещание.

С террасы были видны Одалары — две большие скалы, выступающие из моря, — «пустынные скалы». На скалах этих никто не жил. Только со свистом летали стрижи. Там не было ни воды, ни растительности.

— Решено. Эти скалы я покупаю, — сказал Шаляпин.

— На что они вам? — возразил околоточный Романов. — Ведь они налетные. Там воды нет.

Шаляпин досадливо поморщился. Я ушел, не желая мешать обсуждению серьезных дел.

С этого дня Шаляпин забыл и Горького, и друзей, каждый день ездил на лодке на эти скалы и только о них и говорил.

Приятель его, Скиталец, целые дни проводил в моей комнате. Сказал, что ему нравится мой стол — писать удобно. Он сидел и писал. Писал и пил.

Сбоку на столе стояло пиво, красное вино и лимонад. Когда я зачем-нибудь входил в комнату, он бывал не очень доволен...

Раз я его увидал спящим на моей постели. Тогда я перетащил свой большой стол в комнату, которую отвел ему...

* * *

Вскоре Горький и другие приятели Шаляпина уехали, а он отправился в Ялту — узнавать, как ему получить от казны Одалары. Перед отъездом он сказал мне:

— В чем дело? Я же хочу приобрести эти Одалары.

— Но на них ведь нельзя жить. Это же голые скалы.

— Я их взорву и сделаю площадки. Воду проведу. Разведу сады.

— На камне-то?

— Нет-с, привезу чернозем, — не беспокойтесь, я знаю. Ты мне построишь там виллу, а я у Сухомлинова попрошу старые пушки.

— Зачем же пушки? — удивился я.

— А затем, чтобы ко мне не лезли эти разные корреспонденты, репортеры. Я хочу жить один, понимаешь ли, один.

— Но ведь в бурю, Федя, ты неделями будешь лишен возможности приехать сюда, на берег.

— Ну, нет-с. Проеду. Я велю прорыть под проливом туннель на берег.

— Как же ты можешь пробить туннель? Берег-то чужой! Ты станешь вылезать из туннеля, а хозяин земли тебя по макушке — куда лезешь, земля моя...

Шаляпин рассердился.

— То есть как же это, позволь?

— Да так же. Он с тебя возьмет за кусок земли, куда выйдет твой туннель, тысяч сто в год.

— Ну вот, я так и знал! В этой же стране жить нельзя! Тогда я сделаю бассейн, привезу воду.

— Бассейн? — усомнился я. — Вода протухнет.

Шаляпин с досадой махнул рукой и велел позвать околоточного Романова — в последнее время тот стал его закадычным приятелем. Они чуть не каждый день ездили на лодке на Одалары. С Одалар Романов возвращался еле можаху и шел спать в лодку, которых много на берегу моря. Встретив меня на улице, Романов однажды сказал мне охрипшим голосом:

— Федор Иванович — ведь это что? Бог! Прямо бог! Вот какой человек. Погодите, увидите, кем Романов будет. У Ялты ловят — кто ловит? Жандармы ловят. Кого ловят? Политического ловят. А Федор Иванович мне говорит: «Погоди, Романов, я тебе покажу настоящего политического». Поняли? Покажет. А я его без жандармов, за жабры. Кто поймал? Романов поймал. Околоточный поймал. Поняли? До самого дойдет, тогда кто Романов будет?

Я улыбнулся.

— А отчего это у вас голос хриплый, Романов?

— Как отчего? Кто день и ночь работает? Романов. В трактире, в распивочной, всюду чертом надо орать. Смотрите-ка, у меня на

шее какая царапина. Всё — озорство. В кордегардию сажать надо. Мученье! Ну, конечно, и выпьешь, без этого нельзя.

— Какого ты политического преступника хочешь показать Романову? — спросил я Шаяпина.

Шаяпин расхохотался.

— Жаловался мне Романов, что повышения нет по службе: «Двенадцать лет мучаюсь, а вот шиш. А мундир надо шить. Государь скоро в Ливадию приезжает. Встречать надо. Жандармы понаехали, политических ловят. Вот бы мне!» Я ему и сказал: «Я покажу тебе, Романов, политического». Хочу показать ему одного известного присяжного поверенного. Тот его вздрючит.

И Шаяпин весело смеялся...

В те же дни из Суук-Су в коляске приехала дама. Высокая, нарядная. Поднесла Шаяпину великолепную корзину цветов, и другую — с персиками и абрикосами. Просила его приехать к ней в Суук-Су к обеду. Шаяпин, узнав, что она владелица Суук-Су, поехал. Было много гостей. Шаяпин охотно пел и очаровал дам.

Ночью, на возвышенном берегу моря, около Суук-Су был зажжен фейерверк и устроен большой пикник. Лилось шампанское, гости бросали бокалы со скалы в море, ездили на лодке, при факелах, показывать Шаяпину грот Пушкина.

Хозяйка Суук-Су сказала:

— Эту землю, над гротом великого поэта, я прошу вас принять от меня в дар, Федор Иванович. Это ваше место. Вы постройте здесь себе виллу.

Шаяпин был в восхищении и остался в Суук-Су. На другой день утром у него уже был нотариус и писал дарственную. Одалары были забыты. Шаяпин говорил:

— Надо торопиться. Я остаюсь здесь жить.

Позвал Месалиди и сейчас же велел строить стену, ограждающую его землю. И всю ночь до утра просидел со мной над бумагой, объясняя, какой он хочет построить себе дом. А я слушал и рисовал.

— Нарисуй мне и подземный ход к морю. Там постоянно будет стоять яхта, чтобы я мог уехать, когда хочу...

Странная вещь: Шаяпин всегда точно кого-то боялся...

Нужно ли говорить, что шаяпинская вилла так-таки никогда не была построена. Во времена Керенского я был в Гурзуфе. Месалиди жаловался мне, что на письма его Шаяпин ничего не отвечает. И стал разбирать стену...



Для создания достоверных сценических образов необходимо было владеть многими практическими навыками, в том числе и приемами фехтования

«МИР ИСКУССТВА». ШАЛЯПИН ЗА ГРАНИЦЕЙ

В 1898 году в Петербурге, в квартиру Мамонтова, где я останавливался, пришел молодой человек, элегантно одетый. Волосы его были тщательно расчесаны; впереди белела прядь седых волос.

— Я был в Москве, — сказал он, — познакомился с Серовым, и он мне дал ваш петербургский адрес. Видите ли, я хочу издавать художественный журнал, и мне нужно ваше участие. В журнале будет также отдел иностранной живописи. В русском искусстве начинается новая эра, представителями которой являетесь вы, Врубель, Левитан, Серов — московское течение в искусстве.

В это время в комнату вошел С. И. Мамонтов.

— Вот какая интересная мысль, — сказал я, — издавать художественный журнал.

Савва Иванович протянул руку молодому человеку. Тот назвал себя: Дягилев. Мамонтов повел нас завтракать к Кюба. От Кюба я поехал к Дягилеву.

Дягилев занимал со своим отцом небольшую квартиру. Отец его был добродушного вида, уже пожилой, военный генерал. Дягилев показал мне небольшие картины: этюд Шишкина, рисунок Левитана, Клевера. И сказал мне, что денег для издания журнала у него нет. Но все, что он говорил про



С. П. Дягилев
Рисунок
Ф. Шаляпина
1910

журнал, который он хотел издавать, было очень интересно. На следующий день Мамонтов сказал:

— А этот молодой барин — очень энергичный человек. Денег, вероятно, у него нет?

— Нет, — ответил я. — Он мне это сказал.

При следующей встрече Мамонтов позвал Дягилева в Москву. Там, у Саввы Ивановича, он познакомился с Васнецовым, Врубелем, Шаляпиным. Все нашли его образованным и интересным человеком. Мамонтов дал Дягилеву деньги для издания, и я сделал ему первую обложку для журнала и декоративные иллюстрации в красках.

Редакция нового журнала помещалась в одной из небольших комнат скромной квартиры Дягилева. Тут я познакомился с его приятелями: Нувелем, его братом, Розановым, Мережковскими. Вскоре вышел и первый номер журнала «Мир искусства»...

* * *

В 1899 году я, как уже знает читатель, получил приглашение от князя Тенишева сделать проект русского отдела «Окраины России» на Всемирной парижской выставке 1900 года и весной уехал в Среднюю Азию, а потом на Крайний Север, чтобы сделать на местах большие панно.

В те же времена (несколько позже) Дягилев познакомил Париж с Шаляпиным, который имел колоссальный успех в «Борисе Годунове». С этого времени Европа узнала Шаляпина и оценила его. Он пел в разных странах.

Я поехал лечиться в Виши, и Шаляпин, узнав, что я там, тоже приехал в Виши.

Дирекция городского театра, осведомившись о приезде Шаляпина, предложила ему спеть в театре Виши оперу «Дон-Кихот» Массне.

Я присутствовал в театре. Появление Шаляпина на сцене вызвало восторженные аплодисменты. Я заметил, что Шаляпин побледнел, — оказалось, в эту минуту он увидел, что в будке нет суфлера, а спектакль шел по-французски. И Шаляпин спел весь спектакль на французском языке, без суфлера. Он говорил мне после спектакля:

— Ты не можешь представить, какой ужас охватил меня, когда я увидел, что нет суфлера. Я сам удивляюсь, как я мог ничего не спутать и петь. В первый раз пришлось пережить такое испытание...

В Виши я написал с Шаляпина портрет.

Однажды ко мне в комнату забрался сверчок, да такой голо-
систый, что я не знал, как от него избавиться. Неизвестно было, где он стрекочет. Не давал спать. Я пожаловался Шаляпину. Тот долго слушал сверчка и сказал:

— Вот он, тут, в углу. — Шаляпин показал на пол. — Давай воду.

Шаляпин взял графин и стал поливать пол.

Но сверчок не унимался.

Тогда Шаляпин решил, что ошибся, взял с умывальника кувшин и стал поливать пол в другом месте.

Сверчок как ни в чем не бывало продолжал петь.

— Что такое! — изумился Федор Иванович и поднял глаза к потолку. — Слышишь? Ведь он на потолке!

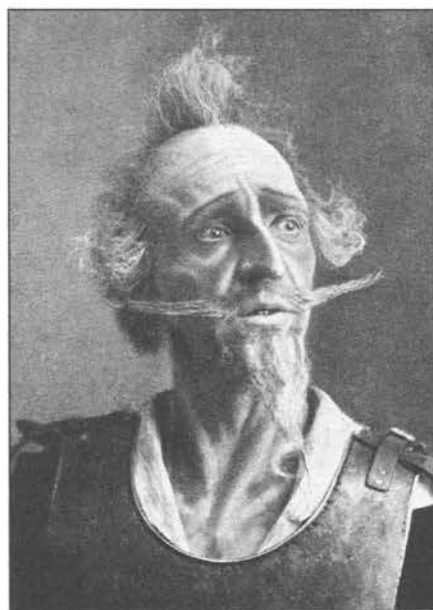
— Ну, брось, Федя, — сказал я.

— Нет, постой, я его найду...

Я ушел пить воду. Когда я вернулся и вошел в комнату, то увидел, что Шаляпин мирно спит на моей постели, а сверчок сидит на его согнутом колене и стрекочет.



В создании образа Дон-Кихота Шаляпин-художник стоит почти на одном уровне с Шаляпиным-артистом. Исследователь творчества Шаляпина Э. Старк писал, что в Дон-Кихоте «портретность доведена до художественной виртуозности, которой мог бы позавидовать любой живописец или скульптор».



Ф. Шаляпин
Автопортрет
в роли
Дон-Кихота
(вверху)

Дон-Кихот —
Шаляпин

Я поймал сверчка в платок. Это был небольшой серый кузнечик. Шаляпин попросил, чтобы я отдал сверчка ему.

— Я его возьму к себе в Россию. Я люблю, когда кричит сверчок. Пушу его на печку или в баню. У нас нет таких голосистых.

Шаляпин взял коробку, наложил травы, сделал дырочки для воздуха и унес. В России я его как-то спросил:

— А как же сверчок-то из Виши?

— Представь, я его в гостинице забыл. Какая досада.

ДОМ В ДЕРЕВНЕ

В России Шаляпин купил лесное имение на речке Нерли. Сначала просил меня, чтобы я уступил ему мой дом. Хотел жить, как я, — в деревне. И я, по просьбе Теляковского, уже готов был согласиться, но оказалось, что дом мой мал.

Тогда я сделал для Шаляпина проект большого дома. Серов, взглянув на него, с улыбкой сказал:

— Строить хотите терем высокий?

— Да, — ответил я, — «на верху крутой горы знаменитый жил боярин, по прозванию Карачун».

Место, где строился дом Шаляпина по моему проекту, называлось Ратухино. Строил его архитектор Мазырин, по прозвищу Анчутка. Шаляпин принимал горячее участие в постройке, и они с Мазыриным сочинили без меня конюшни, коровники, сеной сарай, огромные, скучные строения, которые Серов назвал «слоновники». Потом прорубали лес, чтобы открыть вид.

Над рекой построили помост для рыбной ловли, огромную купальню. Походную палатку заказали вдвое больше, чем у меня, — и в день открытия дачи позвали московских гостей — друзей.

Новый дом пахнул сосной.

*Дача Шаляпина
в Ратухине*



Приятель Федора Ивановича Петруша Кознов, здороваясь ласково с гостями, каждому на ухо говорил:

— Не пью.

За обедом были пельмени, но не удались. Федор Иванович огорчился и стукнул по столу кулаком. Вся посуда на большом столе подпрыгнула кверху и, брякнувшись обратно на стол, — разбилась.

Шаляпин приказал выкатить бочки с пивом для собравшихся на праздник крестьян окрестных деревень. Пили водку, пиво, была колбаса, пироги, копченая тарань.

Федор Иванович стал говорить мужикам речь. Те кричали «ура», но речь не слушали — было пьяным-пьяно. Вдобавок набегали тучи, разразилась гроза, и с потолка дачи в столовой протекла вода.

Архитектор Анчутка, не проложивший деревянную крышу толем, захватил чемодан и убежал от греха на станцию. Федор Иванович в сердцах послал за ним вдогонку верховых, но тот где-то спрятался. Шаляпин так рассердился, что сказал мне и Серову:

— Едем в Москву.

— А как же гости-то?

— Едем!

И мы уехали в Москву.

С тех пор Шаляпин не приезжал в деревню более года. Кстати, когда уехали из деревни его супруга и дети, дачу обокрали. Выкрали медную посуду, одеяла. И украл всё сторож дачи.

— Вот видишь, — говорил мне Федор Иванович, — в этой же стране нельзя жить...

На даче остались собаки, огромные водолазы, которых Шаляпин купил специально для того, чтобы никто не осмеливался ходить через его двор. Собаки, которых управляющий кормил кониной, за год одичали одни в лесу, и в лес по грибы показаться нельзя было...

* * *

Шла война. Федор Иванович устроил в своем московском доме лазарет. Жена и его дочери были сестрами милосердия. Доктором он взял Ивана Ивановича Красовского.

Шаляпин любил свой лазарет. Беседовал с ранеными солдатами и приказывал их кормить хорошо. Велел делать пельмени по-сибирски и часто ел с ними вместе, учась у них песням, которые они пели в деревне. И сам пел им деревенские песни. Когда пел:

Ах ты, Ванька, разудала голова,

На кого ты меня, Ванька, покидаешь,

На злого свекора...—

то я видел, как раненые солдаты плакали.

ОКТАБРЬ

Государь отрекся. В управление страной вступило Временное правительство. Назначались выборы в Учредительное собрание. Вся Россия волновалась. Везде были митинги, говорили без конца.

Шаляпин пришел ко мне взволнованный.

— Ерунда какая-то идет. Никто же ничего не делает. Теляковского уже нет. Почему, в сущности, он уволен? Управляющий — Собинов! Меня удивляет, зачем он пошел? Он артист. Управление театрами! Это не наше дело. Хора поет половина. В чем дело вообще? Я не понимаю. Революция. Это улучшение, а выходит ухудшение. Молока нельзя достать. Почему я должен петь матросам, конным матросам? Разве где-нибудь есть конные матросы? Вообще, знаешь ли, обалдение.

— Ты же раньше жаловался, Федя, что в «этой стране жить нельзя», а теперь недоволен.

— То есть, позволь, но ведь это не то, что нужно...

— Вот-вот, каждый теперь говорит, что всё не так, как бы он хотел. Как же всех удовлетворить?

* * *

Вспыхнуло Октябрьское восстание. Шаляпин был в Москве и приходил ко мне ночевать. Был растерян, говорил:

— Это грабеж, у меня всё вино украли. Равенство, понимаешь ли. Я должен получать, как решил какой-то Всерабис*, 50 рублей в день. Как же? Папиросы стоят две пачки 50 рублей. Никто не может получать больше другого. Да что они — с ума сошли, что ли, черт возьми! Этот Васька Белов пришел ко мне поздравлять с революцией. Я говорю: «Что ты делаешь?» — «Заборы, — говорит, — разбираю». — «Зачем?» — «Топить». — «Сколько ты получаешь?» — «Как придется, — говорит. — Я-то разбираю да продаю. Вот прошлый месяц 85 тысяч взял». Я к Луначарскому, а он мне: «Я постараюсь вам прибавить, вы только пойте на заводах, тогда будете получать паек». Да что они — одурели, что ли?

— А что же Горький-то? Ты бы с ним поговорил.

— Я и хочу ехать в Петербург. Там лучше. У Алексея Максимыча, говорят, в комнатах поросята бегают, гуси, куры. Здесь же жрать нечего. Собачину едят, да и то достать негде. Я, вообще, уеду за границу.

— Как же ты уедешь? А если не пустят? Да и поезда не ходят.

— То есть — как не пустят? Я просто вот так пойду, пешком.

— Трудновато пешком-то... да и убьют.

— Ну, пускай убивают, ведь так же жить нельзя! Это откуда у тебя баранки?

На столе у меня лежали сухие баранки.

— Вчера с юга приехал Ангарский. Я делал ему иллюстрации к русским поэтам, так вот он дал мне кусок сала и баранки.

Шаляпин взял со стола баранку, отрезал сала и стал есть.

— А знаешь — сало хорошее, малороссийское... <...>

* * *

На другой день Шаляпин уехал в Петербург.

Вскоре я получил от него письмо. Он звал меня в Петербург и прислал мандат на проезд. Но в Петербург я не поехал, а, спасаясь от голода, прожил зиму в Тверской губернии, где был хлеб.

* Всерабис — Всероссийский профсоюз работников искусств. — Ред.

В это время объявили нэп, то есть новую экономическую политику, и я вновь переехал в Москву. Сразу открылись магазины и торговля. На рынке появилось все.

Шаяпин тоже был в Москве. У него жил актер Мамонт Дальский. Однажды утром Дальский явился ко мне на квартиру. На пороге крикнул:

— Вот он!

С ним ввалилась целая толпа вооруженных людей в шляпах, в пиджаках, подпоясанных португееми, на которых висели сабли разных видов, с винтовками в руках. Перед этой невероятной толпой Мамонт Дальский, встав на одно колено, с пафосом кричал:

— Вот он! Мы приехали к нему. Он наш. Если он хочет пить шампанское, то мы разрешаем ему пить шампанское. Мы анархисты. Мы не запрещаем личной жизни человека. Он свободен, но мы его арестуем сегодня... Вы должны ехать с нами к одному миллионеру, который устроил в своем доме музей. Желает укрыться. Мы просим вас поехать и осмотреть картины — имеют ли они какую-нибудь художественную ценность или нет.

Меня окружили анархисты. Повели по лестнице вниз, усадили в автомобиль. Дальский сел со мной, его странные спутники — в другие машины.

Меня привезли на Москва-реку, в дом Харитоненко.

Картины были развешаны во втором этаже особняка. Дальский спросил:

— Ну что?

— Это картины французской школы барбизонцев, — ответил я. — Это Коро, это Добиньи.

Один из анархистов, по фамилии Ге, кажется, тоже артист, подошел вплотную к картинам, прочитал подпись и сказал:

— Верно.

В это время внизу во дворе раздались крики, звон разбиваемых бутылок. Анархисты разбивали погреб и пили вино. Вдруг со стороны набережной раздался треск пулеметов. Дальский бросился на террасу сада и бежал. За ним — все другие. Я остался один.

На улице некоторое время слышался топот бегущих людей. Потом все смолкло. Я вышел — вокруг уже не было ни души.

Дома я застал Шаяпина. Он весело хохотал, когда я ему рассказывал о происшествии.

— Я не знал, что выйдет такая история. Ведь это я сказал Дальскому, что ты можешь определить ценность картин. <...>



*Ф. И. Шаяпин
после концерта
в Севастополе
1917*

И. Ф. Шаяпина вспоминала: «Отец сам составил программу выступления, включив в нее только что сочиненную им "Песню революции"... В назначенный день на Приморском бульваре собралось великое множество народу: матросы, солдаты, заводские рабочие. Федор Иванович вышел на открытую эстраду в матросской форме, с красным стягом в руке. И полилась песня, могучая, вдохновенная... Черноморцы долго не отпускали великого артиста. А он охотно исполнял новые и новые песни».

ОТЪЕЗД

<...> Однажды утром к моему дому на Мясницкой подъехал грузовик. В нем были солдаты. Молодой человек в военной форме позвонил, спросил Шаляпина. Оба о чем-то долго говорили.

Шаляпин пошел одеваться и сказал мне:

— Едем!

— Куда? — спросил я.

— В банк на Никольскую.

На Никольской Шаляпин, молодой человек и я вошли в банк.

Вскоре молодой человек крикнул солдатам:

— Сюда!

И солдаты стали выносить на грузовик небольшие, но тяжелые ящики, держа их вчетвером. Погрузка длилась довольно долго. Мне надоело ждать Шаляпина, и я ушел...

Он не пришел в тот день ко мне. А через день я узнал, что он уехал в Петербург, и я долго ничего о нем не слышал. А через некоторое время жена его, навестив меня, сказала, что он уехал на немецком пароходе из Петербурга за границу... <...>

* * *

Однажды архитектор Василий Сергеевич Кузнецов, засидевшись поздно у меня и боясь возвращаться домой — на улицах грабили, — остался ночевать.



Ф. И. Шаляпин
Карикатура Мака

Ночью, в четыре часа, раздался звонок. Кузнецов, одетый в егерскую фуфайку и кальсоны, отворил дверь.

Ввалилась толпа матросов с винтовками. Один из них спросил:

— Золото у вас есть, товарищ?

— Золото, — рассмеялся Кузнецов, — золото есть... в нужнике.

Я тоже вышел к матросам. Один из них сказал:

— У вас, говорят, товарищ Коровин, Шаляпин был. Мы его петь к нам хотели позвать... Вот, видать, что вы нас не боитесь. А то, куда ни придем, все с катушек падают, особенно барыни. Бзура, — обратился он к другому матросу, — съезди, подбодри-ка белужки с хренком, да балычка захвати, да «Смирновки» не забудь. Угостим товарища Коровина.

Он пристально посмотрел на Кузнецова и, обернувшись ко мне, сказал:

— Да ты врешь... Ведь это Шаляпин...

Кузнецов, который был огромного роста, от души смеялся. <...>

Матросы смеялись тоже:

— Вот это товарищи, это народ. Артисты потому.

Потом пустились в пляс, припевая:

Чики, чики,

Щикатурщики...

Вдруг — переполох.

— Едем, — вскричал вбежавший матрос. — Едем скорей. Петровский дворец грабят.

— Ах, сволочи! Прощай...

На ходу один приостановился перед Кузнецовым и пригрозил кулаком:

— А врешь, ты — Шаляпин! погоди, попадешься на узкой дорожке. Царю пел, а матросам не хочешь!.. — и побежал вслед за остальными.

* * *

Месяца через два после отъезда Шаляпина ко мне пришел какой-то красивый человек с наганом за поясом и, затворив двери, тихо сказал:

— Я вас знаю, а вы меня не знаете. И не надо. Поезжайте за границу, и скорей. А то не выпустят. Послезавтра выезжайте. Я вас в вагоне увижу.

Я поехал к Малиновской, которая управляла государственными театрами. Она мне сказала:

— Поезжайте. Вам давно советовал Луначарский уехать.

На Виндавском вокзале меня, сына и жену посадили в вагон с иностранцами. Проехав несколько станций, я увидел того человека, который у меня был утром. Он не показал вида, что меня знает.

Наступила ночь. Мой неизвестный благодетель подошел ко мне и, наклонившись, тихо сказал:

— Какие у вас бумаги?

Я отдал ему бумаги, которые у меня были.

— Не выходите никуда из вагона.

Недалеко от границы он позвал кондуктора, и тот взял наши чемоданы. Поезд шел медленно, и я заснул. Когда я проснулся, чемоданы были снова на месте. Поезд подходил к Риге.

Я вышел на вокзал. Было раннее утро. Ноябрь. Я был в валенках. Носильщик проводил нас пешком до гостиницы.

Своего благодетеля я больше никогда не видал. А бумаги, взятые им у меня, нашел в Берлине, разбирая чемодан, под вещами, на дне.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА В ПАРИЖЕ

Мой сын простудился и заболел сильным плевритом.

Я писал небольшие эскизы для балета и театральных постановок. Их у меня быстро приобретали.

Как-то утром я получил письмо от Шаляпина следующего содержания:

«Париж, 1923, сентябрь.

Костя! Дорогой Костя!

Как ты меня обрадовал, мой дорогой друг, твоим письмишком. Тоже, братик, скитаюсь. Одинок ведь! Даже в 35-этажном американском Hotel'е, набитом телами, — одинок.



Париж
Авеню Гранд-Опера
Фотография
начала XX в.

Как бы хотел тебя повидать, подурачиться, спеть тебе что-нибудь отвратительное и отвратительным голосом (в интонации). Знаю и вижу, как бы это тебя раздражило! А я бы хохотал и радовался — идиот!.. Ведь я бываю иногда несносный идиот — не правда ли?

Оно, конечно, хорошо — есть и фунты, и доллары, и франки, а нет моей дорогой России и моих несравненных друзей. Эхма! Сейчас опять еду на «золотые прииски», в Америке, а... толку-то!

А ты? Что же ты сидишь в Германии? Нужно ехать в Париж! Нью-Йорк! Лондон! Эй, встряхнись! Целую тебя, друже, и люблю. Как всегда, твой Федор Шаляпин».

Я не мог поехать в Париж, так как сын был сильно болен. Приехав в Гейдельберг, остановился в гостинице в лесу, неподалеку от Брокена. А вечером, идя по коридору гостиницы, увидел перед собой Горького. Он тотчас же попросил меня зайти к нему.

— Вот, пишу здесь воспоминания, — сказал он, — хотел бы их вам прочитать.

Я пришел вечером к Горькому. С ним был сын его Максим, жена сына и его секретарь. Горький читал свой рассказ «Мыловар», потом «Человек с пауком» и еще «Отшельник». Горький был в халате с тюбетейкой на голове.

— А где Федор? — спросил он.

— В Париже. Я получил от него письмо.

Когда я выходил гулять с сыном по лесу, к нам присоединялся Горький. Но нам не давали остаться наедине: тотчас же, как из-под земли, появлялись жена Максима и секретарь Горького.

Осенью доктора посоветовали мне увезти сына на юг Франции или Италии. И я, приехав в Париж, увидел Федора Ивановича. У него был свой дом на авеню д'Эйлау.

Шаляпин был мрачно настроен. Показывал мне гобелены, которые вывез из России, несколько моих картин, старинное елизаветинское серебро. Он собирался ехать в Америку, в которой ра-

нее провел уже почти год. Я рассказал ему, что встретил Горького в Гейдельберге. <...>

Настроение было тяжелое. Я никогда не видал Шаляпина и в России в столь мрачном настроении. Что-то непонятное было в его душе. Это так не сочеталось с обстановкой, роскошью, которой он был окружен. Сидевшие ранее за столом его дети — все молча ушли.

— <...> Я еще покажу... Ты знаешь женщин? Женщин же нельзя любить! Детей я люблю...

И Шаляпин, вдруг наклонив голову и закрыв лицо руками, заплакал.

— Как я люблю детей!..

— Иди, Федя, спать. Пора, поздно. Я иду домой.

— Оставайся у меня ночевать, куда тебе идти?..

— Мне утром надо по делу...

Странное впечатление произвел на меня Шаляпин за границей. В нем не осталось и следа былого веселья.

ДЕГУСТАТОР

Болезнь моего сына заставила меня уехать на юг. Я почти год жил на берегу моря — в Вильфранш.

По приезду моем в Париж Шаляпин приехал ко мне на рю де Риволи и позвал меня к себе обедать.

За обедом, когда все ушли, вынул из кармана ключик, куда-то вышел и вернулся с пыльными бутылками старого вина.

— Вот, видишь ли, вино. Хорошее вино. Мы сейчас выпьем. Я покупаю эти бутылки в разных местах. Эта вот — четыреста пятьдесят франков, а эта — двести пятьдесят, а эта — триста. Посмотри, какая история.

Он приказал слуге позвать кого-то. Через мгновение в комнату вошел небольшого роста француз, плотный, с черными усами. Бутылки откупорили. Шаляпин налил ему из одной бутылки немного вина в стакан. Тот взял, пригубил вино и сказал:

— Бордо 1902 года, «Шато Лароз».

Шаляпин вынул из кармана бумагу и посмотрел в нее под столом.

— Верно.

То же повторилось и с другими винами.

Шаляпин удивлялся. И, налив мне и себе по три стакана вина из разных бутылок, сказал:

— Пей.

Когда я выпил одно, другое, то он спросил:

— Какое лучше?

Все вина были прекрасны.

— Как будто это лучше всех, — сказал я, показав на бутылку.



Ф. Шаляпин
Шарж Sem'a

— Вот и неверно. Это самое дешевое. Постой, я сам, кажется, спутал.

Он опять налил вина французскому дегустатору, и тот определил цену каждой бутылки.

— Это черт знает что такое, — кипятился Шаляпин. — В чем дело, не могу понять! Я ведь тихонько покупаю, в разных местах. Как же он узнает. Смотри по списку — ведь верно! Понимаешь, я до этого дойти не могу...



Ф. И. Шаляпин
1920-е годы

Когда мы, закусывая сыром, кончили вино, Шаляпин повеселел.

— Послушай, еще не поздно, — сказал он, — пойдем куда-нибудь.

Мы захватили с собой дегустатора и поехали.

Дегустатор привез нас в небольшой ресторан и что-то сказал хозяину.

Подали старый шартрез. Бутылку откупорили, точно священнодействуя. Присутствовали и хозяин, и гарсоны, супруга хозяина и дочь.

Первому налили Шаляпину. Попробовав, он посидел некоторое время с открытым ртом и сказал:

— Да, это шартрез.

Видно было, что он желал показать себя знатоком, богатым человеком.

Шартрез стоил дорого.

— Федя, — сказал я, — ты, должно быть, очень богат. Прежде ты не тратил деньги.

— А ты знаешь, я действительно богат. Я, в сущности, хорошо не знаю, сколько у меня всего. Но много. Ты знаешь ли, если продать картины из моего дома, дадут огромную цену...

СТРАННЫЙ КОНЦЕРТ

Разговорившись, Шаляпин поведал мне о своем блистательном турне по Америке, где заработал большие деньги.

Мне запомнился его рассказ о южно-американских нравах:

— Мне предложили петь у какого-то короля цирков на званом обеде. Я согласился и спросил десять тысяч долларов. Меня привезли на яхте к пустынному берегу. Была страшная жара. На берегу, недалеко от моря, дом каменный стоял с белой крышей — скучный дом, вроде фабрики. Крутом дома росли ровные пальмы. Какие-то неестественные, ярко-зеленые. Меня встретили на пароходе четверо слуг и два негра, которые несли мои вещи. Дом был пустой. Мне отвели комнату в верхнем этаже. Я умылся с дороги, при-

нял ванну. Пил какой-то мусс. Вышел на балкон и достал рукой ветку пальмы. Представь себе — она была сделана из железа и выкрашена зеленой краской.

Через час подошел пароход с хозяином и гостями. Обед был сервирован в нижнем огромном зале. Суежилась приехавшая на пароходе прислуга; с пароходом доставили весь обед. Я смотрел с балкона на всю эту суету. Меня ни с кем не познакомили. Через несколько мгновений ко мне пришел человек во фраке, вроде негра, и сказал: «Пожалуйста, пойте». Я пошел за ним. В зале меня уже ждал великолепный пианист. Он знал мой репертуар. Я встал около рояля. Люди в зале обедали, громко беседуя и не обращая на меня внимания. Пианист мне сказал: «Начинаем». В эту минуту ко мне подошел какой-то человек. В руках у него был поднос, на котором лежали доллары. Я их взял. Он просил сосчитать деньги и расписаться в получении. Я положил деньги в карман, пианист снова сказал: «Начинаем». И я стал петь. Никаких аплодисментов. Когда я спел почти весь репертуар, намеченный мной, гости встали из-за стола, вышли из зала и отправились на пароход. Так я и не видел того, кто меня пригласил. И никто со мной не простился. Даже пианист не зашел ко мне в комнату и не пожал мне руку на прощанье. Он уехал с ними. Негры собрали мои вещи, взяли чемоданы и проводили до яхты. Я один возвращался обратно. Как это не похоже на Россию... Удивительный народ! Пригласил меня какой-то богатый человек на охоту. У него огромные земли и заповедники, где содержатся звери. «Вы можете убить носорога», — написано было в приглашении. «Ну, — подумал я, — с носорогом лучше не связываться». И не поехал. И, представь, мне пришлось встретиться в одном американском доме именно с владельцем этих заповедников. Очень милый человек. Худой, невзрачный, но богатый. Я напомнил ему о его приглашении на охоту. Он очень смутился и сказал мне: «Я сам не охотник и никогда там не бывал. Меня представляет там один из моих друзей. Мне только представляют список известных людей, и я отправляю приглашения. Вероятно, вас считали любителем охоты. Носорог, говорите вы. Да разве они есть, носороги, а я и не знал...» Как тебе это нравится?..



ТЕЛЕГРАММА

В 1932 году исполнилось пятидесятилетие моей художественной деятельности. Русская колония пожелала отметить мой юбилей концертом. Образовался комитет. И в зале Гаво был дан концерт.

Во время концерта меня вывели на сцену как юбиляра. А. Н. Бенуа читал мне адрес. В это время подошел ко мне А. В. Жуковский и сказал мне на ухо:

— Шаляпин прислал телеграмму. Но телеграмма неприличная. Я не знаю, можно ли ее прочесть.

Я не знал, что ответить. Подумал: «Что же это он написал?» Телеграмма была следующего содержания:

А. Н. Бенуа

Рисунок

Ф. Шаляпина

Вверху рисунка виден автограф Бенуа — знак признания портретного сходства



Ф. Шаляпин
Шарж **Andre'a**,
опубликованный в
английском журнале
«The Bystander»

«Sijou seitchas douchoy stoboioiu riadom hot troudno sest douchoy avsoij sijou ne zadom no vdaleke v provincii v toulouze bez drouga tchouvstvouiou sebia kak char billardny v louze spasene lich odno sa zdravie tvoie tchetviortouiou boutyl bordosskago vina ouj pomestchaiou v pouze loubliou tebia tzelouiou jelaiou zdorovia chaliapine»*.

Когда Шаляпин узнал, что не прочли его телеграмму, он ужасно рассердился и сказал:

— Ничего не понимают. Это обидно.

РУСАЛКА

В театре Елисейских полей готовили «Русалку» Даргомыжского. На репетиции Шаляпин был раздражен, постоянно делал замечания дирижеру.

Подошел день спектакля. На сцене я увидел большую перемену в Шаляпине. В его исполнении была какая-то настойчивость, как бы приказание себя слушать и нескрываемое неудовольствие окружением. Он пел, подчеркивая свое великое мастерство. Это нервировало слушателя. Он как бы подчеркивал свое значение публике. И в игре его не было меры: он плакал в сцене «Какой я мельник? Я — ворон».

Как-то придя к нему утром, я увидел, что он греет над свечкой какую-то жидкость в пробирке:

— Вот видишь — мутная. Это сахар.

Ноги у него были худые, глаза углубились, лицо покрыто морщинами. Он казался стариком. Внутри морщин была краснота.

Исполняя часто партии Грозного, Галицкого, Бориса Годунова и переживая волнения и страсти своих героев, Шаляпин в последние годы жизни и сам стал походить на них. Был гневен, как Грозный, разгулен, как Галицкий, и трагичен, как Борис.

Впрочем, со встречными людьми он никогда не был прост — всегда играл. Никогда я не видел его со знакомыми таким, каким он был, когда приезжал ко мне в деревню.

ВСПЫШКА ГНЕВА

Когда наступили старость и болезнь и когда стал потухать огонь небесного вдохновения, Шаляпин забеспокоился и стал еще более раздражителен, чем прежде.

Он много работал и пел все с большим мастерством, стараясь заменить недостаток голоса совершенством исполнения. Но уже не было того изумительного тембра, которым он поражал всех. Знавшим его ранее тяжело было на него смотреть.

Как-то после спектакля у Шаляпина был ужин. Приехало много гостей, русских артистов и иностранцев. Много дам. В прекрас-

* Текст телеграммы гласит:
«Сию сейчас душой с то-
бою рядом хоть трудно сесть
душой а все ж сижу не задом
но вдалеке в провинции в
Тулузе без друга чувствую
себя как шар бильярдный в
лузе спасенье лишь одно за
здравие твое четвертую бу-
тыль бордосского вина уж
помещаю в пузе люблю тебя
целую желаю здоровья
Шаляпин».

ной столовой блестели люстры и наряды дам. Шаляпин сидел посередине. Был молчалив и хмур.

Один из молодых людей, сидевший поодаль в элегантном фраке около дам-иностранок, спросил его:

— А как вы думаете, Мусоргский был гений?

— Да, — ответил Шаляпин, — Мусоргский — большой человек. Гений?.. Может быть, и гений.

— А почему, — перебил его молодой человек, — в корчме Варлаам поет: «Едет он»? Эта песня целиком заимствована у народа.

Шаляпин пристально посмотрел на молодого человека и ничего не ответил.

— А скажите, Федор Иванович, — опять спросил молодой человек, — Кусевский — гений?

Шаляпин долго смотрел на молодого человека и вдруг взревел:

— Да ты кто такой?

Все мгновенно стихли. Шаляпин помутившимися глазами оглядел гостей — гнев захлестнул его:

— Откуда он взялся? Да ты с кем разговариваешь? Кто ты такой? Что со мной делают!..

Молодой человек испуганно вскочил из-за стола. Дамы бросились к выходу.

— Что такое? — бушевал Шаляпин. — Кто эти люди?

К нему подошли другие гости, стали его уговаривать.

— Что вы мне говорите? — грохотал Шаляпин. — Кто этот мальчишка? «Мусоргский заимствует...» Это же жить нельзя. Куда уйти от этих людей?

Я попытался успокоить его:

— Что же ты на всякую ерунду раздражаешься?

— Не могу! Меня это бесит. Он же с Шаляпиным говорит, стерва! Боже, как я несчастен.

Шаляпин сел и закрыл лицо руками.

— Конечно, не стоило ему отвечать, но я не могу. Я не хочу этого. Себя показывают! Ничего не понимают, ничего не чувствуют. Стрелять, жечь, топить всю эту сволочь...

Шаляпин был бледен и весь трясся от волнения.

Наутро он позвал меня к себе.

— Как это глупо я вчера озлился. Мне худо. Я себя чувствую отвратительно. «На всякое чиханье не наздравствуешься». И за что они меня мучают!.. И откуда они понабрались?

— Как откуда, Федя? Что ты!

— Гости! Откуда взялись они?..



Ф. И. Шаляпин
Одна из последних
фотографий

АНТИКВАР

— Ты помнишь, я говорил тебе, что Мазини, когда перестал петь, сделался антикваром, — сказал мне как-то раз, когда я был у него, Шаляпин. — Я еще не бросаю петь, но хожу по антикварам. Поедем с тобой, посмотрим мебель. Дорога! Вот я купил столик — триста тысяч. Понимаешь? Небольшой столик!

Шаляпин повез меня на рю де ла Пэ*, около плас Вандом**, в магазин старой мебели в несколько этажей.

Там были прекрасные вещи. Шаляпин спрашивал цены комодам, столам, секретерам. Цены были большие. Один стол стоил восемьсот тысяч. Шаляпин предложил шестьсот. Не отдали.

Шаляпин рассердился, и мы поехали в другой магазин. Там он увидел стол, похожий на приглянувшийся ему в первом магазине. С него спросили двадцать тысяч. Он удивился. Осмотрел стол снизу и кругом. И спросил меня:

— В чем же дело?

— Это имитация, Федя.

— Постой, как имитация? Ты видишь — здесь дырочки. Это черви съели дерево.

— Вот это-то и есть имитация.

— А вот тот секретер?

— Тоже имитация.

— А этот комод?

— Настоящий.

— Почему ты знаешь?

— Да ведь видно.

— Что за черт! Постой...

Шаляпин позвал заведующего.

Тот сказал:

— Да, это старая имитация, но хорошая, а комод настоящий.

— Пойдем, — сказал Шаляпин. — Я, брат, покупаю и старое вино, коньяк. Только, понимаешь ли ты, у меня — сахар, диабет. Понимаешь ли, вино пить нельзя. Я люблю хорошее вино. Зайдем-ка в кафе, выпьем виски.

— Виски — вредно. Помнишь доктора Лазарева, он говорил, что с диабетом жить можно долго — необходимо только воздержание.

— Но я же не обжора...

— Как не обжора? Ты же съел два фунта икры салфеточной при мне сразу.

— Кстати: тут есть салфеточная икра. Поедем к Прюнье.

У Прюнье Шаляпин попробовал икру.

— Хороша.

И приказал завернуть изрядное количество.

— В чем дело? Виски пить нельзя, икры нельзя, водки нельзя. Вот эскарго, ты ешь эскарго?

— Эскарго-то эскарго, а помнишь, раки в речке Нерли какие были?

— Да, замечательные. А как эта рыбка-то? Ельцы копченые. Помню. Я раз целую корзинку у тебя съел... Как у тебя там было весело. Такой жизни не будет уже никогда. Все эти гофмейстеры,

* Улица Мира (фр.).

** Вандомская
площадь (фр.).

охотники, доктор Лазарев, Василий Княжев, Белов, Герасим, Кузнецов, Анчутка, шутики, озорство — неповторимо. Это было счастье русской жизни. Нигде не найти мельника Никона Осиповича. Нигде нет этой простой доброты... Там никогда не говорили о деньгах. Никто их не выпрашивал, они не составляли сути жизни. Жизнь была не для денег. А я устал выпрашивать у жизни деньги. Я знаю, что с деньгами я буду свободен и не унижен. Ты вспомни, этот Василий Княжев или Герасим — какая чистота души! Ведь там совестились говорить о деньгах... А этот лес, Новенькая мельница, водяной. Какая красота. А хижину рыбака в одно окно, убогую, у елового леса, помнишь? А рыбака Константина, который лечил твоему приятелю флюс, привязывая к щеке живого котенка? А эта монашенка, которая бегала по лесу и которую мы все боялись?



Шаляпин на Волге
С картины
С. И. Манухина

— А разбойнички, которых не было, помнишь?... А как ты с револьвером ездил? А воробыную ночь, когда не было видно своей руки? Когда заблудились и нельзя было идти, и эхо, когда ты пел и кругом, в разных местах, повторялось твое пение, близко и далеко?

— Да, — сказал Шаляпин задумчиво, — это было действительно замечательно. Какая-то особенная симфония.

— А как голос-то снизу крикнул: «Что ты, леший, орешь?» Это уж было не эхо, помнишь?

— Помню. Там был бугор — и внизу ехали рыбаки.

— А как обиделся Павел Александрович [Тучков]?

— Павел! Ведь нигде нет такого: умер ведь он. Ведь это ты объяснил и Павла, и Герасима, и Кузнецова, а ведь я их не понимал и даже сначала немножко сторонился. А оказывается, это были презабавные и прекрасные люди.

— Все уж умерли, — сказал я. — Правда, больше такой жизни уж не будет. Вот оттого я и пишу страницы этой нашей жизни.

— Знаешь, Константин, я удивляюсь, как ты это пишешь. Черт тебя знает, кто ты такой? Откуда это взялось? Отчего ты про меня не пишешь?

— Ты же обидишься. Ты же стал «ваше высочество». А я пишу простые смешные вещи.

Шаляпин вдруг задумался.

— А ведь правда... <...>

ДОМЬЕ

Через несколько дней я встретил Шаляпина на Шанзэлизэ*. Он опять направлялся к антиквару.

— Пойдем со мной, пожалуйста, — предложил он мне. Я согласился.

На улице Бозеи мы остановились у антикварного магазина, и я сказал:

* Champs-Elysees —
Елисейские поля (фр.).

— Федор, вот здесь выставка художника Домье. Знаешь Домье?

— Нет, не знаю.

— Это великий француз. С чисто французским юмором он писал адвокатов, суд. Здесь есть небольшая картина, изображающая адвоката, который разрывается, доказывая невиновность своего подсудимого, а секретарь, разбирая бумаги, остановился и смотрит на него. Но как смотрит! Этого нельзя рассказать. Надо видеть. До чего смешно! Это какой-то Мольер в живописи.

— Зайдем посмотрим, — сказал Шаляпин.

Мы зашли в магазин.

Хозяин, почтенный человек, вежливо сказал нам, что вчера выставку закрыли. Я попросил его, если можно, показать картину

Домье, рассказав приблизительно ее содержание. Он любезно согласился, отпер шкаф в другой комнате, достал бронзовый ящик и, бережно вынув из него картину, поставил ее перед нами на мольберт.

Шаляпин долго смотрел на картину и, обернувшись ко мне, сказал:

— Это действительно смешно. В чем дело? Смешно. И зло смешно.

Он спросил у хозяина:

— Она продается?

— Да, мосье. Это редкий Домье.

— Я хочу приобрести. Что она стоит?

— Миллион двести тысяч.

— Ага, — задумался Шаляпин. — Это дорого. В чем дело? Картина небольшая. Нет, я не могу ее купить...

Поблагодарив любезного хозяина, мы вышли из магазина. Шаляпин остановился на мостовой. Он был рассержен. Ударял палкой по мостовой и серьезно, подняв голову и смотря в сторону, говорил:

— Константин Алексеевич, вы представляете себе, сколько я должен за эти деньги спеть? Вот вам художники! Может быть, он теперь написал новую в неделю. А я плати миллион. В чем дело?

— Постой, Федя, да ведь Домье давно умер. Ты тогда и не родился еще. При жизни его ты бы, вероятно, купил эту картину дешево. Это бессмертный художник.

Стуча тростью по мостовой, Шаляпин расколол ее пополам. Он поднял обломок и окончательно разгневался.

— Да, художники! Картинка-то небольшая!

— Велика Федора, да дура! — засмеялся я.

— Ты что? Не про меня ли?

— Смешно, Федя.

— Тебе всё смешно. Миллион двести тысяч. А ты знаешь ли, мне предложили Тициана, огромную картину, в Англии, за двести тысяч, и я ее купил.



*Илья Репин
рисует Шаляпина*

— Молодец! Не верится только. За двести тысяч Тициана едва ли купишь.

— Увидишь.

Федор Иванович продолжал сердиться на Домье.

— Тициан, знаешь, — темный фон, по одну сторону лежат две голые женщины, а по другую сторону — одна. Вот только физиономии у них одинаковые.

— На чем лежат-то? — спросил я.

— То есть как на чем? Там просто написан темный фон. Я, в сущности, еще не взгляделся, на чем они лежат. Старинная картина. Ты что смеешься?

— Вот, Федя, если бы я написал рассказ «Тициан», ты бы и обиделся.

Шалыпин хмуро посмотрел на меня и сказал:

— Я тоже буду писать мемуары...

* * *

Федор Иванович продолжал увлекаться скупкой старинных произведений искусства. Я встретил его как-то на авеню Ваграм. Он шел один и, увидев меня, сказал:

— Пойдем.

Мы зашли в большое кафе. В нем было много народу. Шалыпин поморщился:

— Пойдем отсюда.

Мы пошли в другое кафе, небольшое. Сели за столик. Шалыпин сказал гарсону:

— Сода, виски.

— Тебе же нельзя, Федя, виски.

— Все равно. Видишь ли, я был у антиквара. Он мне такую штуку показывал. Уника мировая. Дорогая штука. Знаешь ли ты, я могу нажать шутя миллионы. Жаль, он никому не показывает, кроме меня, ты бы поглядел... Я не знаю, рискнуть, что ли? Ты что скажешь?

— Я ничего не могу сказать. Зачем ты в антикварию ударился?

— Надо же что-нибудь делать. Ведь пойми ты, что я только пою, а другие дело делают. Вот один в Аргентине купил реку и не пускает пароходы — плати. Так он в год нажил черт знает сколько... Я теперь меньше пою, а деньги идут. У меня дети. Положим, зачем я с тобой говорю, ты ничего в этом не понимаешь... А ты не пьешь сода-виски? У тебя-то ведь сахара нет!..

Он вдруг стал грустен:

— Вот, ты подумай, в какое положение я в жизни поставлен. Диабет, говорят, неизлечим.

МОЛЕБЕН

В это время Шалыпин перестраивал мастерскую в своем прекрасном доме на авеню д'Эйлау. Там были гипсовые украшения — какие-то амурсы, раскрашенные в голубые с золотом цвета.



Федор Шалыпин
рисует Репина

Это было приторно. Внутри была лестница, которую он велел переделать.

Когда комната была готова, он повесил гобелены, рисунки русских художников, над камином свой портрет работы Кустодиева и позвал священника освятить дом.

Не забуду тот день. Во время молебна Шаляпин пел сам. Пел столь вдохновенно, что казалось, что сам Господь был перед ним в этой комнате. То было не пение, а подлинное славословие и молитва.

Служил отец Г. Спасский, который сказал за трапезой Шаляпину:

— Ваше вдохновение от благословения Господа.

БОЛЕЗНЬ

Федор Иванович часто говорил мне, что редко вспоминает Россию, но каждую ночь видит ее во сне. И всегда деревню, где он у меня гостил.

— <...> Сплю на сеновале у тебя, и подходят какие-то люди, тихо подходят и поджигают сеновал. Я вскакиваю, окруженный огнем. Не вырваться — вокруг ничего, кроме огня. Я, брат, бром принимал — не помогает.

* * *

Ф. И. Шаляпин
Шарж Ре-ми



Шаляпин все худел. Когда я к нему пришел, он лежал в постели. Потом сел и стал одеваться, напевая из «Бориса Годунова». Меня поразила худоба его ног.

— Хотят устроить мой юбилей — пятидесятилетие моей артистической деятельности. Хотели устроить теперь. Но я не согласился ускорить празднество, так как по-настоящему остался еще год. И я всегда был честным артистом. Понимаешь — честным артистом! Голоса у меня еще хватит.

В глазах его была усталость, и они глубоко сидели в орбитах. Были в них и какая-то мольба, и скупость старика.

Он хотел шутить, но тут же впадал в уныние.

— Вот ты не боялся, Константин, народа, а я боялся всегда... «Восторженных похвал пройдет минутный шум...» Ничего — вот отдохну, тогда начну жить. Ты особенный человек, Константин, я всегда удивлялся твоей расточительности... Хорошо мы жили у тебя в деревне.

— Да, — согласился я.

— И вот — минулось... И я как-то не заметил, как все это прошло. Всегда думал: вот перестану петь — начну жить и с тобой поеду на озеро ловить рыбу. В Эстонии хотел купить озеро. И куплю. Еще года два попою — и шабаш! Это вот грипп мне помешал. У меня после него какой-то камень лег на грудь. Что-то тут не свободно...

— Это, наверное, нервное у тебя.

Шаляпин пристально посмотрел на меня.

— Ты как находишь, я изменился?

— Нисколько, — солгал я. — Как был, так и есть.

— Разве? А я похудел. Это хорошо для сцены. Помнишь, вы дразнили меня с Серовым, что у меня живот растет? Я приходил в отчаяние. А теперь, смотри, никакого живота.

И он встал передо мной, вытянувшись. Его могучий костяк был как бы обтянут кожей. Это был больной человек.

— Мне бы хотелось выпить рюмку водки и закусить селедкой. Просто — селедкой с луком. Не дают. Кури, что ты не куришь? Мне нельзя. Задыхаюсь. Ты знаешь ли, я жалею, что нет твоего доктора — как его? Лазарева. Вот был здоровенный человек. Помнишь, как он крикнул на меня: «Молчать, я магистр наук, если я вам говорю, что не болит у вас горло, то значит — не болит». И ведь верно. «Я по звуку слышу». Все-таки были у нас хорошие доктора. Но ведь был чудак. Помнишь, любил тебя. На тебя не кричал... Савву Ивановича [Мамонтова] я вспоминаю. Не будь Саввы, пожалуй, я бы не сделал того, что я сделал. Он ведь понимал. Ты знаешь ли, я любил только одного артиста — Мазини. Меня поражало — какое чувство в нем, голос! Небесный голос. И сам он был, брат, парень хороший. Восьмидесяти лет женился. И какая женщина. Молодая, красавица. Я ее видал. Любила его. А ты знаешь, в жизни он, кажется, был бабник.

— А ты, Федя, никогда бабником не был?

В его глазах вдруг показалось веселье — прежний Федя взглянул на меня. Он рассмеялся. И так же внезапно лицо его омрачилось. Он глубоко о чем-то задумался и как бы отряхивал рукой несуществующие крошки со скатерти.

— Скажи мне, — спросил он после паузы, — Юрий Сахновский жив или нет?

— Нет, давно умер. Я от кого-то слышал, уж не помню. Во время московского голода похудел, как спичка, а потом, как разрешили торговлю и вино, его в неделю опять всего раздуло.

— А отчего он умер?

— Я слышал — от ожирения сердца.

— Какие всё болезни — сахар, ожирение сердца... А твой Кузнецов жив?

— Нет, тоже умер.

— Этот от чего? Он же был здоровенный парень?

— На рыбной ловле, говорят, простудился.

— Я, в сущности, не знаю, за что на меня Серов обиделся. Ты не знаешь?

— Нет, не знаю. Я спрашивал — он молчал.

— Непонятно. Как-то на меня все обижаются. Должно быть, характер у меня скверный. Дирижеры все обижаются, режиссеры тоже. Их ведь прежде не было, а потом вдруг столько появилось! И все ерунду делают... Постановки!.. Они же ничего не понимают... Вот, ставили фильм «Дон-Кихот». Я в этом деле не понимаю... Я послушно делал все, что мне говорили. Я бы сделал все по-другому. Помнишь, когда я пел Олоферна, ты мне показал фотографии с ассирийских фресок, как там пьет из чашки какой-то ассирийский воин. Я так и сделал. Надо, чтобы артист был — нутро ар-



Д. А. Усатов

«С встречи с Усатовым начинается моя сознательная художественная жизнь, — писал Шаляпин о своем первом учителе. — Он пробудил во мне первые серьезные мысли о театре, научил чувствовать характер различных музыкальных произведений, утончил мой вкус и — что я в течение всей моей карьеры считал и до сих пор считаю самым драгоценным — наглядно научил музыкальному восприятию и музыкальному выражению исполняемых песен».

тиста! А теперь артистов делают... Ну-ка, пускай закажут нового Шаляпина. Пускай заплатят. Не сделать! Да и денег не хватит. Говорят, что дорого я беру. А что это стоит — никто не знает. В сущности, ведь меня всегда эксплуатировали. Дурак был. «Императорские театры, — говорил Теляковский, — не преследуют материальных целей». Но деньги все-таки брали. А я ему говорил: «Вы мне платите шесть тысяч, а у вас, когда я пою, повышенные сборы. А почему не шестьдесят?» — «Не найдется публики заплатить столько». — «А тридцать?» — «Может быть, найдется». Значит, двадцать четыре-то у меня мимо рук проходили. Ты подумай, какой бы я был богатый человек. Я, конечно, теперь тоже не беден, но все же сколько же с меня содрали! Есть, брат, отчего задуматься. Ты говоришь, что я мрачен, — будешь мрачен.

Федор Иванович сердился и всё водил рукой по скатерти, как бы стряхивая невидимые крошки.

Прожив полжизни с Федором Ивановичем Шаляпиным и видя его часто, я всегда поражался его удивительному постижению каждого создаваемого образа... Он никогда не говорил заранее даже друзьям, как он будет петь и играть ту или иную роль. На репетициях никогда не играл, пел вполголоса, а иногда и пропускал отдельные места. И уже только на сцене потрясал зрителя новым гениальным воплощением и мощным тембром своего единственного голоса.

С каким удивлением смотрели на него иностранные певцы! Сальвини слушал Шаляпина, и на лице его было восторженное внимание. Его смотрели и слушали с удивлением, как чудо. И он был и впрямь чудо-артист.

Однажды, когда я опять удивлялся его исполнению, он мне сказал:

— Я не знаю, в чем дело. Просто, когда пою Варлаама, я ощущаю, что я Варлаам, когда Фарлафа, что я Фарлаф, когда Дон-Кихота, что я Дон-Кихот. Я просто забываю себя. Вот и всё. И владею собой на сцене. Я, конечно, волнуясь, но слышу музыку, как она льется. Я никогда не смотрю на дирижера, никогда не жду режиссера, чтобы меня выпустил. Я выхожу сам, когда нужно. Мне не нужно указывать, когда нужно вступить. Я сам слышу. Весь оркестр слышу — замечаю, как отстал фагот или альт... Музыка надо чувствовать!.. Когда я пою, то я сам слушаю себя. Хочу, чтобы понравилось самому. И если я себе нравлюсь — значит, пел хорошо. Ты знаешь ли, я даже забываю, что пою перед публикой. Никакой тут тайны нет. Хотя, пожалуй, некоторая и есть: нужно любить и верить в то, что делаешь. В то нечто, что и есть искусство... Я не был в консерватории. Пел с бродячими певчими, ходил пешком по селам. Узнавали, где приходской праздник, туда и шли петь. Усатов мне помог. Он учил меня ритму. Я совру, а он меня по башке нотами! — отбивает такт. Задаром учил. Я ему за это самовар ставил, чистил сапоги, в лавочку бегал за папироса-

ми. Рахманинов тоже мне помог. Он серьезный музыкант. Понимает. Завратся не дает... И вы, художники, мне тоже помогли. Только эти все знания надо в кармане иметь, а петь надо любя, как художник — по наитию. В сущности, объяснить точно, отчего у меня выходит как-то по-другому, чем у всех, я не могу. Артиста сделать нельзя — он сам делается. Я никогда и не думал, что буду артистом. Это как-то само собой вышло. Не зайди певчие, с которыми я убежал, к отцу на праздник, то я никогда бы и не пел...

РОБОСТЬ

Несмотря на большую самоуверенность, в Шаляпине, как во многих русских людях, была боязнь и даже трусость. Он робел и боялся несправедливости. Был осторожен с властью имущими и избегал знакомства с ними.

В Петербурге мы однажды пришли в ресторан Кюба. Там было много офицеров, Шаляпин изменился в лице и сказал мне:

— Уйдем.

Я удивился и спросил его потом — отчего он ушел.

— Отчего? Оттого, — ответил он.

Однажды Шаляпина вызвали при мне к телефону. С кем он говорил, я не знал, но видел, что он взволновался и побледнел. Я слышал, как он говорил:

— Видите ли, ваше превосходительство...

Потом остановился и сказал:

— Ваше высокопревосходительство. Еще вчера один знакомый офицер мне объяснял, что я, как ратник второго ополчения 1892 года, еще по мобилизации не призван.

Он отошел от телефона расстроенный:

— Оказывается, со мной говорил командующий войсками. Я ему говорю: «Ваше превосходительство». А он мне орет: «Высокопревосходительство! Вы уклоняетесь, а еще интеллигентный человек, артист. Какой же вы верноподданный?» В чем же дело? Я же никакого извещения не получал. Может быть, это Исайка потерял? Что же мне делать? Надо дать телеграмму Теляковскому. Я же не уклоняюсь.

— Вряд ли Теляковский тебе может помочь.

— Я, должно быть, что-то пропустил. Надо вызвать из штаба Семена Аверьино...

А к вечеру выяснилось, что над ним подшутил тот же Аверьино, говоривший с ним под видом командующего войсками.

* * *

Шаляпин побаивался мужиков. Идя ко мне в Охотино из своего имения, он никогда не проходил деревней. Старался обходить задворками. Когда доводилось ему беседовать с крестьянами, говорил:

— Послушай, миляга, ну что, как уродило? Да, труды ваши трудные.

Мужички русские отвечали хитро:

— Что, Федор Иванович, неча пенять, живем ничего. А вот винца-то в праздник не хватает...

Шаляпин делал вид, что не понимает намека, и на винцо не давал.

НА МАРНЕ

Как-то летом мы поехали с Шаляпиным на Марну. Остановились на берегу около маленького кафе. Кругом высились большие деревья. Шаляпин разговорился:

— Послушай, вот мы сейчас сидим с тобой у этих деревьев, поют птицы, весна. Пьем кофе. Почему мы не в России? Это все так сложно — я ничего не понимаю. Сколько раз ни спрашивал себя — в чем же дело, мне никто не мог объяснить. Горький! Что-то говорит, а объяснить ничего не может. Хотя и делает вид, что он что-то знает. И мне начинает казаться, что вот он именно ничего не знает. Это движение интернационала может охватить всех. Я купил в разных местах дома. Может быть, придется опять бежать.

Шаляпин говорил озабоченно, лицо его было как пергамент — желтое, и мне казалось, что со мной говорит какой-то другой человек — так он изменился и внешне.

— Я скоро еду в Америку петь концерты, — продолжал он. — Юрок зовет.... Надо лечиться скорей. Тоска... Вино у меня отобрали.

Он вдруг улыбнулся:

— А я две бутылки все же спрятал в часы. Знаешь у меня большие часы? Вот у меня ключ.

Он вынул из жилетного кармана медный ключик и показал мне.

— Я рюмку пью только. Какой коньяк! Я раньше и не знал, что есть такой коньяк. И водка смирновская — белая головка. Я нашел здесь в Париже, на рю де ла Пэ. Старая бутылка. Одну нашел только. Эту успел выпить. А что, ты не знаешь, жив ли Борис Красин?

— Нет, не слыхал, не знаю.

— А я слышал, что он умер. Кто это мне сказал — не помню.

— А Обухов?

Шаляпин вдруг рассмеялся.

— Ты помнишь, как я над ним подшутил?..

Обухов был управляющим конторой московских императорских театров. Однажды Шаляпин, придя ко мне в Москве, принес с собой арбуз, взял у меня краски (темпера) и выкрасил его в темный цвет. Арбуз обрел вид темного шара. Шаляпин принес с собой еще и коробочку, в которой были так называемые «монашки» — их зажигали, и они долго курились, распространяя приятный запах. Такую «монашку» Шаляпин вставил в верх арбуза.

Когда «грим» был готов, Шаляпин отправился в контору императорских театров, положил арбуз в кабинете Обухова на письменный стол и зажег «монашку». А сам уселся в приемной как посетитель.

Явившись на службу и найдя в своем кабинете дымящуюся

«бомбу», Обухов опрометью бросился вон. Вся контора всполошилась, все выбежали вон. Вызвали полицию...

В разгар переполоха Шаляпин разрезал бомбу... Все смеялись. Обухов старался скрыть недовольство и с упреком сказал Шаляпину:

— Вам, Федор Иванович, все допустимо...

А Шаляпин всю неделю хохотал.

* * *

— А знаешь ли, — сказал, помолчав, Шаляпин, — живи я сейчас во Владимирской губернии, в Ратухине, где ты мне построил дом, где я спал на вышке с открытыми окнами и где пахло сосной и лесом, я бы выздоровел. <...> Как я был здоров! Я бы все бросил и жил бы там, не выезжая. Помню, когда проснешься утром, сойдешь вниз из светелки. Кукушка кукует. Разденешься на плоту и купаешься. Какая вода — все дно видно! Рыбешки кругом плавают. А потом пьешь чай со сливками. Какие сливки, баранки! Ты, помню, всегда говорил, что это рай. Да, это был рай. А помнишь, ты Горькому сказал, что это рай. Как он рассердился. Герасим жив?

— Нет, Федя, Герасим умер, еще когда я был в Охотине.

— Посчитать — значит, нас мало осталось в живых. Какая это странная штука — смерть. Неприятная штука. И тайная. Вот я все пел. Слава была. Что такое слава? Меня, в сущности, никто не понимает. Дирижеры — первые. В опере есть музыка и голос певца, но еще есть фраза и ее смысл. Для меня фраза — главное. Я ее окрыляю музыкой. Я придаю значение словам, которые пою, а другим все равно. Поют, точно на неизвестном языке. Показывают, видите ли, голос. Дирижер доволен. Ему все равно тоже, какие слова. В чем же дело? Получается скука. А они не хотят понять. Надоело... Вот Рахманинов — это дирижер. Он это понимает. Вот я выстукиваю иногда такт. Ты думаешь, что это мне приятно? Я вынужден. Иначе ничего не выходит. А говорят — я придираюсь. Я пою и страдаю. В искусстве — нет места скуке. А оперу часто слушают и скучают. Жуют конфеты в ложе, разговаривают. Небось, когда я пою, перестают конфеты жрать, слушают меня. Ты знаешь, кто еще понимал искусство? Савва Мамонтов. Это был замечательный человек. Он ведь и пел хорошо. И ты помнишь — как его? — Врубель был такой.

— А ты с милым Мишей Врубелем поссорился.

— Он же был этаким барин, капризный. Всё, что ни скажу, всё ему не нравилось. Он мне сказал: «Вы же не певец, а передвижная выставка, вас заела тенденция. Поете «Блоху», «Как король шел на войну» — кому-то нравится хотите. В искусстве не надо пропаганды». Вообще, сказать тебе должен, что я его не понимал и картины его не понимал. Хотя иллюстрация к «Демону» — замечательная. Странно, я раз сказал ему, что мне нравится его «Демон», которого он писал у Мамонтова, такой, с рыжими крыльями. А он мне ответил: «Вам нравится — значит, плохо». Вот, не угодно ли? Савва Мамонтов его тоже не понимал... А то за обедом: после рыбы я налил красного вина. Врубель сидел рядом... У Мамонтова был обед, еще Витте тогда был за столом. Он вдруг отнял у меня крас-

ное вино и налил мне белого. И сказал: «В Англии вас бы никогда не сделали лордом. Надо уметь есть и пить, а не быть коровой. С вами сидеть неприятно рядом». Ведь это что ж такое? Но он был прав, я теперь только это понял. Да, Врубель был барин...

— Да ведь ты сам сейчас барин стал. Украшаешь себя и вина любишь дорогие.

Ф. Шаляпин

Автошарж
с немецким
орденом
1907



— Нет, я не барин. Скажу тебе правду — в России я бы бросил петь и уехал бы в Ратухино, ходил бы косить и жил бы мужиком. Ведь я до сих пор по паспорту крестьянин — податное сословие. И все дети мои крестьяне, а я был солист его величества. Теляков-

ский недоумевал: у меня не было чина, а он хотел, чтобы я получил Владимира... Когда я пел Бориса в Берлине, в ложе был Вильгельм. В антракте мне сказали: «Кайзер вас просит в ложу». Вильгельм меня встретил любезно и попросил сесть. Я сел. Он сказал: «Когда в России талант — это мировой талант. Скажите, Шаляпин, какой вы имели высший орден в России?» — «Бухарская звезда», — ответил я. «Странно», — сказал Вильгельм и, протянув руку к стоявшему сзади генералу (вероятно, это было заранее условлено), отцепил у него орден и пришил мне на грудь. — Позвольте вас поздравить, теперь вы — фон Шаляпин, вы дворянин Германии». А здесь я получил «командора»...

В уголках губ Федора Ивановича была грустная усмешка.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

В Париже Шаляпин, прощаясь со мной, сказал:

— Ну, прощай. Ты где живешь? На Балчуге? Ах, я и забыл, что мы не в Москве, — как чудно! Когда я вижу тебя, я всегда живу душой в России. Я к тебе зайду. Это у Порт Сен-Клу...

Кажется, в конце февраля, выходя из дому, я увидел на дворе, возле консьержа, Шаляпина.

— Ах, вот ты! — сказал он. — Пойдем в кафе.

Он шел усталой походкой.

— Я что-то захворал, — сказал он. — Как-то здесь тяжело, — показал он на грудь, — вроде как камень лежит. Это началось там, в Китае. Я ведь в Китай ездил. В сущности, зачем я ездил — не знаю.

Вид у Шаляпина был очень больной. И он все вздыхал.

— Борис и Федор в Америке, — сказал он про сыновей. — Тебе они не пишут?

— Борис не пишет, а Федя — молодец. Ты знаешь, он играл в пьесе «Товарищ» главную роль, этого князя, который поступил лакеем. Играл на английском языке, и о нем превосходно написали.

— Да что ты? А я и не знал. Я все удивляюсь, отчего они все хотят быть артистами. Дочери мои... Отчего не просто так, людьми, как все? Ведь в жизни артиста много горя.

Он вздохнул.

— Ты знаешь ли, мне не очень хорошо здесь, — он вновь показал на грудь. — Я пойду.

Мы вышли из кафе и подошли к спуску в метро.

— Возьми автомобиль, — сказал я.

— Зачем автомобиль? Ведь это огромные деньги.

И он спустился в метро. Во всей фигуре его был какой-то надлом.

Я долго не мог уснуть в эту ночь. Образ больного Шаляпина стоял передо мной.

Проходила в воспоминаниях прошлая жизнь. Я видел его там, в России, когда он спал в моей деревенской мастерской на широкой тахте. Около него спал Феб — моя собака, которая нежно любила Шаляпина. Собаки вообще любят веселых друзей. Их радует дружба людей. Помню, глядя на спящего Шаляпина, я подумал: «А ведь это гений...» Как сладко спал этот русский парень — Федор Шаляпин...

Живя много в России в деревнях, я встречал не раз парней деревенских. В их смехе, удали, веселье, разгуле было то же, что в Шаляпине.

Помню, когда я строил дом, один из плотников, молодой парень высокого роста, вечером после работы сорвал ветку березы и ходил взад и вперед около сарая, отмахиваясь веткой от комаров. Ходил и пел. И лицо было задумчиво так же, как у Шаляпина. Он пел про Дунай, про сад, про горе-горюшко. И видно было, что он где-то там, где Дунай и где горе-горюшко...

Я долго смотрел на него. У него был дивный голос — тенор. И я подумал: говорят, что больше не будет такого артиста, как Шаляпин. Но так ли это?.. Может быть, и родится. Но будет ли та среда, которая поможет любовью и вниманием создаться артисту?

Помню, когда пришел В. А. Серов, я сказал ему:

— Посмотри, как спит Федор, лицо какое серьезное. И во сне даже Грозный. Лицо гения, посмотри.

— Пожалуй, — ответил Серов, — есть в нем дар и полет, но все это перемешано со всячинкой... Давеча пишу я здесь с краю у леса, где сарайчик. А он подошел ко мне и сел. И вдруг говорит: «Вот здесь всё леса и леса, есть крупный лес. Я хочу скупить леса и торговать. Ты как думаешь, Антон?» — «Что ж, говорю, как вашей милости угодно. Торгуйте». — «Да ты не смейся. На лесе-то побольше наживешь, чем на пении». Вот ты и возьми! Как это у него все вместе перепутывается.

Помню — в эту минуту отворилась дверь, и чей-то голос крикнул:

— Господин барин, к вам Глушков приехали.

Шаляпин проснулся и сел на тахте, протирая глаза.

— Господин барин, — повторил Серов, — к вам Глушков приехали.



Ф. И. Шаляпин
Шарж Дени
(псевдоним
В. Н. Денисова)
1918

Шаляпин расхохотался.

— Разбудили! Глушков? Что ему надо? Ну, зови сюда. А я какой-то сон видел: будто я в Питере, в номерах Мухина. И так рад, что один. Самовар у меня на столе, баранки положил на конфорку, чтобы согреть, пью чай и ем баранки с икрой, а потом иду спать. Гляжу на постель и вижу — кто-то под одеялом шевелится. Думаю — что такое. Хотел уйти. Вернулся. Посмотрел — под одеялом женщина. А тут этот орет: «Глушков приехал!..» Разбудил меня. Теперь я и не знаю — кто эта женщина: лежала спиной ко мне, лица-то я не видел.

Глушков, сняв картуз, остановился перед Шаляпиным. В глазах у него была мольба.

— Вот что, Глушков, — сказал Шаляпин. — Лес, что же мне лес, зачем? Грибы собирать? Я ведь не промышленник. Торговать не собираюсь. Мне, в сущности, не надо. Так куплю. Я сказал тебе цену. Как хочешь. Ты не соглашаешься. О чем говорить? Надоело.

— Как согласиться, Федор Иванович, — неммысленно. Каждый раз — вот уж год — торгуетесь. Всё менее и менее даете. Это дровяники мне более давали.

— Так отдавай дровяникам.

— Так вы же сами говорили: «Не отдавай, Глушков, барышникам». Я теперь отказал всем, а вы в неохоту вошли. И мне теперь с ними назад подаваться надо. Они тоже в каприз войдут. Беда! Я скину, Федор Иванович, ежели на чистые деньги только.

— Денег у меня нет — векселя дам.

— Помилуйте, куда ж я с ними денусь? На учет уйдет. Вот ведь этакое дело вышло, сами говорили...

Вспомнилось и другое. Мы часто ездили с Шаляпиным по окрестностям. Как-то приехали на Вашутино озеро. Шаляпин пришел в восторг и с присущим ему ребячеством решил: надо жить на озере.

— Здесь я яхту построю, на парусах буду кататься по озеру. Говорят, озеро-то монастырское. Продадут ли монахи?

Он забыл о доме, который строил как раз в ту пору в Ратухине, и поехал к настоятелю монастыря покупать озеро. Вернулся расстроенный: настоятель согласен продать, но не властен — надо запросить синод.

— Ты подумай, — возмущался Шаляпин, — синод! Как все трудно у нас. Жить нельзя.

Федор Иванович впал в мрачность, не ездил больше на постройку дома...

— Река там мала.

Говорил Серову:

— Озеро, знаешь, плывешь — пространство большое.

— Лознгрином на лебедях будете ездить, Федор Иванович? — смеялся Серов.

Федор Иванович недолюбливал шутки Серова, но смеялся. И Серова немножко побаивался.

Каюсь, мне тоже хотелось жить на Вашутином озере — построить себе на берегу избушку и завести лодку с парусом.

И мы с Федором Ивановичем осенью однажды поехали туда.

Эта поездка нас образумила: было ветрено и дождливо, серые волны озера шумели неприветливо. Тоска! Мы промокли и рады были, что вернулись в теплый дом ко мне, где горел камин и был уют. С той поры Федор Иванович больше об озере не заикался и стал снова ходить на постройку дома в Ратухине.

И еще вспомнилось.

Постройкой шалашинского дома ведал подрядчик Чесноков. У него было два взрослых сына. Оба плотники, и оба работали на постройке.

Шалашин заметил, что время от времени они бегали к стогу на край леса и, достав из стога бутылку с водкой, выпивали по глотку.

И вот Шалашин тихонько пробрался к стогу, вылил почти всю водку из бутылки, долил водой и, спрятавшись в лесу, стал ждать. Вскоре сыновья подрядчика подбежали к стогу. Сначала хлебнул из бутылки один, потом другой. Выпив, с недоумением посмотрели друг на друга... Опять хлебнули. И опять изумленно посмотрели друг на друга. Потом — на бутылку.

Шалашин хохотал целый день.

— Если бы ты видел, — говорил он Серову, — как они на бутылку смотрели!

И так, вспоминая нашу совместную жизнь там, далеко в России, я еще резче ощутил — как печальна была наша теперешняя встреча с Шалашиним. Все слышалось, как он сказал: «У меня здесь камень» — и показал на грудь.

* * *

Вскоре я простудился и захворал. Ко мне пришел мой приятель Н. Н. Куров и сказал мне, что Шалашин очень болен и что мало надежды на его выздоровление.

Я огорчился. Не хотел верить.

— Что ты. Это ведь богатырь. Ему теперь, должно быть, всего шестьдесят четыре года, не больше. Правда, он кажется больным. Но здесь ведь хорошие доктора.

В газетах ничего о болезни Шалашина не писали. Я хворал и не выходил на улицу.

Через несколько дней опять навестил меня мой приятель и сказал:

— А Шалашину очень плохо. Ему делали переливание крови. У него, говорят, белокровие.

— Что это за белокровие? — спросил я. — Это у Вальцевой было. Что же это такое?

— Кровь делается белая, возрастает количество белых шариков. Точно не знаю... — сказал Н. Н. Куров. — Дочь, говорят, кровь дала для переливания.

Мне вспомнилось, как часто при последних моих встречах с Шалашиним он заговаривал о смерти, с каким интересом расспрашивал меня — кто из наших прежних знакомых жив, кто умер, как однажды сказал:

— Как странно, ведь никто не знает, что такое смерть. Тот, другой умер, а мне кажется, что я не умру. Как это устроено в душе

все странно. Если бы человек сознавал смерть, то он бы не покупал землю, не строил бы домов. Я же вот хочу купить имение под Парижем — мне советуют, и поеду туда отдыхать. Мне еще надо в Америку ехать петь, только стал я скоро уставать.

ДУРНОЙ СОН

Ко мне пришел доктор и сказал:

— Что же, температура нормальная. В солнечный день можете выйти ненадолго.

После его ухода я заснул.

И видел во сне, как пришел ко мне Шаляпин, голый, и встал около моей постели, огромный. Глаза у него были закрыты, высокая грудь колыхалась. Он сказал, держа себя за грудь:

— Костя, сними с меня камень...

Я протянул руки к его груди — на ней лежал холодный камень. Я взял его, но камень не поддавался — он прирос к груди...

Я проснулся в волнении и рассказал окружающим и Н. Н. Курову, который ко мне пришел, про этот странный сон.

— Нехороший сон, — сказал Н. Н. Куров. — Голый — это нехорошо...

А утром я прочел в газете, что Шаляпин умер.

Я встал, оделся, хотел куда-то идти. Лил дождь. Пришло письмо из редакции с просьбой поскорей написать о Шаляпине.

Я поехал в редакцию. Трудно было писать. Слезы подступали...

Вернувшись домой, я застал у себя П. Н. Владимирова — артиста балета.

— Вот ведь, — сказал он, — Федор Иванович умер. Борис приехал из Америки. Я его видел. Он спрашивал о вас. Я был в доме. Там не протолкаешься. Масса народу. Он умер в забытии.

На другой день я поехал к Шаляпину в дом. Было множество народу, было трудно протиснуться. Я вызвал Бориса. Он пошел со мной и Владимировым в кафе. Боря любил отца, и глаза его были полны слез... <...>

На другой день днем, в передней, я услышал голос, который живо напомнил мне Шаляпина.

Ко мне вошел Федор, его сын. Он был точь-в-точь Шаляпин, когда я в первый раз его увидел с Труффи; только одет по-другому — элегантно.

Я всегда любил Федю. Он был живой отец. Увидав мою собаку Тобика, который в радости прыгал около него, держа в зубах мячик, Федя тут же стал играть с ним. Бегал, вертелся. Как он был похож на отца! В некоторых поворотах лица, в жестах...

Мы разговорились о его отце...

— Когда я уезжал в Америку, — сказал между прочим он, — отец мне говорил, что он бросит петь и выступит в драматических спектаклях в пьесах Шекспира «Макбет» и «Король Лир».

— Твой отец был редчайший артист. Его влекли все области искусства. Он не мог видеть карандаша, чтобы сейчас же не начать рисовать. Где попало — на скатертях в ресторанах, на меню, кари-



*Похороны Шаляпина
в Париже*

катуры, меня рисовал, Павла Тучкова. Декламировал и даже выступил в одном из симфонических концертов Филармонии в Москве, в «Манфреде» Шумана...

Восхищался Сальвини. Любил клоунов в цирке, и в особенности Анатолия Дурова... Как-то раз позвал меня на сцену Большого театра и читал мне со сцены «Скупого рыцаря». Увлекался скульптурой и целые дни лепил себя, смотря в зеркало. Брал краски и писал чертей, как-то особенно заворачивая у них хвосты. Причем бывал всецело поглощен своей работой: во время писания чертей держал язык высунутым в сторону. Ужасно старался. Показывал Серову. Тот говорил: «А черта-то нету». Когда приходил ко мне в декоративную мастерскую, то просил меня: «Дай мне хоть собаку пописать». Брал большую кисть и мазал, набирая много краски... Какой был веселый человек твой отец и как изменился его характер к концу жизни... Это началось еще в России ... А за границей он чувствовал себя оторванным от родной страны, которую он очень любил.

Федя ушел. Я остался один и все думал об ушедшем моем друге.

Вспомнилось, однажды он мне сказал:

— Руслана я бы пел. Но есть место, которого я боюсь.

— А какое? — спросил я.

Шаляпин запел:

Быть может, на холме немом

Поставят тихий гроб Русланов,

И струны громкие Баянов

Не будут говорить о нем!..

— Вот это как-то трудно мне по голосу.

Милый Федя, всегда будут о тебе петь Баяны, и никогда не умрет твоя русская слава!

И еще вспомнилось:

Как-то, в деревенском доме у меня, Шаляпин сказал:

— Я куплю имение на Волге, близ Ярославля. Понимаешь ли — гора, а с нее видна раздольная Волга, заворачивает и пропадает вдаль. Ты мне сделай проект дома. Когда я отпую, я буду жить там и завещаю похоронить меня там, на холме...

И вот не пришлось ему лечь в родной земле, у Волги, посреди вольной красы нашей России...

МЕДИУМ

Помню однажды летом в деревне Владимирской губернии в моем доме, который стоял у большого леса, где протекала внизу речка Нерль, часто приезжали ко мне мои друзья. И вот однажды вечером, когда у меня гостили Федор Иванович Шаляпин, художник Валентин Александрович Серов, композитор Корешенко, архитектор Мазырин и архитектор Кузнецов, Мазырин рассказывал за вечерним чаем, что он спирит и вот в Москве был замечательный спиритический сеанс. Среди других спиритов и медиумов участвовал и он. Мы все очень заинтересовались.

— Послушайте-ка, Анчутка-то, оказывается, спирит, — сказал Шаляпин. — Это вещь серьезная.

Мазырина прозвище было Анчутка. Еще давно его прозвали так в Школе живописи, ваяния и зодчества, где он проходил курс вместе со мной и был мой школьный товарищ. Был он небольшого роста, румянький, и если бы на него надеть платок, то был бы просто вылитая девица.

— И ты веришь, — спросил я его, — что спиритизм это не ерунда?

— Не только верю, — сказал Мазырин, — но совершенно убежден. Последнее явление на сеансах в Москве, где присутствовали и иностранцы, была, брат, материализация духа.

— Это что же такое? — спросили его.

— Это трудно вам объяснить, — ответил он. — Да притом я вижу, что вы смеетесь, а смешного здесь мало.

— Ну что же, ну что же было? — спрашиваем.

— А вот что. Вот когда мы сели все за стол и положили руки, то стол постепенно начал двигаться, потом прыгать, так что мы за ним все бегали, не отнимая рук, а потом он поднялся на воздух и стучал по полу. А по азбуке выходило «Аделаида». А Аделаида была тетка покойная хозяйки дома.

— Аделаида, — сказал Шаляпин. — Это черт его знает какое иностранное имя. Ну и что же?

— А гитара, которая стояла в углу комнаты далеко, поднялась, полетела по воздуху и надо мной прозвонила: трам-трам-трам.

Мы смотрели в удивлении. Спрашиваем:

— Прямо пролетела по воздуху без веревки... Ну это замечательно. И — трам-трам-трам... Это ловко.

— Ты, значит, медиум? — спросил Шаляпин.

— Я-то не медиум, — сказал Анчутка, — но там был один из Швейцарии, так видно, что медиум. У него из рук, когда мы сомкнулись, так и сыпались искры.

— А вот тут у нас, — говорю я, — в лесу есть курган, древний курган, должно быть. Весь он зарос густым ельником, высокий. И там вот ночью огонь показывается и ходит. И видение в белом. Много раз видели. Вот сейчас я позову — у меня здесь два приятеля-охотника пришли узнать, так как назавтра мы на охоту пойдем, — так вот они вам расскажут, какая здесь штука кажется. Я позову охотников.

Один из них был Павел Груздев, а другой Герасим Дементьевич Тараканов. Охотники — народ смысленный. Пошел я к ним и сказал:

— Вот что. У кургана, где огонь кажется, там жуткое место. Надо взять, Герасим, у меня банку, знаешь — сухой спирт, который я беру на ночь рыбу ловить. Ты пойдешь туда, от дорожки-то направо кургана, да возьми с собой простыню — я тебе дам, — зажги в кустах спирт, а перед ним встань сам да простыню-то над собой — вот так — руками высоко подними. Да немного качайся. А когда я крикну: «Идет», ты вперед так перед огнем-то прыгни и опять стой на месте. Когда Шаляпин к тебе близко подойдет, то ты кинься на него. А ты, Груздев, затуши спирт. Поняли?

Они смеются.

Рассказывали за чаем друзья мои, охотники, что страсть такая у кургана, прямо огонь. Герасим говорит:

— Шел я как-то, запоздал ночью, а огонь горит, мигает. Я так сробел. Обернулся — он ко мне ближе, весь белый. Я думаю: «Что такое?» Уж боюсь глядеть. Только меня сзади как схватит за плечи и вот зачало трясти, прямо душу вытрясает. Я говорю: «Господи! Расточатся врази» — да бегом. А слышу, за мной бежит. Я упал. Смотрю, бежит. И вскочил опять... Так насили-то прибежал вот сюда, к кухне... Ну отстало. Вот сейчас-то шел другой дорогой, боязно той-то идти.

— Да, верно, — говорит Груздев, — место тут такое, что днем идешь к кургану-то, вот за рыжиками, рыжиков там много, так и то оторопь берет. Говорят, в старину-то в кургане етому воеводу закопали, а он, зная, колдуном был. Так это вот его штуки.

— Вот интересно, — говорит Анчутка. — Надо сделать цепь, сомкнуться и его вызвать. Не иначе, когда он показывается, то это и есть материализация.

— Вот какая штука, — говорит Шаляпин. — Вот это вещь. Но что гитара над тобой летала и над тобой прозвучала «дзынь-брынь» — это ты врешь.

— Как хотите, — сказал Анчутка.

— Ну, дай честное слово, — говорит его приятель архитектор Вася Кузнецов.

— Честное слово, — говорит он.

— В таком случае, — говорю я, — не иначе что ему открыто. У него свойство такое, натура, так сказать. Медиум... И поэтому надо будет идти к кургану сегодня же.



Ф. И. Шаляпин
Шарж Гризелли

— Это ведь надо в 12 часов, в полночь это завсегда больше кажется. У нас-то в округе знают. Вот тут в Охотине так часто видят. Старый барин жил, Полубояринов. Росту-то вот с вас, Федор Иванович. Ну и сердит... Так он и посейчас в халате там по ночам ходит. Старики-то помнят еще, когда было право господское. Идет Полубояринов, старый уж, как увидит мужика, подзовет, спросит: «Ты что?» А он говорит: «Ничего, барин». Ну, даст ему по морде и пойдет. Такой уж нрав был. Нынче-то уже, конечно, этого нет. А то в Хозарева, в овраге, дом стоял. Он и сейчас еще разваленный остался. Там по ночи-то всегда русалка поет. Днем-то она в реку уходит, а по ночи в доме песни поет:

Не ходи ко мне, мой милый,
Нет крови во мне живой!..

Приближалось уже позднее время. Охотники пошли спать, а я рассказал всем, кроме Анчутки, что будет видение.

В половине двенадцатого ночи мы все сходим с террасы. Темная июльская ночь. Тишина. Большой сосновый лес темнеет кучками среди мелкого леса. Мы тихо идем дорожкой. Поворачиваем по тропинке в сторону кургана. Вдруг...

— Смотрите, смотрите, — кричит Анчутка.

Среди кустов, таинственно мелькая беглым пламенем, горит и как бы движется синий огонь.

— Сомкнемся скорее, сомкнемся! — кричит Анчутка. — Явление чрезвычайное. Это я сейчас же сообщу... Материализация духа!

И он заставляет нас взять друг друга за руки. Перед огнем, как из земли, выросла высокая таинственная освещенная фигура. Было, действительно, фантастично и неожиданно. Шаляпин задумчиво молчал, скрестив руки и опустив голову.

Шаляпин пошел к видению.

Анчутка бросился бежать.

— Стой, — кричим, — ты куда? Бежать? Ты все затеял — стой!

И мы поймали архитектора Мазырина.

Фигура светилась. Шаляпин шел к ней.

— Не ходи, — кричал Анчутка, — не ходи. Это материализация. Задушит. Непременно задушит. Пойдемте отсюда скорей.

— Стой, — говорит Василий Сергеевич и держит Анчутку. — Это ты всё. Ты — медиум... Твои штуки... с чертом работаешь...

— Нет, нет, — говорит Анчутка, запыхавшись. — Нет, не я. Это вот он, это Федор Иванович. В нем это есть... Должно быть, он. Он всё молчит... он — медиум!

Шаляпин подошел к видению и упал. Упал так, как умеет падать Шаляпин: привык на сцене. К нему бросился призрак, и все погасло. Настала тьма. Анчутка кричал:

— Он погиб... — и хотел убежать опять.

— Стой, — кричали ему. — Ты всё затеял. Идем...

Мы подошли к Шаляпину. Он лежал у дорожки на траве. Мы поднимали его. Он загадочно молчал. Анчутка держал его под руку и, волнуясь, говорил:

— Успокойся, успокойся, пожалуйста. Это материализация. Это ничего... успокойся...

— В чем дело? — сказал Шаляпин. — Что ты дрожишь?

Подпись, цена:
год 6 р. — к.
3 г. 3 — 50
1 м. 1 — 75
1 м. — 60
За грани. вдвое.
Допускается
разсрочка.

VI г. изд.

НА 1914 ГОДЪ

VI г. изд.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на еженедельный богато иллюстрированный журналъ

РАМПА И ЖИЗНЬ

Подъ редакцией

Объявл. впе-
редъ текста
75 коп. стро-
ка цетита, по-
задъ текста
50 коп.

А. Г. Мунштейна
(Lolo).

(Театръ. — Музыка. — Литература. — Живопись. — Скульптура).

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМІЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ:

ФЕДОРЪ ШАЛЯПИНЪ

Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга.

СОДЕРЖАНИЕ: Биографія (по мемуарамъ). Очеркъ сценической дѣятельности. — Статьи о Шалѣпинѣ Леонидѣ Андреевѣ, Александрѣ Амфитеатровѣ, Юрѣ Бѣляевѣ, В. М. Дорошевичѣ, К. А. Корвинѣ, С. И. Мамонтовѣ, С. С. Мамонтовѣ, Сергѣи Яблonsкомъ и др. — Статьи выдающихся музыкальных критиковъ. Шалѣпинъ въ живописи и скульптурѣ. Галлерей образованных имъ образовъ. Портреты, зарисовки, шаржи.

БОЛЕЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦІЙ.

52 большихъ портрета (на обложкѣ) артистовъ, писателей, композиторовъ и художниковъ, болѣе 1500 снимковъ, зарисовокъ, шаржей, каррикатуръ и проч. Собствен. корреспонд. во всѣхъ запад.-европ. театральн. центрахъ.

Адресъ Редакціи и Главн. Конторы: Москва, Богосл. пер. (уг. Б. Дмитр.), д. 1. Тел. 258-25.

ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвѣ у Н. И. Печниковой (Петровск. линіи), конторой Т-ва „ГОНЕЦЪ“, Москва, Петровка, 15, черезъ посредство агентовъ-гонцовъ. На самыхъ льготныхъ условіяхъ разсрочки: въ книжн. маг. „Новое Время“ (въ СЦБ., Москва и пров. гор.), М. О. Вольфа (Москва), т-ва Я. П. Алаидицъ (Кіевъ, Фундуклеовская, 12).

Въ Харьковѣ журналъ „РАМПА И ЖИЗНЬ“ ПРОДАЕТСЯ въ театрѣ Новой оперы. ПОДПИСНА тамъ же въ конторѣ у А. В. Чарскаго.

— Да ведь как же, ты упал. Я испугался. Задушит!

— Когда упал! Да ты бредишь!

Пришли домой, сели у меня в большой комнате за стол. В открытом воротѣ рубашки Шалѣпина были на шее два красных пятна. Анчутка отозвал меня в коридор и с испуганными черненькими глазами говорил мне:

— Посмотри... Ты видел. На шее пятна. Он его душил. Хорошо, что мы пришли вовремя. Я сейчас еду. Я сегодня же к утру все доложу нашему спиритическому обществу. Мы все сюда приедем.

Как ни уговаривали мы Анчутку остаться, он не мог успокоиться и уехал рано в Москву, когда мы спали.

Через три дня, утром, получая газеты со станции, мы прочли в «Русских ведомостях», в «Русском слове», в «Новостях дня» сообщение «Видение Шалѣпина». Опять через два дня сообщалось, что швейцарские спириты выезжают в Россию на место спиритической материализации видения. Мы Шалѣпину говорим: «Медиум».

— Ну, медиум, — будили мы его утром, — пора вставать. Пойдем купаться.

Кузнецов, приехав в Москву, рассказал в обществе актеров все, как было. Анчутка, узнав, обиделся ужасно, так как ехали иностранные спириты, и в Москве вышла маленькая книжка «Видение Шалѣпина», успешно продавалась во всех книжных магазинах, и вся Москва, от мала до велика, спрашивала:

— Слышали? Шалѣпин-то — медиум. Ведь это что такое? Сколько одному отпущено! А? А я вот, хоть тресни... ничего не видал.

Ловкий предприниматель, автор книжки, был доволен. Нажил. Спрашивали издателя:

*Наиболее интересные
и редкие фотографии
из рекламируемого
альбома использованы
в нашей книге*

— Что вы написали? «Видение» — ведь это оказалось вздором. «Русское слово» само опровергло. По рассказам очевидцев, это была шутка.

— Ну, что вы хотите, какая шутка? Мне же сам лично говорил не кто-нибудь, а медиум, архитектор Мазырин, человек почтенный. Я тут ни при чем.

ШТРИХИ ИЗ ПРОШЛОГО

Главная из особенностей многочисленных русских городов, раскинутых по бесконечной России, описанных многими даровитыми писателями, была скука жизни и быта. Но особенность, о которой я хочу сказать, несколько иная.

В городах этих были театры.

Театры были потребностью жизни. И если в этих театрах не всегда были гастролеры и приезжающие труппы оперного или дра-

матического состава, то находились в этих городах любители, которые справлялись с трудными задачами исполнения, и проходили прекрасные любительские спектакли.

Это не так просто. Значит, находились люди, относившиеся с любовью к искусству, что говорит о душевных намерениях высшего порядка. <...>

Ф. И. Шаляпин — величайший русский артист из города Вятки — провел свою юность в Казани, в Сукон-

ной слободе, и сохранил в себе сердце с великой любовью к искусству. Не потому ли, что у нас в каждом городе был театр? Не будь его — не было бы Шаляпина. И остался бы он типом Суконной слободы... <...>

Русский народ любил театр и восхищался исполнениями произведений иностранных и своих авторов. «Кина», «Кориолана» смотрели в Иркутске и в Ростове. «Лес» Островского знали во всех городах. Аркашку и монолог Несчастливцева: «Я говорю и думаю, как Шиллер, а ты — как подьячий» — знали все и восхищались. Театр воспитывал и возвышал душу.

Встречая артистов смолоду, я всегда восхищался ими, почитая этих особенных людей. Часто чудаков, но большей частью незаурядных. Странно — они были как бы вне жизни, и странно, что они всегда подсмеивались над собой. Были невзыскательны в жизни. Мирились со всякими обстоятельствами и не роптали.

Романы этих людей были особенными и не всегда удачными. В душе их было какое-то одиночество. Их любили слушать

ЯРОСЛАВЛЬ. Городской театр



Фотография конца XIX в.

в театре, восхищались талантом, а в жизни они были непонимаемы и осуждаемы.

Было время, когда артисты были все же простаком не понимаемы, и все же они были нужны, но с ними поступали строго. За пустяшный проступок сажали в карцер. А вот Волкова похоронили с почетом на Волковом кладбище*. Может быть, и кладбище названо его именем.

Любили в России артистов, и у них всегда было много друзей. И у Шалыпина были друзья и поклонники. Шалыпина любили за прекрасное исполнение и за голос. Но характер Федор Иванович имел своенравный. Московский театрал Бахрушин, страстный поклонник артисток и артистов, создавший в своем доме в Москве театральный музей, огорчался и плакал:

— Что же это такое! Мне, когда бенефис Ленского, Садовского, Барцала, Южина, сами билет-то на дом привозят, а Шалыпин! Что же это такое. У кассы в хвосте стоять должен. Послал в кассу, так не дают. Не записан, говорят. Что это такое! Так ведь и не дали. У барышника ложу-то насилу достали. А ведь в гостях у меня был. На «ты» выпили! Вот он какой. Невиданное дело. Всех под себя гнет. Уж всегда я ужинаю после бенефиса, «Эрмитажный» зал берем или «Яр» забираем. А тут и знать не знает. Заважничал — «кто я!».

Именитые купцы недолюбливали Шалыпина.

— В Сандуновских встретил его, здорово парится, — говорил Бахрушин. — Слез с полки, ну его банщик из шайки обливает. Рядом сел. Не узнает. Голову ему мылят, поливают из шайки. Глядит на меня. А я виду не даю, что знаю. Он на меня смотрит.

— Ты что же, Бахрушин, — говорит, — меня голого не узнаешь? — Значит, обиделся, что я первый ему не поклонился.

— Не узнал, — говорю.

— Врешь, — говорит, — нельзя меня не узнать. — И ушел в предбанник.

Значит, я тоже сажусь на диван в предбаннике ногти стричь. Ему тоже стригут. Банщик ему веник принес.

— С легким паром, — говорит, — Федор Иванович.

— Видишь, меня банщик знает, а ты меня не узнаешь. Постой, — сказал он банщику, — ты меня в театре-то не слышал?

— Где же, — говорит, — Федор Иванович, нам слышать вас.

— Да вот эти-то слушают меня, — показал он на Бахрушина.

И Федор Иванович из своего сюртука вынул книжечку и написал:

«Выдать в кассе театра ложу Макару Васильеву. Ложу 3-го яруса».

— Вот тебе — послушаешь.

«Э... — думает Бахрушин, — к народу подвертывается». И говорит Шалыпину:

— Зря это ты, Федор Иванович, чего он поймет. Дал бы лучше трешницу.



* Составители книги «Константин Коровин вспоминает...» (М., 1990) уточняют: «Ф. Г. Волков был похоронен в Спасо-Андрониковом монастыре». — Ред.

После бани Шаляпин ехал домой. Заезжал к Филиппову и купал баранки, калачи, у Белова — два фунта икры салфеточной. Сидел за чаем в халате. Калачи, баранки клал на конфорку самовара, пил чай, выпивал весь самовар и съедал всю икру.

Мы с Серовым удивлялись, как это он мог съесть один два фунта икры.

— Знаешь ли что, люблю я баню. Ты бы, Константин, сделал бы мне проект бани. Я бы здесь построил в саду. Полок нужен высокий. В Сандуновских банях не жарко. В Казани были бани у Веревкина. Деревянные, понимаешь. Там, бывало, как поддашь, так пар-то во всю баню, так прямо жжет. А здесь и пару нет. Люблю я баню. Замечательная штука. Все из тебя выходит. И вино и всякая тяжесть. Ведь как себя чувствуешь легко. Во всем какая-то лень отрадная. Если б я не пел, то пошел бы в банщики.

Шаляпин и здесь, в Париже, говорил мне:

— Вот хочу у себя в доме здесь на дворе баню сделать. Да как? Здесь ведь бревен-то нету, а надо деревянную. Каменная — это не баня. Нет сосны-то нашей.

— Можно из Латвии привезти, — сказал я.

— Привезти, а что это будет стоить? Нет уж, должно быть, без бани придется жить, а баня ведь необходима... <..>

А вот и не пришлось.

УМЕР ШАЛЯПИН

Умер Шаляпин. Как горько и как неожиданно! Умер посланный на землю любимец Аполлона. Великий артист, певец и художник. Солнечное озарение, которое было в театре, слава России!

Мы все помним дивные образы, которые создавал талант этого гениального артиста. Создавал в недостижимом совершенстве.

Я помню его юным богатырем. Какой силы жизни был этот человек! При мне зрела быстро его творческая сила. Я никогда не видал более веселого и жизнерадостного человека.

С самого начала его артистической карьеры мне пришлось быть с ним почти неразлучным как в театре, так и в жизни. Он сделался приятелем и моих друзей-художников — Серова, Врубеля, Поленова — и моих друзей-охотников, которых я описывал в моих рассказах.

Шаляпин часто гостил у меня в деревне во Владимирской губернии. Веселое было время! Мы ездили на мельницу, на озеро, по реке, жгли костры ночью в лесу, ловили рыбу, и художник Серов часто бывал с нами.

Шаляпин любил купаться и великолепно плавал. Мельник Никон Осипович, тоже огромного роста и богатырского сложения, добрый старик, очень любил Шаляпина.

Мельница была бедная, а Никон Осипович ранее был старшиной в селе и пел на клиросе. Приезжая на мельницу, я ставил палатку на лужке у реки. Вот в этой палатке мы и жили. Слуга у меня был Василий Княжев — серьезный человек, рыболов и бродяга.

Серов не был охотником, но любил ездить в моей компании и

любил Шаляпина. Серов был большой юморист и часто переходил с Шаляпиным на «вы», когда Федор Иванович увлекался в рассказах.

У столика на столбиках стоял самовар, закуски. Оля отражалась в кристальной воде. Где поднималась насыпь, высился огромный, как гребень, еловый лес. Шумели колеса мельницы, летали стрижи, бороздя тихую, как зеркало, воду крылышками.

Шаляпин, поймав большого шелеспера, весь бледный, дрожащими от волнения руками хотел посадить его в сажалку. Но шелеспер, выскользнув из рук, ушел в воду, Шаляпин бросился за ним в омут и, вынырнув, кричал, глядя на меня:

— Это что же у тебя какие сажалки! Черт его теперь поймает.

— Трудно вам его будет поймать, — сказал Серов, смеясь.

Шаляпин вылезал на берег расстроенный, весь в тине.

— Ну и горяч ты, парень, — говорил Никон Осипович.

Шаляпин снимал мокрое платье, а Василий Княжев стаскивал с него сапоги.

Никон Осипович принес новую рубашку, портки, валенки. Шаляпин все-таки был не в духе и продолжал повторять:

— Как он у меня выскочил. У тебя же дыра мала в сажалке.

— Успокойтесь, Федор Иванович, — говорил Серов.

— Да чего же, — сказал Княжев, — еще пымаете.

Шаляпин понемножку пришел в себя. Пил чай у столика с Никоном Осиповичем. Закусывал и все же немножко негодовал, как будто мы были виноваты, что у него выскочил шелеспер.

На другой стороне реки против палатки и столика я и Серов писали с натуры на холсте. А Шаляпин с Никоном Осиповичем потчевались за столиком. Пили водочку, и Никон Осипович пел Шаляпину «Лучинушку», и Шаляпин ему подпевал. А потом ушел в палатку и спал до вечера. Никон Осипович подошел к нам:

— Эх, — сказал, — ну и парень хорош Шаляпин, только горяч больно. Казовый парень. Выпили с ним — согреться, конечно, он меня и спрашивает: «Спой-ка, — говорит, — песню, каку знаешь, старую». Я ему «Лучинушку» и пою, а он тоже поет.

— А как же, ведь он певчий, — сказал я.

— Э!.. То-то втору-то он ловко держит. Ну и голос у него хорош, мать честная, вот хорош. Так вот прямо в нутро идет. Так пою я, не сдержался, плачу... Смотрю-ка, гляжу — и он плачет. Вот и пели. Ишь чего — певчий! Где же он поет-то?

— В театре, — говорю.

— А жалованья-то сколько получает?

— Сто целковых за песню получает.

Никон Осипович пристально посмотрел на нас с Серовым и сказал рассмеявшись:

Шаляпин
1930-е годы



— Ну, полно врать.
Шаляпин показался у палатки и смотрел, как Василий Княжев варил уху и говорил:
— Чего тужить, Федор Иванович. Ведь шелеспер — рыба-дрянь, скуса нет. У нас здесь налимы, окуни — это уха.
— Шелеспер-то не дурак, — сказал Серов.
— Ты знаешь ли, Константин Алексеевич, — кричал Шаляпин через реку. — Вот здесь вот, у леса, я построю себе дом.
— Это казенный лес, тебе не дадут здесь построить.
— То есть почему же это, позвольте вас спросить?
— Потому что не дадут: казенную землю купить нельзя.
— Слышь, Никон Осипыч, ведь это жить так нельзя! Позвольте, — обратился опять к нам Шаляпин, — я подам на высочайшее имя прошение.
— Царь не имеет права поступить не по закону.
— Антон! — крикнул он Серову. — Ты слышишь, что Константин говорит?
— Константин прав, — сказал Серов.
— Ведь это черт знает что такое. В этой стране жить нельзя.
— Арендовать можно, — сказал Василий Княжев.
— Арендовать я не желаю. Потом отберут.
И Федор Иванович опять сердился, скинул валенки, портки, рубашку и полез купаться.
— Вы опять за шелеспером? — спросил Серов.
Переплыв реку, Шаляпин вылез и подошел к нам. Смотрел, что мы написали.
Освещенный заходящим солнцем на фоне зеленой ольхи, он был торжественно-прекрасен.
Могучая фигура, дивной красоты сложение!
И он умер. Умер.
Где найти слезы, чтобы выплакать горе...



Было это в Нижнем Новгороде, в конце прошлого столетия, когда мне везло на знакомства. Служа в опере, я встретил там С. И. Мамонтова и много других замечательных людей, оказавших впоследствии большое и благотворное влияние на мое художественное развитие. Был обед у госпожи Винтер, сестры известной в то время певицы Любатович, певшей вместе со мною в мамонтовской опере. За столом, между русскими актерами, певцами и музыкантами, сидел замечательный красавец-француз, привлечший мое внимание. Брюнет с выразительными, острыми глазами под хорошо начерченными бровями, с небрежной прической и с удивительно эффектной шелково-волнистой бородкой в стиле Генриха IV.

«Какое прекрасное лицо! — подумал я. — Должно быть, какой-нибудь значительный человек приехал на выставку из Франции». За столом он сидел довольно далеко от меня и о чем-то беседовал со своей соседкой. Речи его мне не было слышно. И вот в тот момент, когда я хотел спросить, кто этот интересный француз, я услышал, как настоящим российским диалектом он обратился к кому-то с просьбой передать ему горчицу. Удивился и обрадовался я, что этаким красивый человек тоже вдруг русский.

— Кто это? — спросил я.

— Да это Коровин, Константин Алексеевич, русский талантливейший художник.

Помню, как я к концу обеда с кем-то поменялся местом и сел ближе к заинтересовавшему меня гостю. Вот с этого вечера и до сих пор, а именно тридцать пять лет, продолжается наша ничем не омраченная дружба.

На днях в Париже друзья и почитатели будут праздновать его юбилей. Вот почему мне хочется поговорить о Коровине. Ну да, хоть и юбилей, а говорить я хочу просто и непринужденно, без церемоний и юбилейного пафоса.

Беспечный, художественно-хаотический человек, раз навсегда заживший в обнимку с природой, страстный охотник и рыбак, этот милый Коровин, несмотря на самые отчаянные увлечения глухарями, тетеревами, карасями и шелесперами, ни разу не упустил из поля своего наблюдения ни одного людского штриха. Ночами, бывало, говорили мы с ним на разные жизненные темы, спорили о том или другом художественном явлении, и всякий раз у меня было такое чувство, слушая его, точно я пью шампанское — так приятно кололи меня иголки его острых замечаний. Удивительный этот русский, показавшийся мне французом!..

К. А. Коровин
Декорации
к опере М. И. Глинки
«Жизнь за царя»
Село Домнино



Все, жившие и работавшие с Коровиным в России и за границей, знают, какой это горячий, нервный, порывистый талант. Многим, очень многим обязаны наши театры, начиная с оперы Мамонтова и кончая императорскими сценами, этому замечательному художнику-колористу. Превосходные его постановки известны всей российской публике, а лично я многому у него научился. И как это странно, что горячность и темперамент и смелый, оригинальный талант, этими качествами воспитанный, долгое время считался, писался и презирался, обозначаясь словом:

— Декадент!

Конечно, над этим мы в нашем интимном кружке художников, артистов и писателей, понимавших, что такое Коровин, очень весело смеялись. Какие мы устраивали из этого потешные игры! Бывало, соберемся и начнем изображать в лицах и «декадента», и тех, кто Коровина декадентом называл. Кто-нибудь из нас представлял Коровина, а другие представляли ареопаг интервьюеров и критиков, Коровина сурово допрашивающих, зачем и почему, собственно говоря, вздумалось ему сделаться декадентом, а Коровин, «pour epater les bourgeois»*, еще пуще декадентствует. Хохотали мы до слез.

Талант — талантом, заслуги — заслугами, а мы, его друзья и приятели, любили в Константине Алексеевиче его невероятный и бессознательный комизм. Суеверный человек Коровин! Забавно было видеть, как этот тонкий, остроглазый и все глубоко постигающий художник до смехотворного ужаса боится... бацилл. Уезжая на охоту или рыбную ловлю, спокойнейшим образом залезает он спать в грязнейшие углы изб, и ничего — не боится заразы. А когда к нему в Москве придет с холоду мальчишка, шмыгающий носом, Коровин, испуганный, вне себя закричит:

— Не подходи близко!..

И приказывает слуге немедленно принести одеколону.

Рассказать все чудачества этого милейшего комика нет возможности, но, чтобы установить во всей, так сказать, сложности художественный хаос его «хозяйства», достаточно заглянуть в его чемодан. В любое время — теперь, пять лет назад, десять, двадцать. Удивительно, как все это может сочетаться. Полуоткрытая корб-

* Чтобы уязвить
мещан (фр.).

ка сардинок с засохшей в углу от времени сардинкой, струны от скрипки или виолончели, удочка, всевозможные краски, в тюбиках и без тюбиков, пара чулок, очки, оторванные почему-то каблуки от сапог, старые газеты, нанесенные на бумагу отрывочные записи, гуммиарабик или синдетикон, засохший василек, банка с червями, тоже уже засохшими, — словом...

И не дай бог, если кто-нибудь ненароком переместит сардинки или червяков! Константин Алексеевич волнуется, кричит:

— Не устраивайте мне хаоса в моей жизни!

Веселые были наши рыболовные экспедиции. Соберемся, бывало, с Серовым и Коровиным на рыбную ловлю. Целый день блаженствуем на реке. Устанем до сладостного изнеможения. Возвращаемся домой, в какую-нибудь крестьянскую избу. Принесли рыбу и после лучения ее ночью располагаемся на отдых. Серов поставил холст и весело, темпераментно, с забавной улыбкой на губах быстро заносит на полотно сценку, полную юмора и правды. Коровин лежит на нелепой кровати, устроенной так, что ее ребра обязательно должны вонзиться в позвоночник спящего на ней великомученика, у кровати — огарок свечи, воткнутой в бутылку, в ногах Коровина, прислонившись к стене, в великолепнейшем декольте, при портках, — бродяга в лучшем смысле этого слова, Василий Княжев. Он слушает, иногда возражая. Это Коровин рассуждает о том, какая рыба хитрее и какая дурачливее... Серов слушает, посмеивается и эту рыбную диссертацию увековечивает...

А бродяга Княжев вкрадчивым тенором между тем говорит:

— Вы, этта, Коськянтин Алексеевич, на счет нашей, рассейской-то, рыбы рассуждаете. А вот случилось мне быть в Норвегии. Смешная это какая-то страна и грустная. Так что, девицы, этта, и бабы усе больше ходят у церковь. А в трактире мужики сидят таково сумрачно и пьют усе пунш. Ну а я... норвежская водка больно хороша, Коськянтин Алексеевич. <...> Вот я, окромя трактиров, хожу, этта, по городу. По бродяжьему моему положению одет, значить, я невзрачно и собираюсь с купцом ехать на пароходе по фиордам к нему на дачу — лосося, значить, ловить, ну и спиннинги ему заготавливать. Жду, значить, я этого купца на пристани и бутылку держу у себя в кармане — норвежская она, водочка-то... Хожу. Гляжу — какой-то человек, значить, этак пристально на меня глядит. Думал, может, знакомый какой — признать хочет. Ан, гляжу — нет. Что за напасть? А всё смотрит. То в глаза поглядит, то на карман. Неловко стало. Я, значить, по мосточку на пароход. Человек за мной. Я по коридору — в уборную. Постоял там маленько. Думаю, пойду на палубу погляжу хозяина. Вышел из уборной — человек стоит! Хотел было с ним поговорить



К. А. Коровин
Декорации
к опере
М. И. Глинки
«Жизнь за царя»
Ипатьевский монастырь

по-приятельски — не умею по-ихнему талалакать. А тут хозяин, гляжу, идет. Где, говорю, прикажете расположиться? Хозяин, он мало-мало по-русски говорил — в России был. А вот, говорит, в нижнем етажике 13-й номер каюта есть для тебя. Номер-то не только мне понравился, Коськянтин Алексеевич, иначе зашел. Кругло окошечко, гляжу, как раз над водой. Оглянулся в дверь, вижу — человек опять ходит и так, значить, заглядывает в комнату-то. Думаю, может, водку нельзя носить с собой. Спрячу-ка, думаю, под подушку. Положил я, этта, водку, захлопнул дверь, сел на кровать. Засвистел пароходишко-то, затрясся — поехали!.. Стал, открыл дверь — думаю, посмотрю: тут ли человек аль нет? Никого. Ну, думаю, слава богу! Здохнул, вынул водочку, перекрестился, глотнул — кладу под подушку. Облокотился, гляжу в кругло-то окошко. Водичка такая прозрачная, чистая, пароходик идет так плавно, тихо... Гляжу, значить, да так и ахнул: матушки! (а уж вечереет). Что это такое глядит, глазом-то глядит прямо на меня! Отпрянул уж я от окошка — как же человек-то?! Неужто пристроился снаружи в кругло окошко глядеть? Он самый и смотрит... Так верите, Коськянтин Алексеевич, обомлел весь, аж потом pokrылся. Да как стал приглядываться-то — здоровенный, гляжу, этакий язина приподнялся на плавниках-те, плывет этак за пароходом-то да на меня через кругло-то окошко-то глазищами-то, сволочь, и глядит!.. Вот, Коськянтин Алексеевич, какая рыба заграничная-то!..

Константин Алексеевич слушает, слушает, но, как дошло до «сволочи», не выдержал:

— Ну, брат Василий, это уже ты того, врешь! — говорит он с досадой, чувствуя, что охотничьими рассказами его-таки побил Василий Княжев. — Всё врешь, ни в какой Норвегии ты, брат, и отроду не бывал...

— Ну вот, Коськянтин Алексеевич, никогда-то вы ничему не верите...

Обиделся Княжев. А Серов уже складывает полотно и, смеясь, замечает:

— Да, рыба заграничная, она, точно, дурачливее нашей.

Радостно и грустно вспомнить об этом далеком прошлом. Много, много уроков дало нам истекшее время. Удержим один из них — настоящее в искусстве переживает временные и случайные суждения. Вот ведь, самая кличка «декадент» вышла, кажется, уже бесповоротно из моды, а чудесный талант замечательного русского художника Константина Алексеевича Коровина жив и здоров.

Милый Константин Алексеевич, жду с нетерпением опять поймать рыбу в наших дорогих сердцу российских прудах, озерах и реках!





II

Ирина Шаляпина

Живая память об отце

(Главы из книги)

Текст этого раздела печатается по изданию:
Шаляпина И. Ф. Воспоминания об отце // Ф. И. Шаляпин:
В 2 т. М.: Искусство, 1959. Т. 1.



*М*оя мать — итальянка Иоле Торнаги. Историю ее знакомства с моим отцом Федором Ивановичем Шаляпиным я расскажу с ее слов.

«В 1896 году я танцевала в Милане. На зимний сезон у меня уже был подписан контракт в Лион, как вдруг я получаю через агентство Кароцци предложение выехать с балетной труппой в Нижний Новгород. Приглашал С. И. Мамонтов.

Для нас, итальянцев, это было событием. Россия казалась нам далекой и загадочной страной.

Наконец мы прибыли в Нижний Новгород. Нам объяснили, что надо будет переехать на другой берег Волги.

Волга поразила нас своими просторами. У нас в Италии таких рек нет. Вдруг мы увидели какое-то странное сооружение, похожее на мост. На нем уже было много людей и, что нас особенно удивило, — телеги, запряженные лошадьми, коровы, какие-то корзины с курами... Нам предложили войти на этот мост. И вдруг мост, к великому нашему изумлению и страху, поплыл... Это был паром.

Переправившись на другую сторону Волги, мы, смеясь и перекидываясь шутками, всей ватагой двинулись пешком к Николаевскому театру, который, как оказалось, был недостроен. Кругом сновали какие-то люди, рабочие таскали известку и прочий строительный материал. Это было для нас неожиданным сюрпризом, и многие из моих товарищей стали громко выражать свое недовольство. На площади поднялся шум!

Вдруг видим, издали, направляясь к нам, идет высоченный мужчина. Он приветствовал нас, размахивая шляпой, и весело улыбался.

Артист Малинин, который встречал нас на вокзале, подвел к нам этого человека. Он был худ, немного нескладен из-за огромного роста, у него были серо-зеленые глаза, светлые волосы и ресницы, его широкие ноздри возбужденно раздувались, а когда он улыбался, обнажались крепкие и ровные зубы.

— Федор Шаляпин, — представился он. У него был приятный грудной голос. Малинин объяснил нам, что это молодой бас, которого С. И. Мамонтов пригласил на летний сезон. Нам было очень трудно запомнить его фамилию, и мы стали называть его: «Иль-бассо».

Молодой Шаляпин сейчас же принял горячее участие в нашей судьбе. Проводив нас в гостиницу, он заявил, однако, что здесь до-



В. А. Серов
И. Шаляпина
1905

рого, неудобно, что он советует нам переехать на частную квартиру, где живет сам, где замечательная хозяйка и где он, конечно, будет всячески ухаживать за нами. Все это объяснялось жестами, мимикой и было очень смешно. Все же мы с подружкой Антоньеттой Барбьери решили остаться в гостинице.

Вскоре начались репетиции. Я познакомилась с С. И. Мамонтовым: удивительный это был человек, художник и знаток театра, он прекрасно говорил по-французски и по-итальянски, и нам с ним было интересно и легко разговаривать.

К открытию сезона готовили оперу «Жизнь за царя». Наш балет усиленно репетировал мазурку и краковяк.

Но итальянец Цампелли, хотя и прекрас-

ный балетмейстер, поставил танец в неверных темпах. На закрытой генеральной репетиции мы разошлись с оркестром и в смущении остановились; остановился и оркестр.

Скандал!!!!

И вдруг на весь театр раздался молодой раскатистый смех. В ложе сидел Шаляпин. Одна из наших подруг подошла к рампе и сказала ему громко

— Cretino! (Кретин!)

Он опешил...

— Кто кретино?

— Voi! (Вы!) — ответила она.

Шаляпин страшно растерялся и с виноватым видом замолчал.

После этого случая нам предложили ехать домой — в Италию. Но тут уже заговорила во мне национальная гордость. «Неужели, — думала я, — эта неудача опозорит всю нашу труппу?..»

Я пошла в дирекцию и попросила дать нам русского балетмейстера. Дирекция согласилась, и мы исполнили мазурку с большим «брио».

Вскоре я заболела. Шаляпин спросил Антоньетту, почему я не прихожу на репетиции. Она жестами объяснила ему, что я больна. Тогда он сразу закричал:

— Dottore, dottore! (Доктора, доктора!)

На следующий день ко мне явился артист нашего театра, врач по образованию.

Я уже начинала поправляться, как вдруг Антоньетта заявила мне, что «Иль-бассо» пристает к ней с просьбой разрешить навесить меня.

И вот в один прекрасный день раздался громкий стук, и на пороге появился «Иль-бассо» с узелком в руке. Это оказалась завязанная в салфетку кастрюля с курицей в бульоне.

Как всегда жестами, он объяснил мне, что это очень полезно и что все это надо съесть. И эта трогательная «нижегородская курица» навсегда стала у меня в памяти.

Вскоре мы с Антоньеттой переехали на квартиру, где жил Шаляпин, и подружился с ним. Он рассказал о своем тяжелом детстве, и мы были увлечены его непосредственностью и обаянием.

В ту пору Федор был беден. Все его имущество заключалось в

небольшой корзине, обшитой клеенкой. Здесь хранилась пара белья и парадный костюм: светлые брюки и бутылочного цвета сюртук. В особо торжественных случаях он надевал гофрированную плёную сорочку и нечто вроде манжет а ля «Евгений Онегин». Этот странный костюм ему очень шел.

Но самое интересное в его имуществе были две картины-пейзажи — подарок какого-то товарища. Он бережно возил их с собой. Гордился он и самоваром, выигранным за двадцать копеек в лотерее.

Однажды в ссоре со своим товарищем — артистом Кругловым — он порвал свой парадный сюртук. С виноватым видом пришел «Иль-бассо» ко мне с просьбой зачинить дыру в рукаве. Я была возмущена этой дракой, но сюртук все же починила.

Мы заметили, что часто, выйдя из нашего домика, Шаляпин, стоя на тротуаре, громким раскатистым басом что-то кричал на всю улицу. Слов понять не могли, и нам слышалось лишь:

— Во-о-о!..

После этого странного возгласа со всех сторон съезжались таратайки. Шаляпин садился в одну из них и уезжал.

Как-то мы с Антоньеттой спешили на спектакль. Мы вышли из ворот и хотели нанять извозчика, но такового не оказалось. Тогда, вспомнив, как это делал Шаляпин, мы стали, подражая ему, неистово кричать в два голоса:

— Во-о-о!

И вдруг, к великому нашему удовольствию, в переулке показался извозчик. Тут только сообразили мы, что Шаляпин кричал: «Изво-о-озчик!»

Совсем не зная русского языка, нам было очень трудно понять товарищей, разговаривавших с нами жестами и мимикой. Особенно утомлял нас Шаляпин. Как только мы появлялись в театре, он, размахивая лапами своего сюртука, подлетал к нам и, громко смеясь и жестикулируя, старался разговаривать с нами. К вечеру у меня от его «стараний» распухла голова, и под конец мы с подругой, завидев его, с возгласами «Иль-бассо!» скрывались куда попало.

В театре репетировали «Русалку». Исполнив свои балетные номера, мы тотчас же уходили.

Наступил день спектакля. Мы с Антоньеттой сидели у себя в артистической уборной и гримировались, готовясь к выходу. Вдруг во время действия раздались аплодисменты. Антоньетта, выйдя в коридор, увидела бегущих к сцене артистов. В это время снова раздался взрыв аплодисментов. Тогда и мы побежали за кулисы. Акт уже кончился, и на авансцене, в каких-то лохмотьях, раскланивался с публикой старик со всклокоченными волосами и бородой. Мы не узнавали артиста. Вдруг взгляд «старика» в упал в кулису, и безумец широкими шагами направился к нам, восклицая:



Из фондов Ярославско-историко-архивного музея-заповедника

— Buona sera, signorine!.. (Добрый вечер, барышни!..)

— «Иль-бассо»! — Мы были поражены.

С тех пор я стала иначе относиться к Федору Ивановичу. Чем больше на репетициях я приглядывалась к нему, тем больше начала понимать, что этот артист, еще только начинающий свой путь, необычайно ярко выделяется своим дарованием на фоне всего ансамбля очень талантливой труппы Саввы Ивановича Мамонтова.

Театр готовился к постановке «Евгения Онегина». Роль Гремина была поручена Шаляпину. В этом спектакле я не была занята, и Мамонтов пригласил меня на первую генеральную репетицию, на которой присутствовали лишь свои. Савва Иванович рассказал мне о Пушкине, о Чайковском, и я с волнением смотрела спектакль. Но вот и сцена на петербургском балу. Из дверей, ведя под руку Татьяну, вышел Гремин — Шаляпин. Он был так значителен, благороден и красив, что сразу завладел вниманием всех присутствовавших.

Мамонтов, сидевший рядом со мной, шепнул мне:

— Посмотрите на этого мальчика, — он сам не знает, кто он! — А я уже не могла оторвать взора от Шаляпина. Сцена шла своим чередом. Вот встреча с Онегиным и, наконец, знаменитая ария «Любви все возрасты покорны...».

Как мне впоследствии рассказывал Мамонтов, эту арию обычно пели сидя в кресле. Шаляпин предложил новую мизансцену: он брал под руку Онегина, прогуливался с ним по залу, иногда останавливался, продолжая беседу. Голос его звучал проникновенно и глубоко.

Я внимательно слушала Шаляпина. И вдруг среди арии мне показалось, что он произнес мою фамилию — Торнаги. Я решила, что это какое-то русское слово, похожее на мою фамилию; но все сидевшие в зале засмеялись и стали смотреть в мою сторону.

Савва Иванович нагнулся ко мне и прошептал по-итальянски:

— Ну, поздравляю вас, Иолочка! Ведь Феденька объяснился вам в любви...

Лишь много времени спустя я смогла понять все озорство «Феденьки», который спел следующие слова:

Онегин, я клянусь на шпаге,

Безумно я люблю Торнаги...

Тоскливо жизнь моя текла,

Она явилась и зажгла...

...Сезон подходил к концу, и мы должны были разъехаться по домам.

Первой уехала Антоньетта, «Тонечка», как звал ее Федор Иванович и как всегда подписывалась она в письмах ко мне.

Потом, распрощившись со мной и с товарищами, покинул нас Шаляпин, возвращавшийся к зимнему сезону в Мариинский театр.

Наконец собралась в дорогу и я.

Россия и русские люди очень пришлись мне по сердцу; несмотря на то, что я подписала контракт на зимний сезон во Францию — в Лион, — уезжать из России мне очень не хотелось, да и «Фэда» уже стал мне дорог.

Мамонтов предложил мне остаться еще на один сезон — уже в



*Федор Шаляпин
и Иола Торнаги
1896*

Москве, в Солодовниковском театре, — и я приняла его предложение, расторгнув французский контракт. Но Мамонтов лелеял еще одну заветную мечту — привлечь в свой театр Шаляпина — и решил послать меня за ним в Петербург.

— Иолочка, вы одна можете привезти нам Шаляпина, — уверял он.

И я поехала в Петербург.

Серым туманным утром прибыла я в незнакомый мне, величественный город и долго разыскивала по указанному адресу Федора. Наконец очутилась я на какой-то «черной лестнице», которая привела меня в кухню квартиры, где жил Шаляпин. С трудом объяснила я удивленной кухарке, что мне нужен Федор Иванович, на что она ответила, что он еще «почивает».

Я попросила разбудить его и сказать, что к нему приехали из Москвы.

Вскоре в кухню вошел его товарищ Паша Агнивцев, с которым он служил в Тифлисской опере, будучи еще совсем юным.

Наконец появился сам Федор. Он страшно удивился, увидев меня. Кое-как, уже по-русски, объяснила я ему, что приехала по поручению Мамонтова, что Савва Иванович приглашает его в

труппу Частной оперы и советует оставить Мариинский театр, где ему не дадут надлежащим образом проявить свой талант.

Федор призадумался: он боялся потерять работу в казенном театре, да и неустойку за расторжение контракта ему платить было нечем. Я сказала, что Мамонтов берет неустойку на себя.

— А вы, Иолочка, уезжаете? — спросил он меня.

— Нет, я остаюсь на зимний сезон, — ответила я.

Он этому страшно обрадовался и обещал, что если будет свободен по репертуару в театре, то приедет в Москву повидаться с Мамонтовым и товарищами.

Я простилась с Федором и вернулась в Москву, а дня через два приехал и он сам.

В тот же вечер были мы с ним в театре на «Фаусте». За кулисами нас радостно встретили друзья-артисты во главе с Мамонтовым, и все уговаривали Федора вступить в труппу театра.

Вопрос был решен положительно, и в ближайшие же дни Федор выступил в партии Сусанина. Он имел огромный успех. Это был его первый спектакль в Москве.

Он быстро завоевал признание московской публики и вскоре стал ее любимцем.

Почти все свои лучшие роли создал Федор на сцене Мамонтовской оперы и в том много обязан заботливому вниманию Саввы Ивановича.

Я проработала в Частной опере еще два сезона, ставила балеты, танцевала в «Коппелии», в роли Сванильды, а также выступала во всех оперных постановках как солистка.

Никогда не забуду мою первую встречу с С. В. Рахманиновым. Меня поразила его скромность, его благородство. В спектакле «Кармен», которым он дирижировал, я танцевала цыганский танец. Он заботливо спрашивал меня, подходят ли мне предложенные им темпы. Говорил он по-французски, и мы очень хорошо друг друга понимали. Более чуткого дирижера я не встречала за всю свою артистическую жизнь.

В 1898 году я вышла замуж за Федора, а в 1899 у меня родился сын — Игорь, и я навсегда оставила сцену, всецело отдавшись семье. С тех пор я живу в России, которую считаю своей второй родиной...»

ДОМА

Высокий, статный, мужественный — таким мне запомнился отец с детских лет. Двигался он пластично, мягко, но просто, без всякой позы, во всем была врожденная артистичность.

Он любил хорошо одеваться, но в этом не было подчеркнутости, франтоватости, а какое-то присущее ему умение красиво носить вещи.

Характер отца был таким, какой свойствен натурам с обостренной нервной системой. Одно настроение быстро сменялось другим. Он был подозрителен и доверчив, бесконечно добр и страшно вспыльчив. Впрочем, он быстро отходил, готов был признать свои

ошибки, страшно мучился, если кого-либо незаслуженно обижал, и примирению радовался, как ребенок. Ссоры его происходили обычно во время работы в театре. Отец был очень требователен не только ко всем участникам спектакля или концерта, но и к себе. По существу, он был почти всегда прав, но недовольство свое выражал нередко очень бурно, доходя до резкости. Впрочем, отец признавал этот свой недостаток, он объяснял его тем, что не может быть вежливым за счет «искажения Мусоргского или Глинки». Многие не прощали ему его несдержанности и становились его врагами. В минуты усталости и раздумий он повторял в отчаянии: «Я один, я один...» Это, конечно, относилось к косному театральному окружению, к людям с мелким самолюбием, ставившим личные обиды выше вопросов искусства.

В доме отец был человеком скорее скромным: он не любил никакой помпы, сторонился торгашей, купцов, не любил он и так называемое «высшее общество». Его тянуло к передовой интеллигенции того времени; к людям искусства, к писателям, художникам, артистам.

Это были: М. Горький, И. Бунин, Н. Телешов, С. Скиталец, Л. Андреев, Е. Чириков, В. Гиляровский и многие другие. Часто встречался и с И. Репиным, гостил у него в Куоккала, любил и ценил В. и А. Васнецовых, В. Поленова, восхищался М. Врубелем, впоследствии был в дружбе с Н. Клюдтом, А. Головиным, В. Мешковым.

С Н. А. Римским-Корсаковым (это был его любимейший композитор после Мусоргского) отец встречался реже, но очень любил исполнять его произведения. Из артистов был в дружбе с М. Дальским, И. Москвиным.

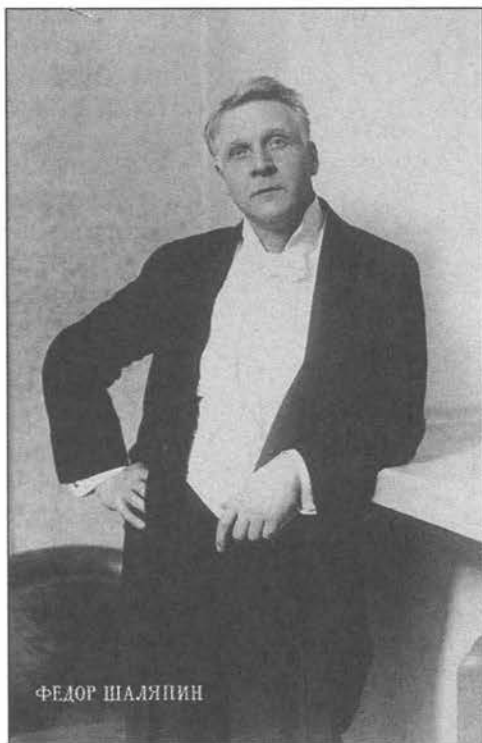
В последние годы в России отец сблизился с К. Пиотровским (ныне народный артист СССР К. Петраускас). С Киприаном Ивановичем Шаляпин встретился в Мариинском театре. Обратив внимание на его незаурядный талант и музыкальность, он много с ним работал и выступал. Любил отец также и П. Журавленко, артиста Мариинского театра, и с ним также проходил роли.

Популярность отца была огромна, его всегда и везде узнавали, да и как было его не узнать, когда его портреты были выставлены во всех магазинах, конфеты продавались в обертках с его изображением, был одеколон «Шаляпин», гребенки с надписью «Шаляпин» и т. д.

Словом, всюду напоминали о Шаляпине. Где бы отец ни появлялся, на него всегда обращали внимание. Вышли мы с ним как-то из дома, пройти по Большой Никитской до Никитских ворот; и вот во время всего нашего пути встречные люди то и дело здоровались с ним, называя его по имени и отчеству, отец каждый раз приподнимал шляпу и отвечал на поклоны.

Удивленная, я спросила:

— Папочка, неужели ты знаком со всеми?



ФЕДОР ШАЛЯПИН

*Фотография
из архива семьи
Озерских. Подарена
дочерью Шаляпина
Ириной Федоровной*

— Нет, никого не знаю, — ответил он. — Это так, какие-то милые люди здороваются со мной.

Однако публика интересовалась им не только как артистом, но и подробностями его жизни, внешним видом, костюмом и т. д. Вот почему он часто старался скрыться от преследующей его публики.

Будучи в Крыму — в Ялте, — мы с отцом зашли как-то в небольшой магазин на набережной. Он хотел купить себе шляпу. У магазина мгновенно собралась толпа народа. Оглянувшись и увидев сквозь витрину толпу, он встревоженно сказал приказчику: «Что-то, вероятно, случилось у вашего магазина, какое-нибудь несчастье?»

— Нет, Федор Иванович, это собрались на вас посмотреть! — улыбаясь, ответил приказчик.

Отец очень смутился и спросил, нет ли другого выхода из магазина. Выход нашелся, и мы потихоньку удрали.

* * *

Еще остался в памяти случай за границей, в 1928 году, когда я гостила у него на даче в St Jean de Luz на Французской Ривьере.

Пошли мы с ним прогуляться. Вышли из калитки и увидели, что у нашей дачи какой-то автомобиль потерпел аварию, попав в яму: дорога ремонтировалась.

Шофер никак не мог вытащить застрявшие задние колеса. Не долго думая, отец засучил рукава своего светлого костюма, подвернул брюки и пошел на помощь шоферу. Стали они вместе вытаскивать машину, а в это время прохожие останавливались с удивлением, улыбаясь, посматривали на отца. Вдруг он, оглянувшись, увидел толпу зевак и сердито сказал по-французски: «Господа, что же вы нам не поможете?»

И все сразу кинулись к нему.

— Мы так загляделись на вас, что забыли, что надо помочь...

Машину, конечно, тотчас же вытащили, ко всеобщему удовольствию. Шофер крепко пожал руку отцу и даже подвез нас к городу.

С. В. РАХМАНИНОВ

С Рахманиновым отец познакомился в Частной опере Мамонтова, где в 1898 году Сергей Васильевич работал как дирижер. С самого начала их знакомства между ними возникла дружба.

Сергей Васильевич восхищался талантом отца, его поразительной музыкальностью, необычайной способностью быстро разучивать не только свою партию, но и всю оперу целиком.

Он с увлечением занимался с Федором Ивановичем, стараясь привить ему хороший вкус, помогая разобраться в теории музыки. Лето 1898 года Федор Иванович проводил в имении С. И. Мамонтова в Путятине, близ станции Арсаки Северной железной дороги, где обвенчался с моей матерью. Шаферами у Федора Ивановича были С. В. Рахманинов и С. Н. Кругликов (известный музыкаль-

ный критик). У Иолы Игнатьевны — К. А. Коровин и Сабанин — артист Частной оперы Мамонтова.

Венчались в сельской церкви. День свадьбы был жаркий, июльский, и Федор Иванович предложил своей молодой жене ночевать на сеновале.

Утром молодые проснулись от страшного шума. У сарая пели, били в какие-то жестянки — словом, изображали шумовой оркестр. Когда отец выглянул из сарая, то увидел всех своих товарищей во главе с Саввой Мамонтовым. Этим импровизированным «джазом» дирижировал Сергей Васильевич Рахманинов. Потом всей компанией отправились в лес по грибы.

К обеду вернулись с огромными букетами цветов, и впоследствии Федор Иванович вспоминал:

«Было много вина и полевых цветов...»

В Путятине Федор Иванович работал над Борисом Годуновым, проходя роль с С. В. Рахманиновым, и внимательно прислушивался к его указаниям.

Сергей Васильевич очень ценил отца, даже гордился им. Федор Иванович восхищался Рахманиновым не только как пианистом, но и как дирижером и композитором.

Сергей Васильевич, как я уже писала, любил посмеяться, и, подметив у него эту черточку, Федор Иванович всегда старался придумать что-нибудь такое, чтоб повеселить своего друга.

Так, например, отец неподражаемо изображал, как дама затягивается в корсет или завязывает вуалетку. Это были любимые «номера» Сергея Васильевича.

Рахманинов, говорил отец, был единственный дирижер, с которым ему не приходилось спорить. Он был совершенно спокоен, когда Рахманинов был за пультом: у него всегда было все точно, осмысленно и вдохновенно.

Отец рассказывал, что лишь однажды у них с Рахманиновым случилась размолвка — это когда Сергей Васильевич написал музыку к «Скупому рыцарю». Музыка эта почему-то не совсем понравилась отцу. Он откровенно высказал свое мнение Сергею Васильевичу.

— Слова Пушкина здесь сильнее того, что ты написал, — сказал он.

Рахманинов обиделся на Федора Ивановича. Но все это продолжалось недолго, ибо оба они были истинными художниками и вопросы искусства ставили выше личных разногласий.

Дружба их вновь загорелась и согревала обоих до конца жизни.

А. М. ГОРЬКИЙ

Не было у отца более любимого друга, чем Алексей Максимович Горький.

Они познакомились в Нижнем Новгороде, осенью 1900 года, в ярмарочном театре. Отец пел Сусанина, Горький в антракте представлялся отцу.

— Вот хорошо вы изображаете русского мужика, — сказал он.

— Стараюсь возможно правдивее изобразить!

С этого дня и завязалась между ними долгая, глубокая и искренняя дружба.

Екатерина Павловна Пешкова — жена Алексея Максимовича — рассказывала мне, что чуть ли не в первый день их знакомства отец приехал к ним на Канатную улицу в дом Лемке, где за ужином просидел с Алексеем Максимовичем и его семьей до утра.

Дружба Алексея Максимовича и отца росла и крепла. Отец был влюблен в Горького, преклонялся перед его умом и знаниями. Ему только открывал он до конца свою душу, с ним советовался, у него искал в тяжелые минуты опоры и защиты; об этом красноречиво говорит их переписка. Слово Горького было законом для отца. Горький в свою очередь горячо восхищался могучим, самобытным талантом Шалапина, стремился расширить его общественный кругозор, ценил и любил в нем прямоту, широту, отзывчивость, вечно мятущуюся натуру.

<...>

Много в то время было сделано Горьким для народа, для улучшения быта рабочих и обездоленных людей, и всегда отец шел навстречу просьбам Алексея Максимовича, выступал в концертах и помогал чем возможно.

Неоднократно, при разных обстоятельствах, отцу удавалось оказывать Горькому то или иное внимание, брать на себя те или иные необходимые хлопоты... Об этом говорит их переписка.

Скажу только, что когда Алексей Максимович в письме писал: «Хлопочи, дружище», — то, конечно, «дружище» хлопотал горячо и часто добивался положительных результатов.

Алексей Максимович ввел отца в общество писателей, с которыми отец подружился. Это были в основном молодые силы. Собирались они в квартире Телешова на традиционные «Среды». Здесь читались новые произведения, делились своими мыслями, идеями.

Общение с писателями имело благотворное влияние на развитие отца. Федор Иванович любил петь на этих вечерах.

Горький редко бывал в столице, царское правительство высылало его то в один, то в другой город. Отец глубоко возмущался преследованиями Горького, всегда старался помочь ему и никогда не порывал с ним связи.

В свою очередь Алексей Максимович, даже будучи в ссылке, не переставал следить за ростом отца и радоваться его успехам.

В 1921 году Горький уезжает за границу, вслед за ним едет и отец на гастроли. Его выступления за рубежом в оперном и в концертном репертуаре проходят с блестящим успехом. Но он попадает в руки опытных дельцов, частных предпринимателей, которые ловко эксплуатируют его, опутывая контрактами на длительное время. Связь с Горьким становится слабее, иногда совсем прерывается.

Алексей Максимович возвращается на родину. Отец узнает об этом случайно. Это производит на него огромное впечатление; он начинает всем сердцем мечтать о встрече с Горьким, надеясь, быть



Ф. И. Шалапин
1910-е годы

может, с помощью своего друга разрешить мучившие его противоречия, разорвать опутавшие его сети. Отец всегда в душе стремился вернуться на родину; со временем он все больше начинал понимать, что, плохо разбираясь в политических вопросах, он совершил серьезную ошибку, оставив Россию. Однако окружавшая среда, действуя в личных интересах, всячески старалась воспрепятствовать его возвращению.

В 1928 году, гостя у отца в Париже, я была свидетельницей того, с каким величайшим волнением и нетерпением он ожидал приезда Горького из Советского Союза. Отец знал, что Горький не одобряет его долгого пребывания за границей и осуждает его. Страстно стремился отец к своему другу, ждал его советов, так часто поговаривавших ему в прошлом.

На камине в столовой у Федора Ивановича стояла бронзовая индийская статуэтка, принадлежавшая Горькому. Он то и дело подходил к камину, брал статуэтку в руки и все приговаривал: «Вот придет Алеша, и я ему отдам. Это же его вещь, я должен лично ее вернуть...»

Я понимала, что маленькая бронзовая вещица потому так притягивала отца, что в ней он видел предлог для встречи с Горьким. Но, к великому горю Федора Ивановича, Алексей Максимович не приехал тогда в Париж.

НА ОТДЫХЕ

Отец путешествовал много и часто. Можно сказать, что он объездил весь мир.

Был он и в северных странах — Норвегии, Швеции; был и на юге — в Италии, Испании, побывал в Африке и Австралии.

Но никакие ландшафты заморских стран не могли вытеснить из его сердца любовь к родному русскому пейзажу. Всегда, когда являлась возможность отдохнуть, отец стремился быть как можно ближе к природе. Наша русская деревня действовала на него всегда благотворно. Здесь ему легко дышалось, забывались условности «света», жилось просто и радостно.

Часто ездил отец к своему другу, художнику Коровину Константину Алексеевичу, на станцию Итларь Северной железной дороги. В трех верстах от станции, на берегу реки Нерль, в 1905 году Константин Алексеевич построил небольшую дачу, где он подолгу жил, писал картины, этюды, делал эскизы к декорациям и костюмам для спектаклей Большого театра.

Природа Ярославского и Владимирского краев необычайно хороша. Недаром сюда стремились многие художники.

Я еще застала время, когда делались облавы на медведей и волков, в чаще дремучего «казенного» леса водились глухари и тетерева, можно было напасть на лосиные тропы, где еще недавно, задевая могучими рогами за деревья, пробегали лоси. Заросшие тиной болота с легкой дымкой туманов над заводами, скрывавшие много диких уток, и небольшая, но богатая рыбой речка Нерль привлекали охотников и рыболовов.

Однажды глубокой осенью отец и Серов решили ехать в Итларь к Коровину на ловлю рыбы острогой. Взяли и меня с собой. Было мне тогда лет десять, но все осталось необычайно живо в моей памяти.

Как сейчас помню наш приезд в Итларь. Вижу Серова, Коровина и отца в меховых сусликовых куртках, в таких же шапках, в высоких охотничьих сапогах; они готовятся к ловле.

Помню холодную, темную ночь, извилистую причудливую Нерль с заледенелой у самого берега водой и медленно скользящие по ней плоскодонки с воткнутыми на носу железными трезубцами, на которых ярким пламенем горит «смолье», освещающее дно реки, где, словно застывшие, неподвижно стоят сонные щуки.

Ловким движением «рыболовы» — отец и Коровин — вонзают острогу в рыбу, вытаскивают ее, еще трепещущую, и сбрасывают на дно плоскодонки, а затем снова зорко вглядываются в поросшее травой дно, выискивая новую жертву.

Наловив много рыбы и основательно продрогнув, мы причаливаем к берегу, где нас уже ждет с тарантасом «Руслан», как метко прозвал отец крестьянина деревни Любильцево Василия Абрамова за его статный рост, русую бороду, шапку кудрявых волос и синие, как васильки, глаза.

Но вот мы и дома. На даче уютно и тепло. Горят наскоро воткнутые в пустые бутылки свечи. От деревянных стен пахнет смолой, и так приятно выпить чаю с горячим молоком, а потом погреться у жарко натопленной печи.

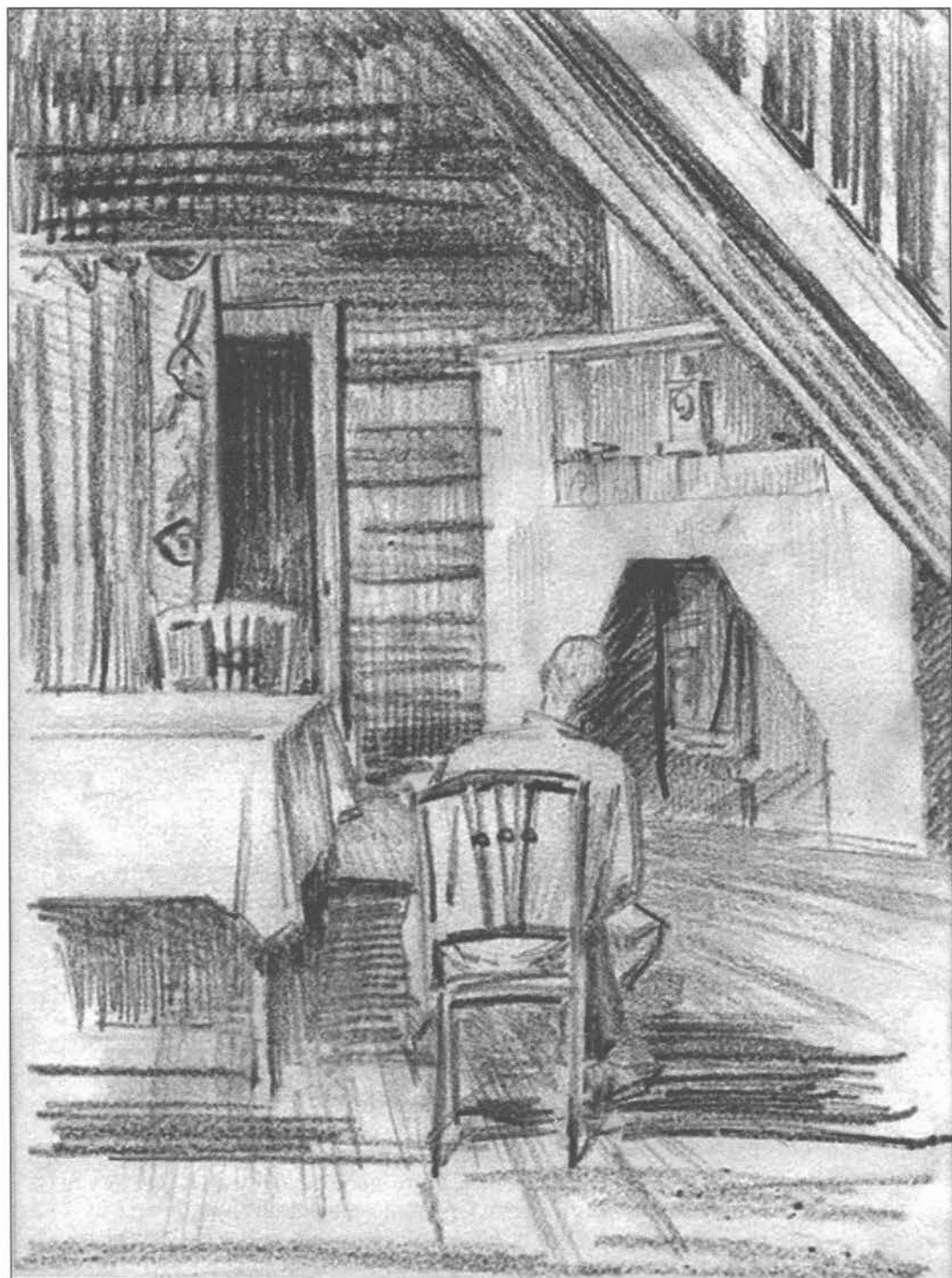
Серов, всегда любивший подзадорить кого-либо, немного подсмеивается над умаявшимся, лежащим на железной кровати и укрытым овчиной Коровиным, беседующим о разных рыболовных делах с крестьянином Василием Князевым. И тут же, вдохновленный всей обстановкой и подстрекаемый отцом, Серов пишет чудесный этюд «Разговор о рыбной ловле и прочем», удивительно передав сходство Коровина и настроение момента.

Отца все больше и больше начинает привлекать красота природы, и наконец он покупает участок земли — Ратухинскую пустошь, ныне именуемую «Шалыпинской».

Этот участок был расположен на высоком берегу речки Нерль. Место исключительно живописное. Кругом лес — сосновый и смешанный, напротив — через речку — заливной луг и дальше снова лес.

Решив построить дачу, отец обратился за советом к своим друзьям-художникам, и вот в скором времени по рисункам Коровина и Серова строится дача...

Дачу решено было строить деревянную. Плотники — братья Чесноковы — привезли замечательный строевой лес, славившийся в Ярославской губернии. И началась стройка. Никакого определенного стиля она не имела. Здесь полностью властвовала фантазия художников, и получилось нечто совершенно своеобразное, а потому интересное: были и своды в стиле русских теремов, и много балконов, и терраса. Внутренние комнаты — большие, с огромными окнами, столовая — двухсветная, с выложенным мамонтовской майоликой камином. Деревянная лесенка из столовой вела



Неизвестный художник

Интерьер дачи Шаляпина в Ратухине

1910-е годы

Из фондов Переславль-Залесского музея-заповедника

Публикуется впервые

прямо наверх, на антресоли, куда выходила дверь из комнаты отца. Из окон террасы открывался чудный вид на речку Нерль.

Дача была построена комфортабельно. Обстановка простая, преобладали кустарные изделия — занавески, половички. Много было и мамонтовской майолики, особенно ваз, в которых всегда стояли букеты полевых цветов.

Кроме основного дома в полуверсте от него находились еще две небольшие дачки для гостей. Но все же усадьба была скромная. Никакого особого хозяйства у нас не было. Главное, чему отец уделил внимание, — это баня. Построена она была добротно, всё из той же ярославской строевой сосны. Отец страшно любил париться в бане и приглашал своих товарищей разделить с ним это удовольствие. Даже в Москве он был постоянным посетителем Сандуновских бань и ходил туда с целой компанией приятелей, а потом иногда заходил в «трактир» (так называл он ресторан «Эрмитаж»).

Будучи за границей, он хотел около своей дачи построить баню и страшно негодовал, что иностранные архитекторы не умеют сложить печку-«каменку», а потому просил меня прислать ему чертеж «простейшей русской бани».

У себя в комнате Федор Иванович поставил столярный станок и купил инструментов. Столярничал, впрочем, недолго и переключился на рыбную ловлю и охоту. Здесь инициатива находилась в руках К. А. Коровина, который был страстным рыболовом и охотником. Знаю случай, когда Константин Алексеевич, побывав в Париже, привез оттуда не что иное, как спиннинг и преискурант всевозможных крючков и поплавков...

Отец стал ходить на охоту с Коровиным. Но однажды, увидев взлетевшего тетерева, он в азарте так близко выпалил от Коровина, что тот поклялся больше с «Федором на охоту не ходить».

— Черт его знает, с его темпераментом он меня, пожалуй, за куропатку примет!

Коровин вообще был довольно мнителен. С тех пор их совместная охота прекратилась. Правда, спустя много времени я, однажды гуляя у речки, услышала невероятную пальбу. Пройдя немного дальше, я увидела человека, на огромном расстоянии стрелявшего в поднимающуюся стаю уток. Я узнала отца и, приблизившись к нему, нашла его смущенным и сердитым.

— Черт его знает, никак не попаду ни в одну утку... — говорил он мне.

— А ты верст за десять стреляй, тогда наверняка пристрелишь, — съязвила я.

— Ну, ладно, хватит! — отрезал он.

Мы пошли домой. С этого дня отец стал ездить на охоту только с местными егерями и «квалифицированными» охотниками, но и то редко; а вот рыбная ловля стала его привлекать все больше и больше, и он частенько ездил с К. А. Коровиным, В. А. Серовым и архитектором В. С. Кузнецовым на мельницу «новенькую», где рядом в омуте водилось много крупной рыбы.

Отец и Коровин любили В. С. Кузнецова за его добродушие, широкую русскую натуру, но, подметив некоторую его мнительность, не раз над ним подшучивали и частенько его разыгрывали.

Собираясь на рыбную ловлю, отец и Коровин подговорили местного крестьянина Ивана Васильевича Блохина, чтобы он, подав тарантас, перепряг бы лошадь задом наперед, а сам вел бы себя, как обычно.

Отец и Коровин сели в тарантас и стали ждать замешкавшегося Василия Сергеевича. Наконец вышел и Кузнецов. Подойдя к тарантасу, он остановился в изумлении.

— Что это такое? — спросил он, указывая на лошадь. Отец и Коровин, сделав невинные лица, переспросили:

— Что такое?

— Да лошадь-то!.. — как-то неуверенно засмеялся Кузнецов.

— Васенька, милый, ты что? — озабоченно спросил Константин Алексеевич.

— Да в чем дело, Василий, садись скорее, а то опоздаем на ловлю, — «нервничал» отец.

— Бросьте, бросьте, — ворчал Василий Сергеевич.

— Да ты что, пьян, что ли? — в один голос твердили отец и Коровин, а Блохин, сидя на козлах, подыгрывал им, причмокивая языком и понукая лошадь: «Стой-стой, говорят, не балуй!..»

— Да что же, лошадь-то задом наперед, хе-хе-хе... — неуверенно смеялся Кузнецов.

Отец, Коровин и Блохин тревожно переглядывались.

— Васенька, тебе что-то нездоровится. Ты, батюшка, что-то того... — слезливо и жалостливо тянул Коровин.

Тут уже Василий Сергеевич не на шутку испугался, и, только увидев его изменившееся от страха лицо, отец и Коровин начали без удержу хохотать над бедным «Васей-Догом», как они прозвали его за огромный рост.

Всё это рассказали мне отец и Коровин однажды за вечерним чаем.

Рыбной ловлей отец продолжал сильно увлекаться и часто ездил с Коровиным и Серовым на мельницу к Никону Осиповичу. Как-то рассказывал мне Константин Алексеевич: поехали они всей компанией ловить рыбу. Поставили палатку на лужайке около реки, в этой палатке и жили несколько дней.

Однажды, в то время, когда Коровин и Серов писали этюды,



*И. В. Блохин, кучер
Шаляпина в Ратухине
Из фондов
Переславль-Залесского
музея-заповедника
Публикуется впервые*

отцу удалось поймать большого шелеспера, но, когда он хотел посадить его в «сажалку», шелеспер выскользнул из рук и упал в воду. Отец до того разгорячился, что, недолго думая, прыгнул за ним в речку, потом вынырнул и закричал Коровину:

— Черт тебя возьми, что за «сажалка», у нее же дыра мала!

Серов и Коровин долго издевались над отцом, над тем, что «шелеспера ему больше не поймать...».

Константин Алексеевич много рассказывал о разных приключениях отца. К сожалению, я уже вспомнить не могу, но вот еще один рассказ.

Как-то приехали отец с Коровиным на омут ловить рыбу и на мостике увидели священника из ближайшего села, также пришедшего попытать счастья в улове.

Отец с Коровиным решили выжить непрошеного рыболова и придумали следующее: где-то достали они большой бычий пузырь, надули его. Коровин нарисовал глаза, рот с огромными зубами, прикрепил к пузырю водоросли и привязал веревку с грузилом.

Придя в сумерки на омут, они снова увидели священника, раскинувшего над водой удочки. Тогда они спрятались в кусты, а пузырь опустили на дно реки.

И вот видят: батюшка пристально смотрит на воду, на поплавки...

Коровин шепнул Федору Ивановичу:

— Тащи веревку!

Отец дернул, и из воды вынырнула огромная страшная голова...

Священник, бледный от страха, вытащил удочки. В это время последовала команда Коровина, и отец снова дернул веревку. Голова ушла под воду.

Священник, сплюнул, но, видимо, решил, что это ему показалось. Он снова закинул удочки, а отец снова повторил маневр, — и опять над водой заколыхалась страшная рожа...

Тут уж батя не выдержал, побросал удочки, подхватил подрясник обеими руками и бросился без оглядки бежать домой. Больше удить сюда никто уж не приходил, а слух о «водяном», живущем в омуте, разнесся по всей округе.

«Водяные» — отец и Коровин — завладели омутом, и уловы были богаты и хороши.

Так в шутках проводили свой отдых отец и его друзья-художники.

ВСТРЕЧА ОТЦА

Летом, живя в имении, мы, дети, всегда с нетерпением ждали приезда отца, который обычно в это время гастролировал.

Однажды, узнав, что отец скоро приезжает, нам пришлось в голову устроить ему особую встречу; купив ситца, мы сшили себе сарафаны, косоворотки и заказали на деревне сплести лапти.

В день приезда отца мы рано утром всей гурьбой отправились в лес, наломали веток, набрали хвои, сплели гирлянды из полевых цветов. Успели набрать полную корзину грибов и даже сбегали на речку, где наловили раков.

Зеленью и цветами украсили мы парадное крыльцо и входную дверь. А когда тарантас с запряженным в него любимым конем Федора Ивановича «Дивным» отправился за ним на станцию, быстро переодевшись в свои наряды, мы двинулись навстречу отцу. Миновав ближайшую деревню Старово, мы сели у дороги и с нетерпением стали глядеть вдаль. Наконец до нас донесся звон буенцов и поскрипывание колес.

Вскоре на дороге поднялось облако пыли, а через несколько мгновений можно было уже ясно различить тарантас и сидящего в нем отца.

Мы бросились навстречу и загородили дорогу. Лошадь остановилась. Низко кланяясь, наша братва хором закричала:

— С приездом, Федор Иванович!

Первая подошла я — с корзиной, в которой еще шевелились живые раки.

— Не побрезгуй деревенским подарочком, прими, отец.

А за мной младшая сестренка Таня тоненьким голоском пропищала:

— А вот и грибочки, свежие, только что из лесу...

Мальчишки — Боря и Федя — вскочили на подножку тарантаса и, прежде чем отец успел узнать нас, бросились к нему на шею.

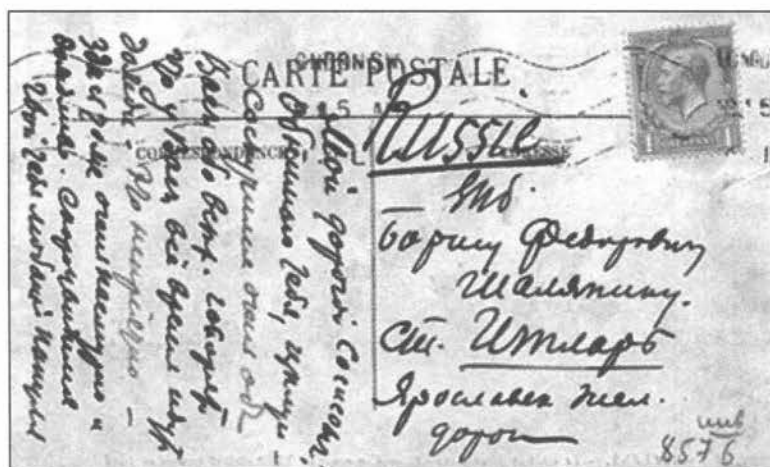
Отец был в восторге от нашей затеи. Целовал всех по очереди, называя сестренку Таню «Мочалкой» из-за ее русых волос, а братишек «Пузрасшками».

Посадив младших детей в тарантас, он хотел, чтобы и мы с сестрой Лидой как-нибудь уместились, но это оказалось невозможным, и мы убедили отца, что отлично дойдем до дома пешком.

Когда мы вернулись на дачу, все семейство уже сидело за чаем на террасе. На столе, покрытом кустарной скатертью, красовались «ярославские туболки» (пироги с творогом), свежая земляника, варенье. Почетное место занимала большая глиняная крынка с топленным молоком, рядом лежала деревянная ложка. Отец очень любил топленое молоко и просил, чтоб его подавали в крынке и разливали бы деревянной ложкой. Он говорил, что это напоминает ему детство, когда он жил в деревне Ометово под Казанью и где в праздничные дни мать угощала его топленным молоком.



Шаяпин со своими детьми в Ратухине
Из фондов
Переславль-Залесского
музея-заповедника



Открытка Шалапина сыну Борису в Итларь из Санкт-Петербурга: «Мой дорогой сосисон. Обнимаю тебя, целую — соскучился очень об вас обо всех. Говорят, что у вас все время идут дожди. Это неприятно — здесь тоже очень пасмурно и дождливо. Скоро увидимся. Твой тебя любящий папуля»
Из фондов
Переславль-Залесского
музея-заповедника
Публикуется впервые

После чая брат Борис сбегал к себе в комнату, принес пару прекрасно сплетенных огромных лаптей и торжественно вручил их отцу, который был в восторге от нашего подарка:

— Вот это вы меня уважили! Ну, а теперь и я вам кое-что принесу, я тоже привез вам подарки.

Забрав лапти, он ушел к себе. И вдруг на деревянной лестнице, ве-

дущей из комнаты отца в столовую, в серой чесучовой косоворотке, подпоясанной шнуром, в онучах и лаптях появился русский мужик, богатырь в полном смысле этого слова. Это был отец.

Мы дружно зааплодировали ему, а он спустился к нам и стал раздавать подарки.

Кто-то из гостивших у нас друзей предложил сняться на память. Эти снимки сохранились и поныне.

А вечером состоялся спектакль, приготовленный нами специально для отца. Гостей набралось со всех ближайших деревень. Не все, конечно, попали на спектакль, но фейерверк, иллюминацию и бенгальские огни видели все. Пьеса, которую мы показали, была написана моей сестрой Лидой, декорации и костюмы мы тоже мастерили сами. Спектакль наш имел успех и у отца и у гостей. Мне живо запомнился этот яркий и праздничный день!

Весть о приезде Федора Ивановича быстро распространилась в округе, и крестьяне ближайших деревень — Старово, Любильцево, Охотино — приходили поздравить его с приездом и побеседовать с ним о своих деревенских делах.

Особенно подружился отец с крестьянами после пожара, случившегося в деревне Старово. Он помогал мужикам бороться с огнем, и пожар был довольно быстро прекращен, но отец пришел домой с обожженными руками. Местная команда прислала ему значок пожарника.

После этого случая крестьяне часто приходили к Федору Ивановичу и, сидя на крыльце или на террасе, вели с ним длинные душевные беседы.

ПИКНИК

Одним из наших любимейших деревенских удовольствий были пикники.

Рано утром к даче подавалась линейка, запряженная парой лошадей. За ней подъезжал тарантас-шарабан, плетеный, крытый черным лаком, набитый душистым сеном, в который впрягалась лошадедка нашего общего любимца — деда Емельяна из деревни Старово.

На линейку усаживались малыши и гости; в тарантас садились отец с матерью, а на телегу, нагруженную всякими кулками, самоваром, посудой, вскарабкивались мы, старшие дети. И наконец все двигались в путь.

Ездили мы чаще всего на наше излюбленное место «Обрыв», где природа была необычайно живописна. Высокий берег реки Нерль круто обрывался. Река, извиваясь среди лугов, терялась вдали, где виднелся сосновый лес. Пахло хвоей, цветами, осокой.

Прямо на траве стелили огромную скатерть, на которую складывали всё привезенное. Особенно любили мы ставить самовар. Для этого набирали сухих еловых шишек, а отец стругал лучинки, заправлял их, клал в самовар и, накрывая его сапогом, раздувал пламя.

Усевшись на траве вокруг самовара, мы с особенным наслаждением уплетали деревенские сласти, запивая их горячим чаем. Отец рассказывал нам были и небылицы, на что он был большой мастер.



*Шаляпин
в кругу
семьи на
веранде дачи
в Ратухине
Из фондов
Переславль-
Залесского
музея-
заповедника*

Иногда мы просили его рассказать о своем детстве, о Казани. Тут он вспоминал, как ходил в «ночное» стеречь лошадей, или объяснял нам, как играть в игру «шар — мазло», «свайка».

Потом шли купаться. Все плавали довольно хорошо, но отец плавал как-то особенно красиво, «саженками». Выбрасывая вперед руки, он ловко ударял ладонями по воде, ритмично и четко. Накупавшись вволю, все снова шли к обрыву и, когда сгущались сумерки, зажигали огромный костер, через который с разбегу прыгали. Но отцу благодаря его огромному росту прыгать не приходилось, он просто перешагивал через костер, вызывая этим восторг всех ребят.

Когда становилось совсем темно, мы ходили собирать светляков и насаживали их в волосы отца и бороду деда Емельяна.

С обрыва уезжали уже ночью. Усевшись в свои экипажи, с шутками и смехом, усталые, но счастливые, мы возвращались домой под таинственный шум леса, веселый звон бубенцов и удалую русскую песню.

БОРИС ГОДУНОВ

Самыми трудными днями для нашей семьи были дни концертов и спектаклей отца. В такие дни он очень нервничал, тут уже надо было стараться не попадаться ему на глаза. Нам, ребятам, в эти минуты иной раз доставалось ни за что ни про что. Но мы не обижались, зная, что причиной этого — сильное нервное возбуждение отца перед спектаклем.

Так было и в тот день, о котором я пишу. С самого утра он, «попробовав» голос, решил, что он не звучит; дальше пошли жалобы на «судьбу», на то, что никто его не понимает, не сочувствует, что публика ни за что не поверит его недомоганию. «Даже если бы я умер, все равно не поверили, сказали бы — кривляется».

Своему секретарю и другу Исаю Дворищину отец заявил, что петь не может — болен, и просил его немедленно позвонить в Большой театр и отменить спектакль «Борис Годунов». Исай в ужасе вышел из его спальни.

Увидев его в коридоре расстроенного, я спросила:

— Что случилось?

— Отказывается петь Бориса. Что же это будет?

— Исай Григорьевич, умоляю вас, воздействуйте на папу, вам это иногда удается лучше, чем кому-либо.

— Нет, сегодня ничего не помогает, никакие мои «номера» не проходят, сердится, нервничает... Удеру-ка я в Большой театр, но отменять ничего не буду, подождем до вечера.

И Исай — удрал!

Мрачно побродив по комнатам, подразнив Бульку и сыграв несколько партий на бильярде, отец успокоился и часа за два до спектакля подошел к роялю и стал распеваться.

Я потихоньку подошла к дверям зала, прислушиваясь. Голос отца звучал хорошо. Вдруг он встал, вышел на середину зала и спел первую фразу из партии «Бориса Годунова».

«Скорбит душа...». Эта фраза для него всегда была камертоном к «Борису Годунову». Если она у него звучала, он спокойно шел петь.

— Исайка! — вдруг загремел отец на всю квартиру.

Я вошла в зал.

— Исая нет, он уехал в Большой театр отменять спектакль.

Отец растерялся.

— Неужели отменять?.. Знаешь, голос-то звучит недурно, я, пожалуй, спел бы, — проговорил он с виноватым видом.

— Ну и знает же тебя Исай! — рассмеялась я. — Представь себе, он спектакля не отменял, а просто скрылся с твоих глаз, чтобы ты его не терзал...

— Молодец Исай, — радостно воскликнул отец. — Ну, тогда... Василий, одеваться!

Через полчаса он был готов. У подъезда его ждала машина.

— Можно мне с тобой? — спросила я.

— Что ж, пожалуй, можно. Хоть ты и шестиклассница, а «рвань коричневая», — смеясь, шутил он. Я носила коричневую гимназическую форму.

Быстро сбегав к себе в комнату, я успела лишь надеть белый фартучек (парадная форма гимназистки) и побежала в переднюю. Отец уже выходил на крыльцо. Мы сели в машину и быстро покатили к Большому театру. У входа стояла громадная толпа, это были люди, не доставшие билетов, но все еще надеявшиеся попасть на спектакль. Накануне еще, проходя по Театральной площади, я видела огромный хвост — очередь в кассу; охраняя порядок, кругом стояла конная полиция. Были морозные дни, и народ, чтобы согреться, разводил около театра костры. Действительно, надо было обладать большим мужеством и огромной настойчивостью, чтобы выстаивать такие очереди, иной раз безрезультатно, так как, конечно, всех желающих театр вместить не мог.

Подъехав к театру со стороны артистического подъезда, мы увидели группу молодежи, которая шумно приветствовала отца. Он отвечал поклонами.

В артистической уборной все уже было готово к приходу Шалыпина. Костюмы аккуратно развешаны, грим разложен на столе с трехстворчатым раскладным зеркалом. Рядом — стакан для чая и нарезанный кружочками лимон. Отец любил пить чай во время спектакля.

Нас встретил Исай Григорьевич. Федор Иванович пожурил его за то, что он исчез, но тот ответил, что всё благополучно, все на местах, ждут лишь его.

Отец разделся по пояс и стал гримироваться. Рассказывая всякие забавные анекдоты, он начал накладывать на лицо грим, при этом он не разрисовывал его, а клал краски широкими мазками, точно лепил свое лицо. Кисточек он не признавал, пользовался растушевками и преимущественно накладывал грим пальцами — резкими контрастными мазками. Вблизи это казалось несколько хаотичным, но стоило отойти на несколько шагов, как лицо приобретало особую выразительность.

К этому времени появился в уборной Гаврила, парикмахер. Отец сам надел парик и стал приклеивать бороду, предварительно растрепав ее.

— Опять ты мне бороду как-то особенно завил кольцами, — сказал отец Гавриле.

— Старался для вас, Федор Иванович.

— Ну, и «перестарался», — добродушно посмеивался отец.

Вбежал Исай Григорьевич, взволнованный и красный.

— Федор Иванович, можно давать первый звонок?

— Можно, но почему у тебя запаренный вид?

— Ой, холера на мою голову, — отвечал Исай, — ваши поклонницы меня замучили, те, что не достали билетов. Я их рассовал по всему театру.

— Ну да, мои поклонницы, — небось сам ухаживаешь, вот так тебе и надо, — шутил отец.

Но вот третий звонок. Я бегу в зрительный зал. Он выглядит сегодня особенно празднично. Публика самая разнообразная: в партере, ложах бенуара и бельэтажа — роскошные туалеты московских красавиц соперничают с блеском военных мундиров, торжественностью фраков и смокингов.

Дальше идет менее нарядная публика, но более восторженная и взволнованная, а в верхних ярусах — студенты и курсистки, любимая публика Федора Ивановича.

Поднялся занавес, и под колокольный звон, «ведомый под руки боярами», из правой кулисы появился царь Борис.

Грянули аплодисменты, и вдруг сразу все замерло. Сотни глаз, биноклей, лорнетов, не отрываясь, смотрели только на одного человека: на Шалаяпина — Бориса.

Царственной поступью прошел он по помосту, крытому красным сукном, дошел до середины и вдруг повернулся лицом к публике.

Мудрое, отмеченное какой-то еле уловимой скорбью лицо, лицо страстное и волевое, «черные волосы и борода, глаза молитвенно подняты к небу, в левой руке посох, правая опущена в смиренном жесте...».

— Скорбит душа... О праведник, о мой отец державный...

С первых же нот слышится в голосе Бориса — Шалаяпина затаенная тревога.

Я вспомнила, как дома отец распевался на этой фразе, — теперь понятно было, что она действительно была ключом к роли.

Кончился пролог. Замолкли звуки оркестра, и снова загремел аплодисментами театр. Дрогнул занавес, и из кулисы, направляясь к авансцене, вышел Шалаяпин. Ему устроили овацию.

Зная, что в последующих картинах Федор Иванович не занят, я побежала к нему в артистическую уборную. Он уже «разоблачился», сидит перед зеркалом у стола в атласных шароварах и белой шелковой рубашке, с открытой грудью, на ногах мягкие сафьяновые сапожки, сшитые из разноцветных кусочков кожи, — ичиги.

Ф. И. Шалаяпин в роли
Бориса Годунова
Рисунок К. Ф. Юона



— Аринка?! Ну, иди, рассказывай, кто сегодня в публике, — обратился он ко мне улыбаясь.

— Да самая разнообразная, не успела разглядеть, побежала к тебе.

— Да, можно передохнуть... Хочешь чаю?

— Нет, спасибо!

Он пил чай с таким наслаждением, как будто это был какой-то необыкновенный напиток.

— Знаешь, пока никого нет, сыграем в «шестьдесят шесть».

— Что ты, папочка, как можно? — смутилась я.

— Ничего-ничего, я тебя быстро обыграю...

И, оглядываясь, как проказник-мальчишка, он вытащил из столика карты.

Я была поражена, как же так: Борис Годунов — и вдруг «шестьдесят шесть»?! Я посмотрела на него. Может быть, шутит? Нет, он быстро стасовал колоду и стал сдавать карты.

Сквозь грим «Бориса» я вдруг уловила столь знакомое лицо отца, оно было сосредоточенно. Ему везло, и он быстро обыграл меня «всухую». С радостным смехом бросил он карты на стол.

— Эх ты, не умеешь играть в карты, дуреха!

А мне было приятно проиграть отцу.

Вошел китаец Василий, а за ним вбежал Булька. Булька был своего рода знаменитостью, его знала добрая половина Москвы, отец с ним не разлучался и даже возил с собой за границу. Отец начал забавляться с собакой, дразнить ее. В конце концов Булька залаял.

На пороге появился Исай Григорьевич.

— Федор Иванович, что вы делаете? Во-первых, лай Бульки слышен на весь театр; во-вторых, пора одеваться к третьему акту.

— Да, действительно, — спохватился отец. — А где же Гаврила!

Как из-под земли, держа новый парик в руках, вырос Гаврила. Отец осмотрел себя в зеркало, надел парик, приклеил новую бороду, поправил грим, сделав себя несколько старше, и быстро надел поданный ему черный, атласный, шитый серебром кафтан с малиновыми отворотами, подпоясав его широким кушаком. В этом костюме он был необычайно мужествен и красив.

— Ну, а теперь — тихо! — обратился он ко мне. — Я подумаю.

Он сел в кресло перед зеркалом. Сначала я не заметила ничего особенного, но постепенно его лицо начало меняться. Подозрителен и беспокоен стал его взгляд. Горькие складки легли в углах рта, сурово сдвинулись брови. Это уже был не отец, только что обыгравший меня в «шестьдесят шесть». Это был царь Борис...

Я не хотела мешать и потихоньку вышла из уборной.

Третий звонок. На этот раз я пошла в ложу дирекции. Я всегда любила близко смотреть акт в тереме. Особенно сцену с «курантами» — сцену галлюцинации.

Я заглянула в зрительный зал... Было в нем что-то торжественно-праздничное, было именно то, что нравилось отцу.

Вступил оркестр... Открылись внутренние покои царского терема. Царевна Ксения горюет о мертвом женихе. Царевич и мамка играют в «хлѣст», развлекая царевну.

Московский критик Ю. Д. Энгель писал о Шаляпине в роли царя Бориса: «Начиная с грима и кончая каждой позой, каждой музыкальной интонацией, это было нечто поразительно живое, выпуклое, яркое. Перед нами был царь величавый, чадолюбивый, пекущийся о народе и все-таки роковым образом идущий по наклонной плоскости к гибели благодаря совершенному преступлению, словом, тот Борис Годунов, который создан Пушкиным и музыкально воссоздан Мусоргским».

Внезапно распахивается дверь, и на пороге ее вырастает могучая фигура Бориса. Мамка бросается перед ним на колени.

— Аль лютый зверь наседку всполохнул! — с какой-то горечью произносит он.

Затем медленно подходит к дочери, ласково и бережно обнимает ее... «Дитя мое, моя голубка...»

После ухода Ксении обращается к сыну, берет его за подбородок, внимательно смотрит ему прямо в глаза: «Учись, мой сын!..» Он пел душевно, проникновенно и пророчески звучала фраза: «Когда-нибудь, и скоро может быть, тебе все это царство достанется...»

Борис остается один.

«Достиг я высшей власти...».

Тихо начинает он этот монолог, как бы разговаривая с самим собой. Постепенно отчаяние охватывает его. Борис видит, что деяния его не привели к добру. «Глад и мор, и разорение...» Грудь его дышит тяжело, взволнованно ходит он по терему и в изнеможении падает в кресло. «О господи... боже мой!»

«Гонец из Кракова!» — докладывает ближний боярин. После этой фразы артист что-то замешкался и, видимо, спугнул реплику.

Помню, как грозно посмотрел на него Федор Иванович. Встав во весь рост, он властно стукнул кулаком по столу: «Гонца схватить!!» — и вдруг, неожиданно нагнувшись к боярину, сказал тихо, но так, что я, сидевшая в ложе у самой сцены, слышала отчетливо: «...И роль выучить!..»

Публика, конечно, ничего не заметила. Далее идет сцена с Шуйским.

Удивительно произносил Шаляпин при появлении лстивого царедворца: «А, Шуйский?!» Сколько было в одном этом слове язвительности, горестной насмешки и недоверия.

Допрос Шуйского: «Слыхал ли ты когда-нибудь, чтоб дети мертвые из гроба выходили допрашивать царей?..»

Яростно схватывает Борис Шуйского и в припадке неудержимого гнева бросает его перед собой на колени.

«Ответа жду!»

Шуйский растревляет душевную рану Бориса, повторяя подробности убийства Димитрия.

Из груди Бориса вырывается сдавленный крик: «Довольно!» Шатаясь, Борис едва успевает дойти до кресла и, почти теряя сознание, падает в него...

Небольшая пауза, — следует знаменитый монолог:

«Ох, тяжело, дай дух переведу!..» Призрак убитого Димитрия преследует болезненное воображение царя.

«Что это там, в углу... колышется, растет, близится...»

Здесь я услышала странный шум в зрительном зале; оглянувшись и увидела, что многие встали со своих мест и устремили взоры в тот угол, куда смотрел Борис.

Как затравленный зверь, мечется Борис по сцене, ползая на коленях, сжимая в умоляющем жесте руки, защищаясь, бросает в угол попавший ему под руку табурет. «Чур, чур, дитя, не я твой лиходей... воля народа... Чур!!!»

Борис на коленях, прижавшись спиной к столу, как бы пригвожденный к нему, с бледным, освещенным лунным светом, безумным лицом, подняв блуждающий взор к небу, молитвенно шепчет:

«Господи, ты не хочешь смерти грешника... помилуй душу преступного царя Бориса...»

Кончился акт. Не успел занавес опуститься, а в зрительном зале пронесся ураган от аплодисментов. Казалось, рушится театр. Занавес заколыхался, и, держа за руки своих партнеров, вышел на авансцену Шаляпин. Все зрители, как один человек, встали и долго, стоя, аплодировали. Это было торжественно, волнующе и незабываемо. На сцену вынесли огромные лавровые венки, украшенные лентами с надписями «Несравненному артисту...», «Гордости русского искусства», было много цветов, какие-то ценные подношения.

Я поспешила за кулисы и снова застала отца сидящим в кресле, ворот рубашки был расстегнут, крупные капли пота покрывали его лицо. Он был задумчив и сосредоточен. Я подошла к нему и обняла...

— Да, — протяжно произнес он, — беда!

— Что случилось?

— Не могут двух фраз выучить... Неужели это так трудно?

Я сразу поняла, что речь идет о «ближнем боярине».

— Ну, что же мне остается — ругаться? Нельзя, скажут: Шаляпин — хам. Завтра во всех газетах сенсация: «Шаляпин скандалит». Значит, терпи, а я вот не могу! — Он порывисто встал и стал ходить из угла в угол.

Я постаралась перевести разговор на другую тему.

— Знаешь, кого я видела в театре? Коровина...

Отец сразу просветлел.

— Костю? Да где же он? Найди его!

В ту же минуту дверь отворилась, и на пороге появился Константин Алексеевич, а за ним целая группа людей.

— Костя, дорогой!

Отец поднялся навстречу Коровину. Константин Алексеевич прищурил глаз, окинул с ног до головы Федора Ивановича и со свойственной ему отрывистой манерой произнес:

— Великолепно, это черт тебя знает что такое! Дай, я тебя обниму.

Он крепко обнял отца и поцеловал его в губы. Потом вынул платок и вытер набежавшие на глаза слезы.

За спиной Константина Алексеевича я разглядела писателя В. Гиляровского — «дядю Гиляя», его казацкое лицо светилось улыбкой, он тут же сочинил какой-то экспромт, — смешной, но слов уже не помню.

— Входите, входите, — обратился отец к остальным.

Вошло еще несколько человек — все друзья Федора Ивановича: критик Ю. С. Сахновский, артист М. И. Шуванов и другие. Поздравив отца с успехом, они задержались ненадолго, так как ему надо было подготовиться к последнему акту.



*Ф. И. Шаляпин
в роли Бориса
Годунова
Шарж из
английского
журнала*

- Аринка, проводи гостей, — обратился ко мне отец.
- Ну, Федя, идем тебе аплодировать! — улыбнулся Коровин.
- До свидания, Федор Иванович! До свидания!..

Все вышли и вернулись в зрительный зал. Последний акт начинается сценой в Боярской думе. Шуйский рассказывает боярам о галлюцинации Бориса. Неожиданно за сценой раздаются крики: «Чур, чур, дитя...»

*Постановка оперы
«Борис Годунов»
на сцене
Мариинского театра
Фотография начала XX в.*



И вот из глубины сцены, на площадку лестницы, ведущей в верхние покои, спиной к публике, как бы отмахиваясь от кого-то, в страшном смятении выбегает Борис. Хватаясь за перила, он сползает вниз, к самой авансцене, медленно оборачиваясь к публике. Бледное, искаженное судорогами лицо, состарившееся и осунув-

шееся, растрепанные волосы, горящие безумным блеском глаза... Беспорядочны его движения, он никого не замечает.

«Кто говорит — убийца? Убийцы нет! Жив, жив, малютка!» — почти шепотом произносит он... И вдруг, как будто что-то вспомнив, гневно восклицает: «А Шуйского за лживую присягу — четвертовать!..»

«Благодать господня над тобой...» — отвечает Шуйский.

Борис постепенно приходит в себя, видит, что он в Боярской думе. Испуг на мгновение охватывает его, но тут же, собрав последние силы, с трудом подходит к трону.

Подозрительно окинув взглядом бояр, он движением руки предлагает им сесть. В этом коротком жесте было все: и недоверие к боярам, и смертельная усталость, и царственное величие...

Сидя на троне, наклонившись вперед, жадно внимает Борис рассказу Пимена, как бы надеясь найти в нем успокоение своей измученной душе; но при первых же словах об Угличе, о царевице Димитрии невыразимый ужас охватывает Бориса.

Он откидывается назад, вытирает красным шелковым платком катящийся с лица пот и, доходя до высшей точки напряжения, вскрикивает: «Душно, свету!..» Срываясь, падает с трона на руки бояр. «Царевича скорей!..»

Речь к сыну полна мудрости: «Ты царствовать по праву будешь...» И снова мы улавливаем в оттенке голоса, в интерпретации этой фразы трагедию Бориса... («Я царствовал не по праву...») Но вот звучит погребальное пение за сценой: «Святая схима, в монахи царь идет!»

Все ближе звучит хор.

«Повремените, я царь еще!..»

Отчаянием полна эта фраза. Борис цепляется за власть. В последнем предсмертном крике, роняя кресло, он поднимает вверх руки, как бы стараясь остановить приближающихся к нему монахов, падает и слабеющей рукой с трудом указывает на Федора:

«...Вот царь ваш... простите...» — шепотом доносятся последние слова...

Борис умирает.

Замолкают последние звуки оркестра. В зрительном зале мертвая пауза. И вдруг внезапно лавиной ринулась к рампе толпа. Из лож на сцену полетели студенческие фуражки, цветы... Овации потрясают театр. Публика буквально неистовствует. Без конца выходит на поклоны Федор Иванович. В последний раз он выходит уже почти без грима.

Потухают огни ramпы, но медленно, словно нехотя, расходятся зрители. И долго еще в полной темноте чей-то одинокий голос вызывает: «Ша-ля-пин!!!»

* * *

Я прибежала в артистическую уборную Федора Ивановича, она утопала в цветах. Отец снимал остатки грима. На столике, около зеркала, лежала целая стопка белоснежных салфеток и огромная банка вазелина. Набирая вазелин, он обильно накладывал его на лицо, шею, руки, после чего вытирал их, часто меняя салфетки. Стопка быстро таяла. Наконец, сняв весь грим, отец густо напудрился, смахнув с лица лишнюю пудру мягкой щеточкой. Смочив гребенку водой, он зачесал назад свои волосы и оглянулся. Я стояла у дверей.

— Аrinka! — весело обратился он ко мне. — Ну, как? Кажется, я недурно спел сегодня? Но устал, черт возьми, устал... А где же все друзья?

— Поехали на Новинский, одевайся скорее. Машина давно ждет.

— Василий! — позвал отец.

Вошел китаец Василий.

— Прошу тебя, посмотри, где поменьше народа ждет меня, у какого выхода! Уважаю я, конечно, своих поклонников, но уж очень не люблю, когда они меня «качают». И что это за странный обычай, ведь грохнут же меня когда-нибудь о землю... Вот чудачки, право!..

Он быстро стал одеваться, а я пошла вместе с Василием на артистический подъезд. Приоткрыв слегка выходную дверь, мы увидели огромную толпу людей, преимущественно молодежи. Все ждали выхода отца, с нетерпением поглядывая на дверь.

— Ой, что делать? — сказал Василий. — Федора Ивановича здесь «закачают». Смотрите, что делается, сколько народу. Пойдемте к другому выходу.

Мы прошли через весь театр на другой подъезд, но и здесь была та же картина.

Порыскав по театру, мы наконец нашли еще какой-то выход на улицу; здесь толпы уже не было. Василий побежал сказать шоферу, чтоб подавал машину к этому выходу, а я поднялась к отцу. Он уже был одет и казался огромным в своей меховой шубе.

— Ну, еле нашли тебе свободный выход, кругом театра цепью стоят поклонники.

— Айда, пошли как-нибудь! — промолвил, улыбаясь, отец. — Булька, вперед!

Стремглав вылетев на лестницу, Булька помчался по ступенькам вниз. За ним стали спускаться и мы с отцом. Навстречу попался нам Василий.

— Федор Иванович, идемте скорее, а то публика догадалась, что вы выйдете с другого подъезда, и побежала за машиной.

Мы поспешили, но, едва распахнулась дверь и мы вышли на крыльцо, раздалось громовое «ура». Этот сигнал был услышан остальной публикой, дежурившей у выхода Большого театра, и все разом хлынули к нашим дверям. В воздух полетели шапки, фуражки.

«Да здравствует Федор Иванович! Спасибо Шаляпину! Качать его, качать!..»

Я не успела опомниться, как студенты и курсистки бросились к отцу, подхватили его и подняли на руки.

— Только не качайте, не качайте! — силилась я перекричать толпу. — Он этого не любит!..

Видимо, отец умолял о том же, голоса его я уже не могла расслышать за гулом толпы. Просьба его была услышана, качать его не стали, а бережно донесли на руках до машины. С большим трудом удалось мне пробраться через толпу к автомобилю, в котором уже сидел отец. Китаец Василий, держа на руках отчаянно лаявшего Бульку, распахнул дверцы машины быстро сел рядом с шофером. Дверцы захлопнулись, и под крики восторга машина свернула в Охотный ряд и помчалась по заснеженным улицам столицы.

Я сидела рядом с отцом и любовалась выражением его лица, освещенного матовым светом электрической лампочки. Оно было несколько утомлено, но вдохновенно-прекрасно.

— Какое счастье быть таким артистом, как ты, — прошептала я.

— Ты думаешь? — Он улыбнулся, но глаза его вдруг стали грустными. — Ты видишь только одну сторону медали, а обратной не замечаешь. А подумала ли ты, как достается мне это счастье? Этот успех! Какую ответственность я несу за каждую роль, за каждую фразу. Еще Усатов говорил мне не раз: «Смотри, беспутный Федя, много тебе дано, многое с тебя и потребуется, не растратавай свою жизнь по-пустому». — Он помолчал. — Ведь вот эта толпа, что приветствовала меня сегодня, она любит меня, пока я в зените славы, но стоит мне немного сдать, и та же толпа развенчает меня и не простит мне моего заката. О, я в этом уверен! А зависть?! Знаешь ли ты, что такое зависть, особенно в театре?.. Но хватит, не будем говорить на эту тему...

Машина свернула с Новинского бульвара в ворота нашего дома и остановилась у подъезда.

Дверь открыла горничная Уляша, навстречу вышла моя мать. Радостно блестели ее живые темные глаза. Она поздравила отца с успехом. Сняв шубу, он привлек ее к себе и крепко поцеловал.

Василий, стоявший в стороне, вдруг воскликнул:

— Федор Иванович, посмотрите, что сделали с вашей шубой. И как это ухитрились ваши поклонницы оторвать меховые хвостики! У отца была хорьковая шуба с хвостиками.

— Ах ты, черт возьми! — досадливо проворчал отец. — Ведь это же беда! Придется в зипуне ходить.

Действительно, впоследствии он носил шубу-татарку (вроде поддевки). Кстати сказать, она ему очень шла, и он долго не мог с ней расстаться.

В столовой на огромном столе, покрытом белоснежной скатертью, стояли закуски, графин с водкой и бутылка красного вина «Бордо». Это было любимое вино отца и посылалось ему специально из Франции, на этикетке стояла надпись: *Envoi special pour M-eur Chaliapine**.

За столом уже сидели домашние и друзья отца: Корвин, Сахновский и другие. Отца встретили импровизированным тушем.

Смеясь и шутя, отец занял свое председательское место. В столовой было тепло и уютно, крестная мать отца — Людмила Родионовна разливала чай.

За столом шумели и веселились. Отец был в отличном настроении, рассказывал смешные анекдоты, соперничая в этом с К. А. Коровиным.

Вскоре приехал из театра Исай Григорьевич, который привез с собой подношения, цветы и венки.

С его приходом стало еще веселее. Исай Григорьевич обладал необычайным юмором и своеобразным комическим талантом. За это отец особенно любил его. И действительно, Исай, как никто, умел рассмешить Федора Ивановича в самые мрачные минуты его жизни.

Вдруг в разгар ужина раздался у подъезда звонок, и через несколько минут в столовую вошли И. М. Москвин, Б. С. Борисов и А. А. Менделевич.

Ивана Михайловича Москвина отец высоко ценил, глубоко восхищаясь его талантом. Очень нравился ему Иван Михайлович в «Царе Федоре» и в роли Луки в «На дне» Горького. Веселый нрав и непосредственность Ивана Михайловича были очень близки характеру отца. Так же любил он и своих приятелей Борисова и Менделевича за их остроумие.

С их приездом за столом стало совсем оживленно.

Иван Михайлович прочитал свой известный рассказ «Ждут Иверскую». С огромным мастерством и тонким юмором изображал он подвыпившего дьячка, «хор» певчих и собравшуюся у кареты, в которой везли икону, толпу зевак.

Потом отец, вспомнив свои юные годы, когда мальчиком служил он певчим в церковном хоре, предложил Ивану Михайловичу спеть вместе с ним несколько церковных песнопений. На два голоса с Москвиным они замечательно спели «Ныне отпускаеши раба



Много раз Шаляпин рисовал шаржи на «Исайку» — И. Г. Дворищина, близкого друга, секретаря, впоследствии актера и режиссера Мариинского театра. Один из этих шаржей, сделанный в 1911 г., сохранился в собрании театрального музея Санкт-Петербурга

* Специально для г-на Шаляпина (фр.).

твоего...» и «Да исправится молитва моя...». Затем отец попросил Исая спеть еврейские песни.

Высоким тенорком Исай затянул еврейскую песенку, к нему примкнули Борисов и Менделевич и, наконец, сам Федор Иванович. Еврейский хор получился блестящий. Особенно старался Исай: откинув назад голову, прикрыв глаза и держа в руках платочек, он, упиваясь мелодией, выделял какие-то рулады, а отец гудел на низких басовых нотах. Первым не выдержал и захохотал отец — это было сигналом к общему громогласному смеху.

— Ну, а теперь надо закончить вечер оперой. — И вдруг, схватив графин с водой и держа его на плече, отец запел, идя вокруг стола: «Ходим мы к Арагве светлой каждый вечер за водой...»

За ним встал Москвин, а затем и все остальные. Процессия двинулась по всем комнатам и с пением вернулась в столовую.

Было уже поздно, но гости и не думали расходиться, не хотелось уходить и мне, но я тогда еще училась, и наутро меня ждала школа...





III

Шаляпин глазами современников

Тексты этого раздела печатаются по изданиям:
Ф. И. Шаляпин: В 2 т. М.: Искусство, 1960. Т. 2;
Бунин И. А. Собрание сочинений: В 9 т.
М.: Худож. лит., 1967. Т. 9;
Розанов В. В. Среди художников. М.: Республика, 1994;
Старк Э. А. (Зигфрид). Ф. И. Шаляпин: (К двадцатипяти-
летию артистической деятельности) //Аполлон. 1915. № 10.

Ф. И. ШАЛЯПИН

(К двадцатипятилетию артистической деятельности)



Однажды в захолустном театре готовили «Гальку» Монюшки. На предпоследней репетиции произошло какое-то недоразумение с исполнителем хотя и небольшой, но ответственной партии Стольника. Опере грозила опасность быть снятой с репертуара. Тогда один из хористов, только что начавший сценическую карьеру, незаметный, робкий, застенчивый и выдававшийся только своим ростом, согласился выручить труппу из беды, приготовил партию безукоризненно уже к генеральной репетиции и выступил на спектакле, стяжав весьма значительный успех: ему, никогда не певшему иначе как в хоре, да и то в продолжение всего лишь трех месяцев, дружно аплодировали после арии Стольника в первом акте. Было это в Уфе 18 декабря 1890 года. Звали этого хориста — Федор Иванович Шаляпин.

Двадцать пять лет прошло с тех пор, как на скромной, почти убогой провинциальной сцене вспыхнул едва брезжащий огонек творчества, которому впоследствии суждено было разгореться ярким пламенем, проникшим теплом своим в душу людей всех званий и состояний и самых разнообразных национальностей, доказав этим лишний раз, что язык искусства, язык могущественного песнопения, соединенный с даром трагического творчества, среди всех других языков, при помощи которых могут общаться человеческие души, есть единственный действительно международный. Эти двадцать пять лет прошли, пролетели как сон. Двадцать пять лет — четверть века! — протекли в мире фантазии, лучшие годы жизни прожиты точно в опьянении могущественным творчеством, уносившим артиста на недостигаемые высоты, где стоит он весь точно в золоте, облитый лучами солнца, светлый, радостный и непостижимый в тайне своей.

Вся судьба Шаляпина, вся совершенная им карьера безмерно удивительны, возбуждают в нас трепет перед чудесами, которые способна творить природа. Кто мог бы, взглянув на Шаляпина, когда он мальчиком бегал по улицам Казани, где он родился и где отец его служил писцом в земской управе, сказать: «Ты будешь гений!»

Но, прежде чем творческое пламя разгорелось, судьба не раз пыталась погасить его вовсе. Жизнь Шаляпина, пока он не почувствовал под собою твердой почвы, была похожа на дурной сон. Рожденный в бедности, не получивший никакого образования,

будущий чародей сцены провел безрадостное детство и столь же безрадостную юность. Он обучался ремеслу сначала сапожному, потом токарному, потому что в этом окружающие видели все его будущее. Служил писцом, потому что надо же было наконец к чему-нибудь себя пристроить. А между тем в душе всходили какие-то ростки, бродило совершенно неосознанное, неоформленное стремление к иной, грандиозной деятельности. Семнадцати лет Шаляпин начал в Уфе свою артистическую карьеру. Но это не знаило, что он сразу стал на рельсы. Нет, после Уфы пошли годы беспорядочного скитания по разным захолустьям, и эти годы полны были всеми угрозами голодного, холодного, бесприютного существования. И кто знает, что могло бы случиться, если бы не Тифлис и не профессорствовавший в этом городе тенор Усатов, который первый почувствовал в Шаляпине большую силу и стал учить его пению. В этом-то городе, обожженном лучами южного солнца, впервые прикоснулся Шаляпин к святыне подлинного искусства. И тогда заговорили о молодом певце, исполнителе партий Мельника в «Русалке» и Мефистофеля в «Фаусте». Скоро Шаляпина уже слушал Петербург в летней опере сада «Аркадия». Это было в 1894 году. Зимой того же года, в Панаевском театре, он узнал настоящий успех. Весь Петербург переслушал его тогда в роли Бертрама в мейерберовской опере «Роберт-Дьявол», и многие и посейчас хранят воспоминание о необыкновенно бархатном голосе, впервые очаровавшем слух, демонической фигуре, в которой уже тогда, несмотря на робость и неопытность ранних сценических шагов, чувствовалась загадочная сила. Как он стоял, двигался, жестикулировал, смотрел, как «подавал» отдельные фразы, с какой экспрессией пел, — все это уже в ту пору резко отличало его от окружающих.

Затем наступил для Шаляпина первый период его пребывания на казенной сцене, в Мариинском театре (1895 — 1896), — период почетный, доставивший певцу в двадцать один год звание артиста Императорских театров, но мало способствовавший его художественному развитию. Тогдашние руководители казенной оперы решительно ничем не содействовали Шаляпину и продержали его на маленьких ролях, вроде Цуниги в «Кармен», судьи в «Вертере», князя Вереяского в «Дубровском» и Панаса в «Ночи перед Рождеством». Раза два-три пел он Мефистофеля в «Фаусте» и Руслана. Выступления Шаляпина были не очень удачны, потому что артист, видя пренебрежительное к себе отношение со стороны тогдашней дирекции и сознавая свою беспомощность и брошенность, серьезно не работал, и мало кто продолжал возлагать на него надежды. И лишь при закрытии сезона, когда Шаляпин впервые выступил в одной из своих будущих коронных ролей, в роли Мельника в «Русалке», случилось нечто поразительное, точно гром грянул среди ясного неба. Было такое пение, такая игра, зритель был захвачен такою волною чувства, лившегося в звуках шаляпинского голоса, что у всех точно открылись глаза: «Боже, какой великий талант! Почему же раньше мы так мало его замечали?»

Но неизвестно еще, что произошло бы дальше, не натолкнись Шаляпин на Савву Мамонтова, не учуй в нем последний богатыр-

скую силу, да не перемани он артиста из Петербурга в Москву. Здесь, в творческой атмосфере оперы, созданной Саввой Мамонтовым, просвещенным меценатом, истинным художником в душе, в обстановке исканий и проснулся богатырь к новой жизни (1896 — 1899). Все те сценические образы, которыми Шаляпин дивит мир теперь, получили свое первое художественное воплощение на сцене мамонтовской оперы. Там впервые были сыграны им Иоанн Грозный, Борис Годунов, Сусанин, Мефистофель, Владимир Галицкий, Сальери, Досифей, Олоферн. Все эти образы в дальнейшем оказались бесконечно углубленными, но их основа добыта там, в строгой обстановке Частной оперы, где все работали, одушевляемые поисками идеалов в искусстве. И, когда осенью 1899 года Шаляпин вернулся снова под сень кулис Императорской сцены, он мог уже гордым взором окинуть окружающее.



Сальери — Шаляпин

Исследователь творчества Шаляпина Е. Р. Дмитриевская писала: «С юности любимым поэтом Шаляпина был А. С. Пушкин, и потому с таким энтузиазмом и радостью он начал репетировать оперу Н.А. Римского-Корсакова "Моцарт и Сальери". Работа протекала в тесном союзе с М. А. Врубелем, недавно закончившим серию иллюстраций к "маленьким трагедиям". Графика Врубеля оживает в фотографиях, запечатлевших сцены из спектакля Русской частной оперы. На премьере шаляпинский Сальери затмил Моцарта — В.П. Шаффера. Чутко вслушиваясь в музыку, Шаляпин передавал сложнейшую гамму чувств, огромную душевную борьбу».

А там последовало первое выступление за границей в миланском театре Scala (1901), впервые в роли бойцовского Мефистофеля, положившее начало его мировой славе. Так, звено за звеном, сковалась цепь головокружительной по блеску и красоте, единственной в истории русского театра карьеры артиста-певца, вышедшего из низов народа и без всякого воспитания и образования поднявшегося на самую высокую вершину, где ослепительно светит солнце большого искусства, — исключительно благодаря неисчерпаемому запасу таких творческих сил, что совершенно не страшно рядом с именем Шаляпина произнести слово: гений. Нет преувеличения в связи этих слов, потому что мы постоянно наблюдаем, как артисты, бесспорно одаренные талантом, и далеко незаурядным, теряют, когда оказываются рядом с Шаляпиным; он слишком подавляет их мощью своей творческой энергии; огонь, которым пронизано все его исполнение, вокальное и драматическое в строгой гармонии, бледнит свет, исходящий от их исполнения.

В чем же тайна могущественного обаяния Шаляпина? Каков стиль его творчества?

Le tragedien lyrique, «музыкальный трагик», — прозвали Шаляпина французы, мастера на меткие определения. В самом деле, в этом вся суть; рассматривать Шаляпина только как певца — совершенно невозможно. Великолепных голосов было сколько угодно до Шаляпина, найдется достаточно и рядом с ним — и в России, и за границей, между прочим в весьма тароватой на этот счет Италии. Но даже и в этой прекрасной стране, всегда высоко ставившей *bel canto*, время подобных Мазини царей голой звучности безвозвратно миновало... Если бы Шаляпину природа отпустила толь-

ко один из своих даров — голос, он не представлял бы собою явления, небывалого на оперной сцене и потому заслуживающего особенно тщательного изучения. Конечно, голос Шаляпина сам по себе прекрасен. Это настоящий *basso-cantante*, удивительно ровный во всех регистрах, от природы чрезвычайно красивого мягкого тембра, причем в верхах он отличается чисто баритональной окраской, легкостью и подвижностью, свойственными только ба-



*Досифей —
Шаляпин*

В работе над ролью Шаляпин лепил образ старца, как бы сошедшего с иконы, с горящим взглядом, фанатичного и величественного одновременно. «Московские ведомости» отмечали «отличный внешний облик Досифея» и умение певца «оттенить в игре, мимике и гриме ту перемену, которая произошла в Досифее, когда наступили грозные для раскольников события».

ритону. Постоянно совершенствуясь, Шаляпин довел технику своего голоса до последней степени виртуозности. Путем долгой, упрямой работы он так выработал свой голосовой аппарат, что получил возможность творить чудеса вокальной изобразительности. В пении Шаляпина, совершенно так же, как у величайших мастеров итальянского *bel canto*, поражает прежде всего свобода, с какою идет звук, имеющий опору на дыхании, кажущемся безграничным, и легкость, с какою преодолевают-

ся труднейшие пассажи. Это в особенности ярко доказывала одна партия, которую Шаляпин в Петрограде пел всего один раз, именно Тонио в «Паяцах», — партия, излюбленная итальянскими баритонами. В смысле чисто вокальной виртуозности Шаляпин им нисколько не уступает. Среди прочих подробностей вокализации *mezza-voce* и *piano* выработаны у Шаляпина до крайнего совершенства, как и филировка звука, достигающая у него необыкновенной точности и красоты.

Однако вся эта техника голоса нужна Шаляпину во имя одной, вполне определенной цели: чтобы достичь с ее помощью бесконечного разнообразия самых тонких оттенков драматической выразительности; ему нужно было сделать голос идеально послушным инструментом для передачи наиболее интимных, едва уловимых настроений души и самых глубоких переживаний всей гаммы человеческих чувств, которая невообразимо сложна и таинственно прекрасна. На основании высочайшей техники чисто вокального искусства он воздвиг сложное здание другого искусства, несравненно более трудного: вокально-драматического. Играя своим голосом с полным произволом, он достиг иного, бесконечно более изысканного, мастерства: игры звуковыми красками. В этом он истинный чародей, не имеющий себе равного. Главною чертой его исполнения является доведенная до последней степени чувствительности способность изменять характер звука в строгой зависимости от настроения, и, чем роль богаче содержанием, тем поразительнее бывают эти тонкие голосовые оттенки.

Тихий душевный лиризм, вообще сосредоточенное настроение духа, Шаляпин передает, искусно пользуясь *mezza-voce* и всевозможными оттенками *piano*; в таких голосовых красках он проводит, например, всю роль Дон-Кихота, стремясь через них выделить ос-

новную черту героя: его беспредельную мечтательность. Там же, где на первый план выступают сильные страсти, Шаляпин доводит звучность до крайней степени напряжения; голос его катится широкой, мощной волной, и, благодаря его умению владеть дыханием, кажется, что этой волне нет предела. Это особенно проявляется на верхних нотах, которые, несмотря на 25-летнюю службу Шаляпина искусству, до сих пор не утратили своей устойчивости и блеска, позволяющих артисту добиваться какого угодно эффекта. В такой роли, как Мефистофель Бойто, Шаляпин умеет сообщить своему голосу исключительную мощь, особенно в прологе на небесах, где, помимо внешних пластических подробностей, самый характер звука, плавный, круглый, энергичный, уже дает представление о стихийной сути того, кто является на небеса с дерзким вызовом, обращенным к Богу. Такого же впечатления достигает Шаляпин и в «Демоне», где особенно поразительной представляется смена разнообразнейших оттенков звучности — от грозового *forte*, в сцене проклятия, до нежного *piano*, в том месте, когда он нашептывает Тамаре грезы о «воздушном океане».

Вообще везде, где Шаляпин поет о любви, его голос приобретает мягкость и нежность чарующие. Это случается не так часто на оперной сцене, где любить полагается сначала тенору, потом баритону и наконец уже, в виде исключения, и басу. Поэтому убедиться в этой способности Шаляпина — давать через тембр голоса все очарование, весь нежнейший аромат любви — можно скорее всего в концертах. В камерном стиле Шаляпин достигает необычайных результатов, быть может еще более замечательных, чем на сцене, потому что здесь нет могущественной опоры — жеста — и вся гамма переживаний выражается только тоном. Звуковая тонкость передачи некоторых романсов, в особенности принадлежащих к новому музыкальному стилю, такова, что ее можно уподобить, беря сравнение из другой области искусства, самой нежной и прозрачной акварели. Благодаря тому, что в пределах диапазона шаляпинского голоса нет ни одной ноты, которую артист не мог бы заставить звучать, как ему угодно, ему удалось выработать столь совершенную дикцию, что ни одно слово не теряется для слуха. Шаляпин — несравненный музыкальный декламатор и, вследствие этого, идеальный исполнитель всех тех опер, где текст имеет существенное значение. Отсюда вытекает тот примечательный факт, что репертуар Шаляпина составлен преимущественно из русских опер, именно тот репертуар, который доставил артисту славу и который он повторяет из года в год с небольшими изменениями. Вот этот репертуар: «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» — Глинки; «Русалка» — Даргомыжского; «Борис Годунов» и «Хованщина» — Мусоргского; «Князь Игорь» — Бородина; «Демон» — Рубинштейна; «Псковитянка» — Римского-Корсакова; «Юдифь» — Серова; «Фауст» — Гуно; «Мефистофель» — Бойто; «Севильский цирюльник» — Россини; «Дон-Кихот» — Массне.

Итого тринадцать опер, из которых на долю иностранных композиторов приходится всего четыре. И хотя я назвал здесь только главнейшие, оставляя в стороне те, в которых Шаляпин выступает редко или совсем перестал выступать, все же, если расширить

этот список, число иностранных опер возрастет ничтожно, опять же в полную противоположность операм русским. Происходит это, конечно, не потому, что Шаляпин, как самородный русский талант, выросший на воле, оказался невосприимчив к западному творчеству, ибо он явил нам такие образцы, как Мефистофель, Дон-Кихот, Дон-Базилио, придав им поразительное по своей выпуклости и яркости художественное воплощение. Дело в том, что Шаляпин — несомненный реалист, и ему для творчества необходим живой материал. «Из ничего — не выйдет ничего», — говорит шут короля Лира. И Шаляпин твердо знает, что у него, несмотря на весь его гений, «из ничего — не выйдет ничего». На концертной эстраде Шаляпин может одними красками своего голоса рисовать картины и образы, но на сцене, где ему надо перевоплощаться в живого человека, он прежде всего ищет, чтобы в роли было хоть подобие живой жизни. Это — опора, без которой он не может творить. И эту опору он находит почти исключительно в созданиях русских композиторов. То требование художественной правды на оперной сцене, которой добивался Вагнер, объявляя беспощадную войну старой опере, больше похожей на костюмированный концерт, чем на драматическое представление, — гораздо раньше было выставлено у нас еще Даргомыжским, стремившимся к этой правде уже в «Русалке», несмотря на обилие в ней по-итальянски закругленных номеров. Вообще русские композиторы, в противоположность западным, гораздо больше обращали внимания на драматический смысл своих оперных произведений, на жизненную содержательность своих типов и с этой целью требовали более тщательной литературной обработки оперных либретто. Задача эта облегчалась тем, что выбор композиторов в значительной части падал на произведения наших великих писателей, и таким образом в основе были уже даны глубоко художественные типы и характеры, живые образы людей, пораженных трагической судьбой, с яркими, полными глубоких переживаний речами, которые оставалось только приспособить к требованиям композитора. Образы Бориса Годунова, Сальери, Евгения Онегина, Германа, Демона, Мельника, Алеко, Мазепы и многие другие нашли свое воплощение в нашей музыке. Даже в самом неудачном русском либретто, для оперы «Жизнь за царя», и то оказалась одна роль, полная жизни: Сушанин. Кроме того, русские композиторы особенно охотно писали для басов, вследствие чего русский басовый репертуар оказался и в вокальном и сценическом отношениях гораздо содержательнее такового же на Западе, где в большинстве случаев предпочтение отдавалось тенору либо баритону. Очень естественно поэтому, что Шаляпин составил свой репертуар преимущественно из русских опер и явился великим истолкователем и пропагандистом родного искусства.

Надо принять также во внимание и индивидуальные особенности Шаляпина как артиста. Какой представляет он материал для сценического искусства? Шаляпин высок ростом, широк в плечах, хорошо сложен, все члены его пропорционально развиты и, насколько можно судить по самой его обнаженной роли — бойцовского Мефистофеля, обнаруживают прекрасную мускулатуру; на

красивой шее посажена крупная, но опять-таки по отношению ко всему телу вполне пропорциональная голова, с лицом широким и не имеющим никаких особо развитых частей, что оказывается большим удобством для грима. Весь он являет подобие крепкого дуба; здоровый, полный силы, мясистый и необыкновенно, несмотря на свой рост, подвижной, Шаляпин самой природой предназначен для разрешения больших сценических задач. Отсюда вся та необычайность, вся та грандиозность, которые отличают исполнение Шаляпина.

Как известно, Шаляпин обладает крайне развитой фантазией, и притом вполне самобытной. И, может быть, даже хорошо, что он явился к нам не из культурной среды. По крайней мере, он не унаследовал никаких плохих традиций, для него не могло существовать кумиров, которым почему-то надо поклоняться. Шаляпин сам создал собственную, весьма тонкую культуру. Всегда и все ему хотелось сделать так, чтобы это было совершенно по-новому и ни единой чертой не напоминало того, к чему все привыкли. Трудно это ему давалось или нет, мы не знаем, ибо тут тайна творчества, зарождающегося в тиши и одиночестве, в глубоких тайниках души; одно несомненно — безграничная фантазия, питающая это творчество, всегда нашептывала ему образ, проникнутый крайним своеобразием, весь сотканный ... из причудливых изломов, трепещущий изысканным ритмом, сложным и прихотливым, который немалого труда стоило почувствовать своим телом, а почувствовав — выявить до конца в гармоничной последовательности и законченности. Обладая тонкой наблюдательностью, острым взглядом, твердой памятью, Шаляпин, во время своих многочисленных скитаний по России и Европе, накапливал множество мелочей, которые все служили незаметным образом пищей его фантазии. А фантазия всегда увлекала его в сторону необычного и грандиозного.

Недаром французам, любителям благородной меры в искусстве, Шаляпин показался с первого взгляда несколько резким и размашистым, и, только приглядевшись, они разобрали, какое кроется в нем живое и непосредственное творчество, полное высшей одухотворенности и отражающее отблески музыкального огня, потому что все, что делает Шаляпин на сцене, прежде всего необыкновенно ритмично и подчинено музыке.

Вот вышел Шаляпин на сцену и, уносясь на крыльях фантазии, точно на ковче-самолете, в тридесятое царство, вдруг начал из своего тела лепить чудеса, в которые час тому назад он, быть может, и сам не верил. Вот, полуобнаженный, завернутый лишь в какую-то фантастически сверкающую тряпку, взметнулся на Брокенскую скалу и начал строить там истинно дьявольские рожи да причудливо поводить по воздуху своими мускулистыми руками, — перед вами Мефистофель в своей неприкрытой сути. Вот неторопливой, бредущей походкой вышел на сцену мужик, слегка сутулый, с красной обветренной шеей, с широкой бородой лопатой, с внимательными, умными глазами, в которых застыла упорная дума о том, что будет с Русью без царя, — и перед вами Сусанин. И так везде. Каждый образ несет с собою свою пластику, свой ритм. И каждый образ Шаляпин стремится без остатка почувствовать «в своем теле»,



Дон-Базилио —
Шаяпин
Рисунок
Г. С. Вереяского

«Исполняя эту роль, — писал Шаяпин, — я от реализма резко отхожу в сторону гротеска. Мой Дон-Базилио как будто складной, если хотите — растяжимый, как его совесть. Когда он показывается в дверях, он мал, как карлик, и сейчас же на глазах у публики разматывается и вырастает жирафом. Из жирафа он опять сожмется в карлика, когда это нужно. Он все может, — вы ему только дайте денег. Вот отчего он сразу и смешон и жуток».

и это ему удастся, иначе пластическое воплощение роли никогда не отличалось бы у него такою легкостью, простотою и художественной убедительностью.

В частности, в отношении грима Шаяпин мало имеет соперников на драматической сцене, разве Станиславский да Петровский поспорят с ним в деле гримировки и одевания, на оперной же сцене — подобным ему был только покойный Ф. И. Стравинский. Мастерство Шаяпина — создавать из своего лица художественные маски — неподражаемо. В продолжение 25 лет своей артистической деятельности Шаяпин занимался тем, что вечно менял свои гримы. В особенности беспокоил его Мефистофель. Здесь мы можем различить четыре этапа различных воплощений: грим тифлисский, грим первого сезона на Мариинской сцене, грим эпохи пребывания в мамонтовской опере и грим современный. При этом между двумя крайними нет ничего общего: грим тифлисский смешон и обычен, грим современный вполне оригинален и художественно значителен. А сколько в промежутке изменений отдельных черт! То же и с гримом Мельника; еще в мамонтовскую эпоху лицо безумного Мельника, вообще вся его голова были слишком прибраны, волосы и борода чересчур роскошны; в последнее время Шаяпин стал делать их редкими, справедливо рассуждая, что безумный Мельник, долгие годы бродя по лесам, по долам, никак не мог сохранить своих волос в прежней густоте. Лицо царя Бориса с годами приобрело необычайно рельефное выражение страдания, оставаясь в то же время царственно-величественным. И так постоянно во всем.

Крайнюю внимательность ко всем мелочам Шаяпин распространяет и на свои костюмы, озабочиваясь непрестанно их покроем, цветом, исторически верным колоритом; какая-нибудь подробность, вроде рукояти меча в «Фаусте», является для него важной, потому что взыскательный артист не хочет допустить ни одной мелочи, которая могла бы оказаться вне гармонии с целым. К этой заботе о живописной законченности внешнего облика привело его постоянное общение с художниками в бытность в мамонтовской опере, где работали такие мастера, как В. Серов, М. Врубель и К. Коровин, все трое носители чрезвычайно яркой фантазии. Их влияние на всю постановку дела в Частной опере было так велико, а Шаяпин, находясь тогда в расцвете молодости, был настолько впечатлителен, чуток и восприимчив, что неудивительно, если общение с художниками наложило печать на его творчество и привело к тому, что и до сих пор Шаяпин охотнее всего ищет общества художников.

Бывают таланты двух категорий: одни, появляясь внезапно, сразу вспыхивают ослепительным светом, сразу ошеломляют людей и потом как-то опадают, дальнейшая деятельность их идет большею частью уже подогретая воспоминаниями; другие же, наоборот, хотя и останавливают на себе внимание, но далеко не всеобщее, скорее даже незначительного меньшинства, способного вслед за новоявленным талантом подняться над уровнем установившихся вкусов; они знают и времена застоя и уклонений в сторону, но потом, изжив мятежное, бурное, отбросив крайности и

овладев техникой мастерства, попадают в настоящую колею творчества и, неустанно совершенствуясь, наконец распускаются пышным цветом. К этой последней категории принадлежит Шаляпин. Его искусство — вечное стремление вперед, неутомимая погоня за новыми красками, новыми, более сильными средствами впечатления. Шаляпин не устает в одной и той же роли постоянно находить новые краски, вводить другие детали, совершенно переделывать целые сцены. Это особенно бросается в глаза, когда видишь Шаляпина в какой-нибудь роли через некоторые, более или менее значительные, промежутки времени. Тогда становится ясно, что изменение коснулось не только внешних подробностей грима или костюма, но главное всего концепции роли, где произошел иногда значительный, а порою и еле заметный сдвиг в сторону большей углубленности переживания. Вообще, психологическая окраска драматических моментов роли имеет у Шаляпина большое значение, вполне естественно совершенствуясь параллельно с ростом личности артиста, и этот процесс не может остановиться, потому что в 42 года (возраст Шаляпина сейчас) рост личности далеко еще не прекращается, почему мы можем ожидать от Шаляпина и в дальнейшем нового, еще более углубленного психологического освещения каждой его роли.

Однажды почувствовав в себе с непоколебимой убедительностью пластический рельеф Олоферна ли, Дон-Кихота ли, или Бориса Годунова, Шаляпин выдерживает его до конца с редкой настойчивостью и гармонической последовательностью, давая в то же время удивительно прихотливый узор всевозможных подробностей, никогда не повторяющихся в точности. Я никогда не видал, чтобы у Шаляпина, когда он выступает в какой-нибудь роли впервые, были, как это случается у других, даже очень талантливых артистов, одни места слабее, другие сильнее. Всё — равно, всё вытекает одно из другого вполне последовательно. Выразительность, правда, может подниматься от спектакля к спектаклю, — это происходит в силу того, что Шаляпин до сих пор еще не утратил своей непосредственности и его вдохновение иногда вспыхивает ослепительным блеском, иногда горит более спокойно, — но каждая форма всегда наполнена глубоким содержанием, именно потому, что с самого начала она найдена верно.

Шаляпин, как никто чувствующий ритм, — властный господин над ритмом собственного тела. Любое его пластическое выражение точно отвечает его намерению, его мысли, его чувству; пластика является правдивым зеркалом того внутреннего облика, который он поселяет в своей душе. Он до такой степени остро чувствует при-



Дон-Базиллио —
Шаляпин

сутствие в себе постороннего лица, до того сживается с этим воображаемым образом, что не различается с ним... как вы думаете, до какой минуты? Пока Шаляпин на сцене? Нет, до самого конца спектакля, до того мгновения, пока он не скинет костюма и из зеркала не глянет на него, во время смывки грима, его собственное лицо. Кому приходилось наблюдать Шаляпина за кулисами во время антрактов, тот должен был заметить, что когда Шаляпин — Борис Годунов, у него один тон в разговоре с окружающими, а когда он, например, — Дон-Кихот, тон совсем другой, причем оба тона строго соответствуют характерам изображаемых лиц, так что вы ясно чувствуете, что с царем Борисом пристойнее бы не заговаривать и вообще лучше бы подальше от него, а с Дон-Кихотом, наоборот, можно бы разговориться за милую душу. Поистине, если существует сценическое перевоплощение, — его знает Шаляпин.



Дон-Базиллио —
Шаляпин
Шарж Чука

Станиславский предполагает некий внутренний круг переживания, построенный на таком строгом сосредоточении всего своего «я» в одной определенной точке, что при нем становится возможным полное отрешение от окружающей действительности и переход со всеми ощущениями в некий иллюзорный мир, создаваемый усилиями творческой фантазии. Очень естественно, что, коль скоро артист входит в такой круг и обретает там пластическое воплощение, единственно возможное и для всей роли, единственно допустимое для каждой отдельной минуты душевного переживания, он сейчас же обретает и единственно правильный тон, гармонично вытекающий из жеста. Одним из наиболее красноречивых доказательств справедливости только что сказанного может служить сцена прощания царя Бориса с сыном. Шаляпин, полуживой, лежит в кресле; когда он, делая неимоверное усилие и обхватив сына обеими руками, несколько приподнимается, вы чувствуете, что все его мускулы как бы обмякли, распустились, его большое тело сразу потеряло свою физическую мощь, согнулось, причем грудь ушла назад, и в легких как бы почти нет воздуха; такому пластическому состоянию точно отвечает тон первой фразы: «Прощай, мой сын, умираю». Голос звучит тускло, звук его лишен всякой мужественности, в нем почти нет басовой окраски, он какой-то бестелесный. Но вот физическая немощь человека, близкого к смерти, уступает сильному душевному порыву: государь должен дать напутствие своему наследнику. Неожиданно он весь выпрямляется, сразу чувствуется, что мускулы тела напряглись: «Не вверяйся наветам бояр крамольных» — звук приобретает чрезвычайную округлость, полноту и силу, и так остается до последней фразы: «Строго вникай в суд народный, суд нелицемерный». Дальше понемногу идет цельно связанное *decrecendo*, пластическое и звуковое, и, когда медленно, в последнем молитвенном напряжении души, умирающий царь сползает с кресла, становится на колени и обращается к Богу с мольбой за своих «чад невинных, кротких, чистых», звуки голоса его несутся чуть слышно, утратившие всю жизненную энергию, — настоящие зовы души, мягкие, нежные, элегические, последние зовы, которые могут еще раздаться здесь на земле в то время, когда тело уже почти оцепенело в ледяных оковах смерти.

Я привел здесь только один характерный пример зависимости тона от жеста у Шаляпина. Продолжать дальше значило бы описывать шаг за шагом игру Шаляпина во всех его ролях. Замечу одно: сила впечатления, производимого этой игрой на зрителей, вся коренится в необыкновенно тесной связи жеста с тоном, сообщающей искусству Шаляпина особенно яркую выразительность.

Подняв мастерство музыкально-драматической выразительности на недостижимую высоту, сочетав с нею в неразрывной связи пластическую выразительность, Шаляпин не знает границ в отношении яркой напряженности той и другой, пределов силы для него не существует, и он постоянно стремится к разрешению самых трудных, самых грандиозных задач, наталкиваясь на то непреодолимое затруднение, что материала для него, в сущности, очень мало в сфере и русской и иностранной оперы. По всей манере его игры, по всему его беспредельному темпераменту, по стихийной силе его творчества, по совокупности всех внешних данных — Шаляпин самую судьбою предназначен для трагедии. Это — высокий род театрального искусства, и он питал собою впечатления людей в разные эпохи существования театра, начиная с античности, — трагедия, и именно она, оставила глубочайший след в истории человеческих идей. У нас, на русской сцене, трагедия давно умерла, не потому что она перестала находить дорогу к сердцу зрителя, а потому что истребился на чисто род трагических актеров, и надо ждать, когда он возродится снова; некому стало играть трагедию, потому что исчезли необходимые для нее сила и страсть, огонь и темперамент, величие и пафос. Исчезли на сцене драматической, но расцвели на сцене оперной в лице Шаляпина, словно для вящего доказательства, что трагедия не может умереть, что для нее возможно лишь временное забвение, но, как форма высшего напряжения человеческих страстей, она всегда останется. Ведь именно этим и захватывает нас Шаляпин. Его театр — зрелище страстей человеческих, взятых в своей первобытной сущности. Его театр — вереница образов истинно трагических, причем везде Шаляпин обрисовывает перед нами одну какую-нибудь идею с исчерпывающей полнотой, достигая конечного результата — безраздельного, потрясающего захвата нашей души прихотливым сцеплением художественных частных, ведущих к гармонично законченному целому.

Царь Борис — трагедия рока, увлекающего в бездну человека, одаренного умом, сильным характером, твердой волей, многими достоинствами настоящего правителя, широкому кругозору которого доступно верное понимание действительных государственных нужд, и все это никнет перед преступлением, подсказанным ненасытным честолюбием и проложившим путь к престолу, если принимать версию Карамзина и Пушкина. Шаляпин делает своего Бориса необыкновенно величественным, он — царь от головы до ног, каждое его движение — движение царя. Раскрывая глубину душевного страдания венценосного преступника, Шаляпин стремится в то же время пробудить в нас сочувствие к нему, он выдвигает



Ф. И. Шаляпин
Автошарж
в роли Базилио

Исполнение Шаляпиным этой партии стало образцом для многих поколений оперных артистов. Исследователь творчества певца М. Янковский писал: «Длинный... нелепый человек с уродливым лицом, в котором поражают маленькие бегающие глазки пройдохи и невиданного фасона нос, как бы вносящийся во все происходящее. Руки, бесконечно длинные и грязные, вылезающие из коротких рукавов. И костюм: нечто вроде рясы католического монаха, балахон со множеством пуговиц сверху донизу, черный кожаный пояс невероятной ширины, как бы перерезающий фигуру по горизонтали... С годами непримиримо сатирическая линия в раскрытии этого персонажа усиливалась. Дон-Базилио пронизывался чертами зловещей маски».

гает в нем несчастного человека, который нуждается в сострадании, он расцвечивает образ такими чертами, которые как бы вызывают к милосердию, необходимому для этого царственного грешника, неслыханными муками души уже давно искупившего свой грех, омывшего его невидимыми слезами в долгие ночи, полные жуткого одиночества. Царь Иоанн Грозный — трагедия человека, который, стоя на вершине власти, мучается, запутавшись в противоречиях, который сейчас говорит с Богом, чтобы в следующий миг перекинуться к дьяволу, который весь погряз в темной пучине злобы, ненависти, подозрительности, жестокости, мстительности и плотского греха. Царственное величие и здесь не покидает Шаляпина, и здесь он также с особенной убедительностью стремится показать, что и в Иоанне Грозном жил человек, что и его сердце могло иногда растопиться, как лед на весеннем солнце, что и он тоже достоин был жалости и милосердия, когда страдание, неожиданно коснувшись его души, очищало ее. Мельник — трагедия человека простого, скромного, не слишком добродетельного, не вынесшего страшного удара, потери своей любимой дочери, на его глазах кинувшейся в Днепр. Его сумасшествие обрисовывается Шаляпиным в мягких тонах, и бесконечную жалость, а не страх и не отвращение, внушает Мельник, превратившийся в неразумного, брошенного на произвол стихий, ребенка. Сусанин, — герой долга, подсказанного чистым сердцем крестьянина-патриота, — в исполнении Шаляпина приобретает величественные черты подлинно трагического пафоса. Сальери — трагедия зависти, воплощенная в формах, исполненных крайнего благородства и, опять же, величавости. В Дон-Кихоте, наконец, Шаляпина увлекла задача, невзирая на тривиальную музыку и нескладно скроенное либретто, создать грандиозный образ безумца и мирового мечтателя, этого Агасфера идеализма, который веками бродит по земле, отовсюду гонимый, встречающий одни насмешки и издевательства и переносящий все с чисто христианской кротостью. Если присоединить сюда мощные образы Олоферна и Мефистофеля, мы увидим, что везде грандиозное и величественное особенно удается Шаляпину, и нет той силы переживания, которой он не мог бы передать с подобающей выпуклостью выражения. Если бы существовали музыкальные трагедии, объектом которых служили бы Эдип, король Лир, или если бы в музыкальной сфере оказался воплощенным Петр Великий, бывший поистине личностью трагической, то можно себе представить, какие потрясающие, глубоко вдохновенные образы создал бы еще Шаляпин...

Тесно его огромному таланту в узких рамках оперного театра, страшно тесно!.. Подлинная музыкальная драма в наше время еще не пустила прочных корней. Единственным ее подлинно высоким образцом до сих пор остается у нас, русских, один лишь «Борис Годунов» Мусоргского. Тесно Шаляпину еще и потому, что его талант слишком безмерен, не подходит ни под какой ранжир и нарушает, в сущности, всякий ансамбль, приковывая к себе преимущественное внимание зрителя, который перестает замечать все остальное, и делая неинтересным, бледным, исполнение сотрудников артиста. И это его самого постоянно раздражает. Шаляпин не

может понять, как это все, что просто и свободно дается ему, гению, отличительной чертой которого является легкость творчества при кажущихся громадных затратах энергии, — как это у другого выходит лишь при помощи трудной работы, а если и удается, то всегда только приблизительно.

С другой стороны, понятно, что, когда Шаляпин выступает в роли режиссера, постановка оперы приобретает особый колорит, каждая мелочь освещается художественным светом. Так было в Москве при постановке «Дон-Кихота», когда он в первый раз испытывал свой талант режиссера, и особенно в Петрограде, где он ставил «Хованщину». Главное, на что Шаляпин в этом деле обращает внимание, — это выпуклость музыкально-драматической речи, которая в «Хованщине» и достигла поразительного совершенства. Впервые тогда, — это было 7 ноября 1911 года, — прошел перед нами на Мариинской сцене стройный ряд художественных образов, воссозданных не внешними приемами более или менее выразительной драматической игры, но глубоким постижением всех красот, всех оттенков музыкальной речи, вылившейся из вдохновения Мусоргского; впервые музыкальная драма праздновала победу и говорила, что ее царство не только не поблекло, но что, напротив, ее расцвет еще впереди, вопреки мнению тех, кто считает эту форму искусства фальшивой на том курьезном основании, что в жизни... не поют.

Нет, на пути развития музыкальной драмы нас ждут еще не испытанные блаженства, которые не прейдут, пока Шаляпин, гений музыкальной трагедии, с нами. Тайна его искусства — в добычании самой полной, непререкаемой художественной истины, той истины, перед которой умолкает голос рассудка, уступая место лирике нашей души, очищенной и освященной восторгом. А это — конечная цель искусства.



Впервые
опубликовано
в газете «Курьер»
от 8 октября 1902 г. —
под псевдонимом
Джемс Линч.

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

О ШАЛЯПИНЕ

Я хожу и думаю. Я хожу и думаю — и думаю я о Федоре Ивановиче Шаляпине. Сейчас ночь; город уgomонился и засыпает: нет его назойливых звуков, нет его бессмысленно-пестрых красок, которые в течение всего дня терзают слух и зрение и так оскорбительны среди осеннего покоя и тихого умирания. Тихо на темной улице; тихо в комнате — и двери отперты для светлых образов, для странных смутных снов, что вызвал к жизни великий художник-певец.

И я хожу и думаю о Шаляпине. Я вспоминаю его пение, его мощную и стройную фигуру, его непостижимо-подвижное, чисто русское лицо, — и странные превращения происходят на моих глазах... Из-за добродушно и мягко очерченной физиономии вятского мужика на меня глядит сам Мефистофель со всею колючестью его черт и сатанинского ума, со всей его дьявольской злобой и таинственной недосказанностью. Сам Мефистофель, повторяю я. Не тот зубоскаляющий пошляк, что вместе с разочарованным парикмахером зря шатается по театральным подмосткам и скверно поет под дирижерскую палочку, — нет, настоящий дьявол, от которого веет ужасом. Вот таинственно, как и надо, исчезает в лице Шаляпина Мефистофель; одну секунду перед моими глазами то же мягко очерченное, смышленное мужицкое лицо — и медленно выступает величаво-скорбный образ царя Бориса, величественна плавная поступь, которой нельзя подделать, ибо годами повелительности создается она. Красивое, сожженное страстью лицо тирана, преступника, героя, пытавшегося на святой крови утвердить свой трон; мощный ум и воля и слабое человеческое сердце. А за Борисом — злобно щипящий царь Иван, такой хитрый, такой умный, такой злой и несчастный, а еще дальше — сурово-прекрасный и дикий Олоферн; милейший Фарлаф во всеоружии своей трусливой глупости, добродушия и бессознательного негодяйства и, наконец, создание последних дней — Еремка. Обратили вы внимание, как поет Шаляпин: «а я куму помогу-могу-могу». Послушайте — и вы поймете, что значит российское «лукавый попутал». Это не Шаляпин поет и не приплясывающий Еремка: это напевает самый воз дух, это поют сами мысли злополучного Петра. Зловещей таинственности этой простой песенки, всего дьявольского богатства ее оттенков нельзя передать простою речью.

И все это изумительное разнообразие лиц заключено в одном лице; все это дивное богатство умов, сердец и чувств — в одном уме

и сердце вятского крестьянина Федора Ивановича Шаляпина, а ныне, милостью его колоссального таланта, европейской знаменитости F. Schalapin'a. Просто не верится. Какой силой художественного проникновения и творчества должен быть одарен человек, чтобы осилить и пространство, и время, и среду, проникнуть в самые сокровенные глубины души, чуждой по национальности, по времени, по всему своему историческому складу, овладеть всеми ее тончайшими изгибами. Чуть ли не два века создавала Европа совокупными усилиями своих народов Мефистофеля и в муках создала его — и пришел Шаляпин и влез в него, как в свой полушубок, просто, спокойно и решительно. Так же спокойно влез он и в Бориса и в Олоферна — расстоянием он не стесняется, и я, ей-богу, не вижу в мире ни одной шкуры, которая была бы ему не по росту.

Творческой роли актеров и певцов принято отводить довольно скромные размеры: и слова у них чужие, и музыка чужая, и только толкование того и другого в их власти — да и то в известных пределах. Как ни пой Шаляпин «Блоху», а создали ее все-таки Гёте и Мусоргский, а не он. Оно так, но не совсем. Допустим такой случай: вылепивши из глины человека, творец позабыл бы вдохнуть в него жизнь — получилась бы глиняная фигура со всеми атрибутами и потенциями человека, но не человек. И много или мало сделал бы тот, кто дал бы жизнь неподвижной глине? Именно это и делает Шаляпин — он дает жизнь прекрасным глиняным и мраморным статуям. Давно существуют «Псковитянка» и Иван Грозный, и многие любовались им, — а живым не видел его никто, пока не явился Шаляпин. Живым, в самом строгом и определенном смысле этого слова, ну — как живы я и вы, мой читатель. Всегда находились на свете более или менее талантливые искусники, которые раскрашивали статуи под человеческое тело, приводили их в движение, и получалось так мило — совсем как живые. Как живые, но не живые — вот та непостижимая разница, что отличает творения Шаляпина от игры других талантливых артистов. Здесь начинается область великой тайны — здесь господствует гений. Большое слово написал я — но не беру его обратно.

Если взглянуть вниз на землю примерно с вершины Монблана, то разница в росте между отдельными людьми едва ли будет заметна. И когда с вершины творчества Шаляпина я гляжу на самого Шаляпина, меня перестает удивлять то, что так удивляет многих других: его появление с самых низов жизни, отсутствие у него образовательного ценза, и я начинаю думать, что университетский или иной диплом, этот лишний вершок роста, добытый тщательной поливкой, еще не делает человека высоким. Один мой знакомый, весьма высоко ставящий Горького и Шаляпина, положительно не хочет верить, чтобы они могли творить так без диплома, и недавно высказал догадку, что оба они тайно окончили университетский курс и притворяются самоучками для рекламы. Сам он, мой знакомый, имеет сто сорок четыре аттестата средних учебных заведений и сорок восемь дипломов высших и служит в настоящее время в акцизе — спирт меряет. Доказав его ошибку, я привел его в страшное смущение.

Ф. Шаляпин
Автопортрет
в роли Еремки
1916



Шаляпин назвал этот рисунок «эскиз к гриму» и написал на нем слова из песни разбитного кузнеца: «Ты, купец, со мною лучше не бранись.

А пониже ты Еремке поклонись!»

Этим ироничным и в то же время угрожающим словам как нельзя более соответствует рисунок. Александр Блок после просмотра оперы «Вражья сила» записал в дневнике: «Шаляпин в Еремке... достигает изображения пьяной наглости, хитрости, себе на уме, кровавости, ужаса».

— Неужели и в диплом нельзя верить? — спросил он, разложив по столу все двести свидетельств своих знаний и успехов. И на каждом была казенная печать и пять неразборчивых подписей.

— По-видимому, — ответил я грустно, вспоминая все свои свидетельства, начиная с свидетельства о привитии оспы, кончая клятвенным уверением, что по полицейскому праву я имею весьма отличную отметку (что, кстати, не внушает городовым ни малейшего ко мне почтения).

— О боже мой, — воскликнул он, — какое странное время! Во что же верить теперь?

— Попробуем верить в человека, — предложил я.

— Ну, уж в человека ни за что, — возмутился мой знакомый. — Недавно я дал человеку десять рублей, а он сдачи принес с пяти — как же стану я вам верить в человека!

Да, если не смешивать хронически человека с лакеем, то из факта существования Шаляпина можно вывести много утешительного. И отсутствие дипломов и всяких условных цензов и странная судьба Шаляпина с чудесным переходом от тьмы вятской заброшенной деревушки к вершине славы даст только лишний повод к радости и гордости: значит — силен человек. Значит — силен живой бог в человеке!

Я не беру на себя задачи достойно оценить Ф. И. Шаляпина — избави бог. Для этого нужна прежде всего далеко не фельетонная обстоятельность, а серьезная подготовка и хорошее знание музыки. И я надеюсь, хочу быть уверен, что эта благородная и трудная задача найдет для себя достойных исполнителей: когда-нибудь, быть может скоро, появится «Книга о Ф. Шаляпине», созданная совместными усилиями музыкантов и литераторов. Такая книга необходима. Нужно хоть отчасти исправить ту жестокую несправедливость жизни, что испокон веков тяготеет над певцами и актерами: их творения неотделимы от них самих, живут вместе с ними и вместе с ними умирают. Воспроизвести словом, как бы оно ни было талантливо, все те пышущие жизнью лица, в каких является Шаляпин, невозможно, и в этом смысле несправедливость судьбы непоправима. Но создать из творений Ф. И. Шаляпина прекрасную долговечную статую — эта задача вполне осуществима, и в осуществлении ее наши наиболее талантливые литераторы найдут благородное применение своим силам. Перед лицом всепожирающей вечности вступить за своего *собрата*, вырвать у нее хоть несколько лет жизни, возвысить свой протестующий голос еще перед одной несправедливостью — как это будет и дерзко, и человечно, и благородно! <...> Обидно подумать, что до сих пор над увековечением творений Шаляпина трудились: со стороны внешней картинности образа — фотограф Чеховской, со стороны звука — дико скребущийся, как запертая кошка, фонограф и репортеры.

Мои собственные намерения скромны: очарованный гениальным творчеством Шаляпина, натолкнутый им на массу мыслей и чувств, я хочу поделиться с читателем своими впечатлениями в

далеко не полной и не удовлетворительной форме газетного фельетона. Разве можно наперстком вычерпать океан, или удою вытащить на берег Левиафана, или в коротенькой, наскоро набросанной статейке воссоздать многоцветный и многогранный образ Ф. Шаляпина?

Сейчас поздняя ночь, все тихо, все спит, перед моими глазами встает Шаляпин — Мефистофель, не тот, что на сцене в «Фаусте», дивно загримированный, вооруженный всеми средствами театральной техники для воссоздания полной иллюзии, а тот, что поет «Блоху». Одет он просто, как и все, лицо у него обычное, как у всех. Когда Шаляпин становится к роялю, на губах его еще хранятся следы живой беседы и шутки. Но уже что-то далекое, что-то чужое проступает в крупных



Еремка —
Шаляпин

чертах его лица, и слишком остер сдержанный блеск его глаз. Он еще Ф. И., он еще может бросить мимолетную шутку, но уже чувствуется в нем присутствие кого-то неизвестного, беспокойного и немного страшного. Еще момент, какое-то неуловимое движение — и нет Шаляпина. Лицо неподвижно и бесстрастно нечеловеческим бесстрастием пронесшихся над этой головой столетий; губы строги и серьезные, но — странно — в своей строгости они уже улыбаются загадочной, невидимой и страшно тревожной улыбкой. И так же загадочно-бесстрастно звучат первые слова сатанинской песенки:

Жил-был король когда-то.

При нем блоха жила.

Блоха... Блоха...

В толпе слушателей некоторое движение и недоумевающие улыбки. Король и при нем блоха — странно и немного смешно. Блоха! А он — он тоже начинает улыбаться такой вкрадчивой и добродушной улыбкой — эка веселый, эка милый человек! Так в погребке когда-то с веселым недоумением и приятными надеждами должны были глядеть немецкие филистеры на настоящего Мефистофеля.

...Милей родного брата

Она ему была...

Что за чепуха! Блоха, которая милей родного брата, — что за странность! Быть может, это просто шутка? Наверно, шутка; он тоже смеется таким веселым и откровенным смехом:

Блоха... ха-ха-ха-ха-ха... Блоха!

Ха-ха-ха-ха-ха... Блоха!

Нет сомнения: речь идет о какой-то блохе. Экий шутник! Физиономии расплываются в приятные улыбки; кое-кто оглядывает-

ся на соседа и гыкает: гы-гы. Кое-кто начинает тревожно ерзать — что-то неладное он чувствует в этой шутке.

Зовет король портного.

— Послушай, ты, чурбан,

Для друга дорогого

Сшей бархатный кафтан!

Потеха! У слушателей уже готова улыбка, но улыбнуться они еще не смеют: он что-то неприятно серьезен. Но вот и его уста змеются улыбкой; ему тоже смешно:

Блохе кафтан? Ха-ха-ха-ха-ха-ха.

Блохе? Ха-ха-ха-ха-ха. Кафтан!

Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Блохе кафтан!

Ей-богу, смешно, но что-то загадочное и ужасно неприятное сквозит в этом смехе. Отчего кривятся улыбающиеся губы, и отчего у многих мелькает эта скверная догадка: черт возьми, о, порядочный я осел — чего я хохочу?

Вот в золото и бархат

Блоха наряжена,

И полная свобода

Ей при дворе дана.

Ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Блохе. Ха-ха-ха!

Он смеется, но откуда этот странный и страшный блеск в его глазах? И что это за неприличная нелепость: блоха, которой дана полная свобода при дворе! Зачем он так неприлично шутит! Смешно, очень смешно, но... но...но...

Король ей сан министра

И с ним звезду дает.

За нею и другие

Пошли все блохи в ход.

Ха-ха.

Позвольте, позвольте, — что это такое! Это насмешка. Кто этот незнакомец, так нагло издевающийся над кем-то, над чем-то... Что ему нужно? Зачем пришел он сюда, где так мирно распивалось пиво и пелась мирная песенка?

И самой королеве

И фрейлинам ея

От блох не стало мочи,

Не стало и житья.

Ха-ха.

Смятение. Все вскакивают. На лицах еще застыла жалкая улыбка одурченных простаков, но в глазах ужас. Это заключительное «ха-ха» дышит такой открытой злобой, таким сатанинским злорадством, таким дьявольским торжеством, что теперь у всех открылись глаза: это он, это дьявол. Глаза его мечут пламя — скорее прочь от него. Но ноги точно налиты свинцом и не двигаются с места; вот падает и звякает разбитая кружка; вот кто-то запоздало и бессмысленно гыкает: гы-гы, — и опять мертвая тишина и бледные лица с окаменевшими улыбками.

А он встает — громадный, страшный и сильный, он наклоняется над ними, он дышит над ними ужасом, и, как рой раскаленных камней, падают на их головы загадочные и страшные слова:

И тронуть-то бояться,
Не то чтобы их бить,
А мы, кто стал кусаться,
Тотчас давай — душисть!

Железным ураганом проносится это невероятное, непостижимо сильное и грозное «душить». И еще полон воздух раскаленного громового голоса, еще не закрылись в ужасе раскрытые рты, как уже звучит возмутительный, сатанински-добродушный смех:

Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха,
Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.

То есть — «извините, братцы, я, кажется, пошутил насчет какой-то блохи. Да, я пошутил — не выпить ли нам пивка: тут хорошее пиво. Эй, кельнер!» И братцы, недоверчиво косясь, втихомолку разыскивая у незнакомца предательский хвост, давятся пивом, приятно улыбаются, один за другим выскальзывают из погребка и молча у стеночки пробираются домой. И только дома, закрыв ставни и отгородившись от мира тучным телом фрау Маргариты, таинственно, с опаской шепчут ей:

— А знаешь, душечка, сегодня я, кажется, видел черта.



ШАЛЯПИН В SCALA

Впервые
опубликовано
в газете «Россия»
от 14 марта 1901 г.

— Да чего вы так волнуетесь?
— Выписывать русского певца в Италию!
Да ведь это — все равно что к вам стали
бы ввозить пшеницу!
Из разговоров

Я застал Милан, — конечно, артистический Милан, — в страшном волнении.

В знаменитой «галерее», на этом рынке оперных артистов, в редакциях театральных газет, которых здесь до пятнадцати, в театральных агентствах, которых тут до двадцати, только и слышно было:

— Scialapino!

Мефистофели, Риголетто, Раули волновались, кричали, невероятно жестикулировали.

— Это безобразие!

— Это черт знает что!

— Это неслыханный скандал!

Сцены разыгрывались презабавные.

— Десять спектаклей гарантированных! — вопил один бас, словно ограбленный. — По тысяче пятьсот франков за спектакль!

— O Madonna santissima! O Madonna santissima! — стонал, схватившись за голову, слушая его, тенор.

— Пятнадцать тысяч франков за какие-нибудь десять дней! Пятнадцать тысяч франков!

— O Dio mio! Mio Dio!

— Франков пятнадцать тысяч, франков! А не лир*, — гремел бас.

— O mamma mia! Mamma mia! — корчился тенор.

— Да чего вы столько волнуетесь? — спрашивал я знакомых артистов. — Ведь это не первый русский, который поет в Scala!

— Да, но то другое дело! То были русские певцы, делавшие итальянскую карьеру. У нас есть много испанцев, греков, поляков, русских, евреев. Они учатся в Италии, поют в Италии, наконец, добиваются и выступают в Scala. Это понятно! Но выписывать артиста на гастроли из Москвы! Это первый случай! Это неслыханно!

— Десять лет не ставили «Мефистофеля». Десять лет, — горчайше жаловался один бас, — потому что не было настоящего исполнителя. И вдруг Мефистофеля выписывают из Москвы. Да что у нас своих Мефистофелей нет? Вся галерея полна Мефистофелями. И вдруг выписывать откуда-то из Москвы. Срам для всех Мефистофелей, срам для всей Италии.

— Были русские, совершенно незнакомые Италии, которые сразу попадали в Scala. Но то другое дело! Они платили, и платили бешеные деньги, чтоб спеть! Они платили, а тут ему платят! Слыханное ли дело?

* Разница между
франком и лирой
в то время была
2 1/2 копейки.

— Мы годами добиваемся этой чести! Годами! — чуть не плакали кругом.

— Пятнадцать тысяч франков. И не лир, а франков!

И, наконец, один из наиболее интеллигентных певцов пояснил мне фразой, которую я поставил эпиграфом:

— Да ведь это — все равно что к вам стали бы ввозить пшеницу!

Было довольно противно. В артистах говорили ремесленники.

— Он будет освистан! — кричали итальянцы, чуть не грозя кулаками. — Он будет освистан!

— Да! Как же! — демонически хохотали другие. — Пятнадцать тысяч франков! Есть из чего заплатить клаке. Насажает клакеров.

— Все равно он будет освистан!

— Надо освистать и дирекцию!

— И Бойто! Зачем позволил это!

Начало не предвещало ничего хорошего.

И как раз в это время разыгрался скандал, «беспримерный в театральных летописях Италии».

К супруге г-на Шаляпина — в его отсутствие — явился г-н Мартинетти.

«Сам» Мартинетти, подписывающийся в письмах к артистам: «Martinetti e C°».

«Шеф» миланской клаки, без услуг которого не обходится *ни один* артист.

Эту шайку артисты называют «ladri in guanti gialli» — «негодяи в желтых перчатках», ненавидят и платят. «Мартинетти и К°» — гроза всего артистического мира.

Джентльмен в желтых перчатках явился и продиктовал свои условия:

— Ваш супруг уплатит нашей компании столько-то сот франков от спектакля и тогда может иметь успех. В противном случае...

Узнавши об этом, взбешенный артист ураганом налетел на дирекцию:

— Ну вас к черту! Если у вас такие порядки, — я петь отказываюсь. Понравлюсь я публике или не понравлюсь — другое дело. Но покупать себе аплодисменты! Я никогда аплодисментов не покупал и никогда покупать не буду!

«Отказал Мартинетти!» Это моментально облетело весь артистический мир и настолько поразило всех, что об этом появилась даже статья в политической газете «Corriere della sera».

Статья, в которой рассказывалось о «благородном ответе русского артиста», произвела сенсацию.

— Да он с ума сошел! — вопили одни. — Что они теперь с ним сделают! Что они с ним сделают!

— Да этого никогда не бывало! С тех пор, как Милан стоит!

— И так гласно! Публично! Черт знает что с ним теперь будет!

— Мартинетти не простит!

— Нет, это прямо сумасшедший!

Другие зато горячо хвалили:

— Молодчина!

— Вот это ответ, достойный истинного артиста!

— Довольно, на самом деле, пресмыкаться пред этими «негодьями в желтых перчатках»!

И среди тех, кто еще вчера никак не мог простить «пятнадцать тысяч франков, а не лир», уже многие говорили о г-не Шаляпине с восторгом.

В ремесленниках проснулись артисты.

На самом деле, надо знать, что такое эти «ladri in guanti gialli» и до какой степени зависят от них в Италии артисты, как позорно, как оскорбительно это иго.

Человек несет публике плоды своего таланта, искусства, вдохновения, труда и не смеет сделать этого, не заплативши «негодю в желтых перчатках». Иначе он будет опозорен, ошельмован, освистан. Его вечно шантажируют, и он вечно должен из своего заработка платить негодям, жать им руку, даже еще благодарить их.

Понятно, какой восторг вызвал этот *первый* отпор, который дал русский артист «негодям» и шантажистам, державшим в трепете весь артистический мир.

— Молодчина!

— Настоящий артист!

Тем не менее те, кто его особенно громко хвалил, отводили меня в сторону и конфиденциально говорили:

— Вы знакомы с Шаляпиным.

Ну, так посоветуйте ему... Конечно, это очень благородно, что он делает. Но это... все-таки это су-

масшество. Знаете, что страна — то свои обычаи. Вон Мадрид, например. Там в начале сезона прямо является представитель печати и представитель клаци. «Вы получаете семь тысяч франков в месяц? Да? Ну, так тысячу из них вы будете ежемесячно платить прессы, а пятьсот! — клаци». И платят. Во всякой стране свои обычаи. Нарушать их безнаказанно нельзя. Пусть помирится и сойдется с Мартинетти! Мы, бедные артисты, от всех зависим.

— Но публика! Публика!

— А! Что вы хотите от публики? Публика первых представлений! Публика холодная! К тому же она уже разозлена. Вы знаете, какие цены на места! В семь раз выше обыкновенных! Весь партер по тридцать пять франков. Это в кассе, а у барышников?! Что-то необыкновенное. Публика зла. Ну, и к тому же, вы понимаете... национальное чувство задето... Все итальянцы ездили в Россию, а тут вдруг русский, — и по неслыханной цене.

И это каждый день.

— Да скажите же вы Шаляпину, чтобы сошелся с Мартинетти. Такой-то из участвующих в спектакле дал сорок билетов клаци, такой-то — сорок пять.

— Отказываетесь советовать? Значит, вы желаете ему гибели.

— Что теперь с ним будет! Что это будет за скандал! Что за скандал!

Ф. Шаляпин в роли
Мефистофеля
Опера А. Бойто
«Мефистофель»
Рисунок П. Бучкина



Словом, как пишут в официальных газетах, «виды на урожай» были «ниже среднего». Вряд ли когда-нибудь артисту приходилось выступать при более неблагоприятных предзнаменованиях.

А репетиции шли.

Их было тридцать. В течение пятнадцати дней — утром и вечером. Только подумайте!

Артистический мир жадно прислушивался ко всему, что доходило из-за кулис.

— Ну, что?

Маэстро, г-н Тосканини, знаменитый дирижер, первый дирижер Италии, действительно гениальный за дирижерским пультом, встретил русского гастролера волком.

Когда г-н Шаляпин запел, как всегда поют на репетиции, вполголоса, маэстро остановил оркестр.

— И это всё?

— Что «всё»?

— Всё, что вы имеете? Весь ваш голос?

— Нет, полным голосом я буду петь на спектакле.

— Извините, я не был в Москве и не имел удовольствия вас слышать! — очень язвительно заметил маэстро. — Потрудитесь нам показать ваш голос.

После первого же акта он подошел к г-ну Шаляпину, дружески жал ему руку и осыпал его похвалами.

На одной из репетиций сам автор, Арриго Бойто, подошел к г-ну Шаляпину и сказал:

— Я никогда не думал, что так можно исполнять моего Мефистофеля!

Артисты на вопрос, как поет Шаляпин, отвечали:

— Очень хорошо. Превосходно!

И как будто немножко давились этими словами.

Секретарь театра говорил мне:

— О, это великий артист!

Тарашил при этом глаза и показывал рукой выше головы, что по-итальянски выходит: совсем уж очень хорошо.

— Ну, а что говорят хористы? Хористы — что?

Этим интересовались больше всего.

Хористы — вот самая опасная инстанция. Вот — сенат.

Нет судей более строгих. Ведь каждый из этих людей, томящихся на втором плане, мечтал разгуливать около рампы. Под этими потертыми пальто похоронены непризнанные Мефистофели, Валентины и Фаусты.

Они злы и придиричивы, как неудачники.

Но и хористы иначе не называли г-на Шаляпина:

— Великий артист!

И по «галерее» шел недружелюбный шум:

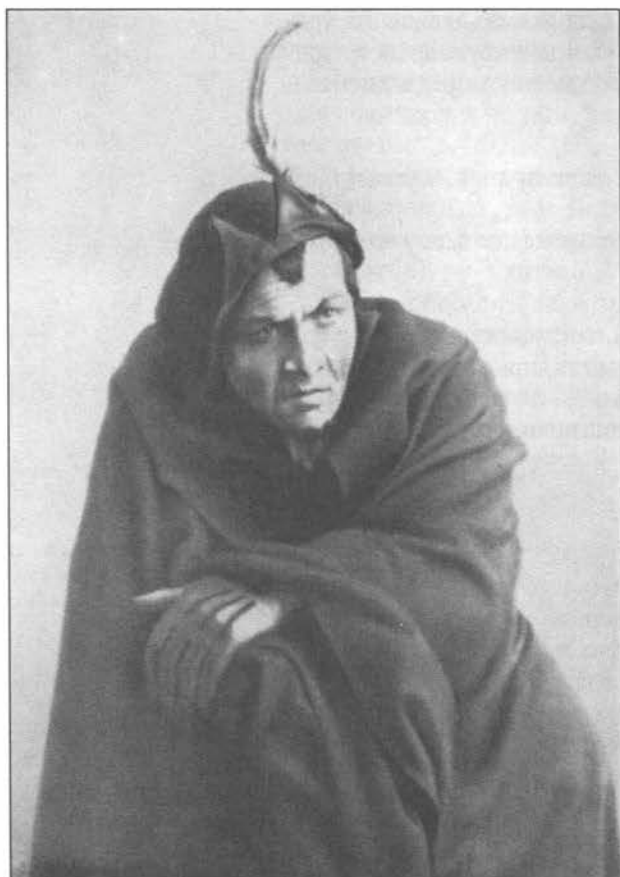
— Говорят, что действительно-таки великий артист!

И вот наконец прова генерале с декорациями, в костюмах и гриме.

Всеми правдами и неправдами, через друзей, я прошел в эту «святая святых», на генеральную репетицию Scala.



*В 1916 — 1917 годах
Петр Бучкин много
раз рисовал Шаляпина
за кулисами и
у него дома.
Было сделано около
двадцати натурных
зарисовок.
Воспроизведенный
здесь портрет
(в числе 130 других
своих произведений)
художник подарил
Угличу — городу,
где прошли
его детство и юность.*



*Мефистофель —
Шаляпин*

В первых рядах сидел Арриго Бойто, внимательный, сосредоточенный, задумчивый.

Эта опера надломила его жизнь.

Двадцать лет тому назад, при первом представлении, «Мефистофель» был освистан, провал был жесточайший, неслыханный.

Потом опера шла много раз, но рана, нанесенная молодому сердцу, не заживала.

Бойто написал эту оперу, когда был молодым человеком с густой черной шевелюрой, с лихо закрученными усами, со смелым, вызывающим взглядом.

Теперь в кресле, немного согрившись, сидел человек с редкими седыми волосами, седыми усами и грустным взглядом.

Через двадцать лет, почти стариком, он апеллировал почти к другому поколению на несправедливый приговор, отравивший ему жизнь. С иностранцем — в качестве адвоката.

Когда кончился пролог, действительно удивительно исполнен-

ный, Бойто поднял голову и сказал, ни к кому не обращаясь. Гром-

ко высказал мысль, которая томила его двадцать лет:

— Мне кажется, это произведение вовсе не таково, чтобы ему свистать. Мне кажется, что это даже недурно.

И Бойто пошел позвать руку Шаляпина.

— Таким Мефистофелем вы произведете сенсацию.

На спектакле Бойто не был.

В вечер спектакля он разделся и в восемь часов улегся в кровать, словно приготовившись к тяжелой операции.

Каждый антракт к нему бегали с известиями из театра:

— Пролог повторен.

— «Fischio» покрыто аплодисментами.

— Карузо (тенор) имеет большой успех.

— Шаляпин имеет грандиозный успех.

— Квартет в саду повторен.

— Публика вызывает вас, маэстро.

Но Бойто качал головой, охал и лежал в постели, ожидая конца мучительной операции.

— Маэстро, да вставайте же! Идем в театр! Вас вызывают!

Он молча качал головой.

С тех пор как освистали его «Мефистофеля», он не ходит в театр.

Он не желает видеть публики...

Он на нее сердит и не хочет, не может ее простить.
Старик сердится за юношу, которому отравили молодость.
А спектакль был великолепен.

Самый большой театр мира набит сверху донизу. Толпы стоят в проходах.

Я никогда не думал, что Милан — такой богатый город. Целые россыпи бриллиантов горят в шести ярусах лож, — великолепных лож, из которых каждая отделана «владельцем» по своему вкусу. Великолепные туалеты.

Все, что есть в Милане знатного, богатого, знаменитого, налицо.

Страшно нервный маэстро Тосканини, бледный, взволнованный, занимает свое место среди колоссального оркестра.

Аккорд — и в ответ, из-за опущенного занавеса, откуда-то издали доносится тихое пение труб, благоговейное, как звуки органа в католическом соборе.

Словно эхо молитв, доносящихся с земли, откликается в небе. Занавес поднялся.

Пропели трубы славу Творцу, прогремело «аллилуйя» небесных хоров, дисканты наперебой прославили всемогущего, — оркестр дрогнул от странных аккордов, словно какие-то уродливые скачки по облакам, раздалась мрачные ноты фаготов, — и на ясном темно-голубом небе, среди звезд, медленно выплыла мрачная, странная фигура.

Только в кошмаре видишь такие зловещие фигуры.

Огромная черная запятая на голубом небе.

Что-то уродливое, с резкими очертаниями, шевелящееся.

Strano figlio del Caos. «Блажное детище Хаоса».

Откровенно говоря, у меня замерло сердце в эту минуту.

Могуче, дерзко, красиво разнесся по залу великолепный голос:

— Ave, Signor!

Уже эти первые ноты покорили публику. Музыкальный народ сразу увидел, с кем имеет дело. По залу пронесся ропот одобрения.

Публика с изумлением слушала русского певца, безукоризненно по-итальянски исполнявшего вещь, в которой фразировка — всё. Ни одно слово, полное иронии и сарказма, не пропало.

Кидая в небо, туда наверх, свои облеченные в почтительную форму насмешки, Мефистофель распахнул черное покрывало, в которое закутан с головы до ног, и показались великолепно гримированные голые руки и наполовину обнаженная грудь — костлявые, мускулистые, могучие.

Решительно, из Шаляпина вышел бы замечательный художник, если б он не был удивительным артистом.

Он не только поет, играет, — он рисует, он лепит на сцене. Эта зловещая голая фигура, завернутая в черное покрывало, гипнотизирует и давит зрителя.

— Ха-ха-ха! Сейчас видно, что русский! Голый! Из бани? — шептали между собой Мефистофели, сидевшие в партере.

Один из театральных критиков, анализируя созданные Шаляпиным образы Мефистофеля в операх Бойто и Гуно, писал: «Ни одна страна не создала Гёте такого величественного живого памятника, как Россия. Памятник этот — Шаляпин... Бесконечно жаль одного: что это замечательное создание нельзя зафиксировать, чтобы сделать его вечным, чтобы и грядущие века могли его видеть». Справедливости ради отметим, что многочисленные портреты, сделанные разными художниками, в какой-то мере восполняют наше представление о великом певце и доносят до нас художественную неповторимость сценических шедевров Шаляпина.



Мефистофель —
Шаляпин
Рисунок
Д. Мельникова

Но это было шипение раздавленных.

Народ-художник сразу увлекся.

Бойто был прав. *Такого* Мефистофеля не видела Италия. Он действительно произвел *сенсацию*.

Мастерское пение пролога кончилось. Заворковали дисканты.

— Мне неприятны эти ангелочки! Они жужжат, словно пчелы в улье! — С каким отвращением были спеты эти слова.

Мефистофель весь съежился, с головой завернулся в свою хламиду, словно на самом деле закусанный пчелиным роем, и нырнул в облака, как крыса в нору, спасаясь от преследования.

Театр действительно «дрогнул от рукоплесканий». Так аплодируют только в Италии. Горячо, восторженно, все сверху донизу.

В аплодисментах утонуло пение хоров, могучие аккорды оркестра. Публика ничего не хотела знать.

— Bravo, Scialapino!

Пришлось — нечто небывалое — прервать пролог. Мефистофель из облаков вышел на авансцену раскланиваться и долго стоял, вероятно, взволнованный, потрясенный. Публика его не отпускала.

Публика бесновалась. Что наши тощие и жалкие вопли шалаяпинисток перед этой бурей, перед этим ураганом восторженной, пришедшей в экстаз итальянской толпы! Унылый свет призрачного солнца сквозь кислый туман по сравнению с горячим, жгучим полуденным солнцем.

Я оглянулся. В ложах все повскакало с мест. Кричало, вопило, махало платками. Партер ревел.

Можно было ждать успеха. Но такого восторга, такой овации...

А что делалось по окончании пролога, когда Тосканини, бледный как смерть, весь обливаясь потом, закончил его таким могучим, невероятным фортиссимо, что, казалось, рушится театр!

Буря аплодисментов разразилась с новой силой.

— Bravo, bravo, Scialapino!

Все, кажется, русские певцы, учащиеся в Милане, были на спектакле. Многие перезаложили пальто, чтоб только попасть в театр.

Все подходили друг к другу, сияющие, радостные, ликующие, почти поздравляли друг друга.

— А? Что? Каковы успехи?

— Молодчина Шалаяпин!

Все сходились в одном:

— Что-то невиданное даже в Италии!

А публика — не нашей чета. Слушая, как кругом разбирают каждую ноту, с каким умением, знанием, кажется, что весь театр наполнен сверху донизу одними музыкальными критиками,

Простой офицер берсальеров разбирает ноту за нотой, словно генерал Кюи!

Те, кто вчера уповали еще на «патриотизм» итальянской публики, имеют вид уничтоженный и положительно нуждаются в утешении.

— Конечно, отлично! Конечно, отлично! — чуть не плачет один мой знакомый бас. — Но он, вероятно, пел эту партию тысячи раз. Всякий жест, всякая нота выучены!



Размышляя над образом Мефистофеля, Шляпин писал: «О внешности своего героя Гёте говорит чрезвычайно мало. Шляпа с пером, шлага на боку! Только мелкие подробности, ничего существенного и осязательного.

Артист должен превратиться в ваятеля, должен на основе данных, заключенных в поэтическом произведении, и собственного воображения вылепить образ Мефистофеля...

Я стремился создать реальный образ. Как я его представляю, как он выглядит? Прежде всего, черт не так страшен и безобразен, как его малюют. Он скорее красив...

Не следует трактовать Мефистофеля как олицетворение злых и темных адских сил... Мефистофель — символ земных дел, людских страстей».

Автошарж и фотография Шляпина в роли Мефистофеля

— Представьте, Шляпин никогда не пел бойцовского Мефистофеля. Это в первый раз.

— Вы ошибаетесь! Вы ошибаетесь!

— Да уверяю вас, не пел никогда. Спросите у него самого!

— Он говорит неправду! Это неправда! Это неправда!

И бедняга убежал, махая руками, крича:

— Неправда! Никогда не поверю!

А между тем Шляпин действительно в первый раз в жизни исполнял бойцовского Мефистофеля. В первый раз и на чужом языке.

Он создавал Мефистофеля. Создавал в порыве вдохновения: на спектакле не было ничего похожего даже на то, что было на репетиции.

Артист творил на сцене.

Во второй картине, на народном гулянье, Мефистофель ничего не поет. В сером костюме монаха* он только преследует Фауста.

И снова, — без слова, без звука, — стильная фигура.

Словно оторвавшийся клочок тумана ползет по сцене, ползет странно, какими-то зигзагами. Что-то отвратительное, страшное, зловещее есть в этой фигуре.

Становится жутко, когда он подходит к Фаусту.

И вот наконец кабинет Фауста.

— Incubus! Incubus! Incubus!

Серая хламида падает, и из занавески, из которой высовывалась только отвратительная, словно мертвая, голова дьявола, появляется Мефистофель в черном костюме, с буфами цвета запекшейся крови.

Как он тут произносит каждое слово:

— Частица силы той, которая, стремясь ко злу, творит одно добро.

Какой злобой и сожалением звучат последние слова!

После Эрнста Поссарта в трагедии я никогда не видал такого Мефистофеля!

Знаменитое «Fischio».

Весь шляпинский Мефистофель в «Фаусте» Гуно — нуль, ничто в сравнении с одной этой песнью.

* Соответственно одной старой легенде. Это вовсе не «вольность» Бойто.

— Да, это настоящий дьявол! — говорила вся публика в антракте.

— Каждый жест, каждая ухватка! И удивительная мимика. Бездна чего-то истинно дьявольского в каждой интонации.

«Fischio» снова вызвало гром аплодисментов.

Теперь уже нечего было заботиться об успехе.

Такой Мефистофель увлек публику.

Говорили не только о певце, но и об удивительном актере.

Фойе имело в антрактах прекурёзный вид.

Горячо обсуждая, как была произнесена та или другая фраза, увлекающиеся итальянцы отчаянно гримасничали, повторяли его позы, его жесты.

Все фойе было полно фрачниками в позах Мефистофеля, фрачниками с жестами Мефистофеля, фрачниками с мефистофельскими гримасами! Зрелище, едва ли не самое курьезное в мире.

Сцена с Мартой знакома по исполнению в «Фаусте». Следует помянуть только об удивительно эффектном и сильном красном костюме по рисунку Поленова.

Мефистофелю приходится заниматься совсем несвойственным делом: крутить голову старой бабе! Он неуклюж в этой новой роли. Он — самый отчаянный, развязный, но неуклюжий хлыщ.

Каждая его поза, картинная и характерная, вызывает смех и ропот одобренья в театре.

Блестящи переходы от ухаживания за Мартой к наблюдениям за Фаустом и Маргаритой.

Лицо, только что дышавшее пошлостью, становится вдруг мрачным, злобным, выжидающим.

Как коршун крови, он ждет, не скажет ли Фауст заветное:

— Мгновенье, остановись! Ты так прекрасно!

Это собака, караулящая дичь. Он весь внимание. Весь злобное ожидание:

— Да когда же? Когда?

Квартет в саду был повторен.

Ночь на Брокене, — здесь Мефистофель разворачивается во всю. Он царь здесь, он владыка!

— Ессо, il mondo! — восклицает он, держа в руках глобус.

И эта песнь у Шаляпина выходит изумительно. Сколько сарказма, сколько презрения передает он пением!

Он оживляет весь этот акт, несколько длинный, полный нескончаемых танцев и шествий теней.

Когда он замешался в толпу танцующих, простирая руки над пляшущими ведьмами, словно дирижируя ими, словно благословляя их на оргию, — он был великолепен.

Занавес падает вовремя, черт возьми!

На какую оргию благословляет с отвратительной улыбкой, расползшейся по всему лицу, опьяневший от сладострастия дьявол!

— Какая мимика! Какая мимика! — раздавалось в антракте наряду с восклицаниями:

— Какой голос! Какой голос...

Классическая ночь. Мефистофелю не по себе под небом Эллады. Этому немцу скверно в Греции.

— То ли дело Брокен, — тоскует он, — то ли дело север, где я дышу смолистым воздухом елей и сосен. Вдыхаю испарения болот.

И по каждому движению, неловкому и нескладному, вы видите, что «блажному детищу Хаоса» не по себе.

Среди правильной и строгой красоты линий, среди кудрявых рощ и спокойных вод, утонувших в мягком лунном свете, — он является резким диссонансом, мрачным и желчным протестом.

Он — лишний, он чужой здесь. Все так чуждо ему, что он не знает куда девать свои руки и ноги. Это не то, что Брокен, где он был дома.

И артист дает изумительный контраст Мефистофеля на Брокене и Мефистофеля в Элладе.

Последний акт начинается длинной паузой. В то время, как г-н Карузо, словно гипсовый котенок, для чего-то качает головой, сидя над книгой, все внимание зрителей поглощено фигурой Мефистофеля, стоящего за креслом.

Он снова давит, гнетет своим мрачным величием, своей саркастической улыбкой.

— Ну, гордый мыслитель! Смерть приближается. Жизнь уже прожита. А ты так и не сказал до сих пор: «Мгновенье, остановись! Ты так прекрасно!»

Чтобы создать чудную иллюстрацию к пушкинской «сцене из Фауста», чтоб создать идеального Мефистофеля, спрашивающего:

А был ли счастлив?

Отвечай!.. —

стоит только срисовать Шаляпина в этот момент.

А полный отчаяния вопль: «Фауст, Фауст!» — когда раздаются голоса поющих ангелов.

Сколько ужаса в этом крике, от которого вздрогнул весь театр!

И, когда Мефистофель проваливается, весь партер поднялся:

— Смотрите! Смотрите!

Этот удивительный артист, имеющий такой огромный успех, — в то же время единственный артист, который умеет проваливаться на сцене.

Вы помните, как он проваливается в «Фаусте». Перед вами какой-то черный вихрь, который закрутился и сгинул.

В «Мефистофеле» иначе.

Этот упорный, озлобленный дух, до последней минуты споривший с небом, исчезает медленно.

Луч света, падающий с небес, уничтожает его, розы, которые сыплются на него, жгут. Он в корчах медленно опускается в землю, словно земля засасывает его против воли.

И зал снова разражается аплодисментами после этой великолепной картины.

— Из простого «провала» сделать такую картину! Великий артист!

И кругом, среди расходящейся публики, только и слышишь:

— Великий артист! Великий артист!



Ф. И. Шаляпин
Шарж братьев Легат

Победа русского артиста над итальянской публикой действительно — победа полная, блестящая, небывалая.

— Ну, что же Мартинетти с его «ladri in guanti gialli»? — спрашиваю я при выходе у одного знакомого певца.

Тот только свистнул в ответ.

— Вы видели, какой прием! Мартинетти и К° не дураки. Они знают публику. Попробовал бы кто-нибудь! Ему переломали бы ребра! В такие минуты итальянской публике нельзя противоречить!

И бедным Мартинетти и К° пришлось смолчать.

— Да разве кто знал, что это такой артист! Разве кто мог пред-
ставить, чтобы у вас там, в России, мог быть такой артист.

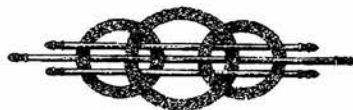


*Анджело Мазини**

Письмо в газету «Новое время»
[15 марта 1901 года]

Пишу вам под свежим впечатлением спектакля с участием вашего Шаляпина. Он выступил в опере «Мефистофель». Публика театра Scala особенно взыскательна к молодым и неизвестным ей певцам. Но этот вечер был настоящим триумфом для русского артиста, вызвавшего громадный энтузиазм слушателей и бурные овации. Глубокое впечатление, произведенное Шаляпиным, вполне понятно. Это и прекрасный певец и превосходный актер, а вдобавок у него прямо дантовское произношение. Удивительное явление в артисте, для которого итальянский язык не родной. Слушая его, я испытываю двойное наслаждение оттого, что этот певец — русский певец, из той России, с которой я сроднился и которую люблю.

* А. Мазини — итальянский певец, перед талантом которого Шаляпин преклонялся и говорил: «Мазини был серафим от Бога». — Ред.



«БОРИС ГОДУНОВ» МУСОРГСКОГО

Из книги Эдуарда
Старка (Зигфрида)
«Шаляпин» (Пг., 1915),
изданной к 25-летию
сценической
деятельности
Ф. И. Шаляпина.

Трагедия умирает... «Для меня так это ясно, как простая гамма», — вторю я слова пушкинского Сальери.

Да, трагедия умирает. Стихийные движения человеческой души, бурные порывы страстей, грандиозные размахи железной воли не привлекают более внимания искусства, и оно с высоты, где прежде обитало, прекрасное, гордое, спустилось сюда, на землю, и... забралось в подвал, а здесь, придавленное тяжелым сумраком буден, само стало приниженным, худосочным, серым, как эти проклятые будни, в которых влачимся мы — «чада праха». Искусство занялось изображением повседневного, обыденного и, соответственно своим задачам, потребовало для служения себе и жрецов, таких же мелких, таких же скудных, неспособных околдовать сердца людей.

Умирает трагедия, умирает великое искусство, гордое и свободное, отходят в тень и великие жрецы его. Нет больше трагиков! Некому воплощать на сцене образы Шекспира, Шиллера, Гёте и других титанов искусства, и их удел отныне — покрываться пылью в тиши библиотечных шкафов.

И все-таки — последний час еще не пробил! Еще мы наслаждаемся последними вспышками трагедии, которая перенеслась на оперную сцену, дивно воплотясь в образе Шаляпина. Шаляпин — последний трагик.

* * *

Первое сентября 1598 года. Торжественно венчается на царство боярин Борис Феодорович Годунов... Исполнилась заветная мечта долгих лет. Увлéкаемый стихийной силой честолюбия, устранив все препятствия, Годунов достиг высшего величия, воссел на престол великих царей московских. Свершилось! Торжественный трезвон кремлевских колоколов вещает всей Москве, что новый царь помазан на царство великим Патриархом.

И вот он выходит из Успенского собора, в предшествии рынд, и по красному помосту, ведущему сквозь толпу, медленно движется в Архангельский собор, поддерживаемый под левую руку ближним боярином, под правую — князем Василием Ивановичем Шуйским. Какое величие! Красота какая! Какая истинная царственность во всем облике, в выражении лица, в торжественной поступи! Вот Борис приближается, еще шаг — и он останавливается, исполненный крайней сосредоточенности, и начинает вдумчиво и тихо:

Скорбит душа.
Какой-то страх невольный
Зловещим предчувствием
Сковал мне сердце.

В этом кратком мгновении, в этих немногих словах, в которых внятно звучит тревожное чувство, еще только нарождающееся, еще не осознанное, — уже заложено, уже ясно видится зерно грядущей трагедии. И вдруг разрастается широкая фраза, вдруг льются мощные, полные восторженного настроения звуки:

О праведник, о мой отец державный!..

Дивное, изумительно выдержанное *mezza-voce* оттеняет всю глубину мольбы, исходящей из царского сердца:

Возри с небес на слезы верных слуг

И ниспошли ты мне

Священное на власть благословенье.

Голос Шаляпина звучит здесь, как орган, так же плавно, так же могуче, так же широко, с какою-то особенною красотой тембра, и сливается в полной гармонии с аккордами оркестра, проникновенно знаменующими великую торжественность этого мига.

Еще задушевнее, еще искреннее раскрывается высокое стремление нововенчанного царя:

Да буду благ и праведен, как ты.

Все сознание великого бремени, принятого им на себя, прорывается в словах:

Да правлю я во славе свой народ!

И исполненный царского величия взор устремляется на собравшуюся толпу.

Шаг вперед.

Теперь... поклонимся гробам

Почиющих властителей Руси.

И вдруг останавливается, и в голосе сразу слышатся непреклонные нотки привыкшего повелевать властелина, что так хорошо подчеркивается здесь и самой музыкой:

А там — сзывать весь наш народ на пир,

Всех, от вельмож до нищего слепца!

Да, истинно царское величие, царская щедрость и широта души — открыть вход в царские палаты на радостный пир всему народу. И надо слышать эту широту звука и удивительно выражаемое радушие:

Всем вольный вход, все гости дорогие!

Дальше движется шествие к Архангельскому собору. Дойдя до его паперти, царь опускается на колени и склоняется во прах, касаясь лбом пола, являя величайшее смирение, весь проникнутый сознанием необычайной торжественности переживаемой минуты. Поднимается и, со взором, устремленным к небу, осеняя себя крестным знамением, входит в собор на поклонение «почиющим властителям Руси». А спустя малое время выходит оттуда, за ним бояре, дождем сыплющие деньги; народ, который тщетно пытается оттеснить стража, кидается подбирать монеты. А сверху звучат колокола, торжественно вещая всей Москве, что новый царь помазан на царство великим Патриархом.

Прошло пять с лишком лет. На высоте правления спокойного, безмятежного мы застаем царя Бориса. Перед нами внутренность царского терема в Московском Кремле. Только что в увлекательной живости разыгрались в хлест царевич Феодор и мамка, меж тем как царевна Ксения, пригорюнившись, сидит в стороне, — как входит Борис. «Ахти!» — вскрикивает мамка.

Чего? Аль лютый зверь наседку всполохнул?

Шутка, а вот не отражается она в звуках голоса, потому что давно уже темна душа царя. Тяжелые думы вымели прочь последние остатки радости, и если порой шутка и слетит с языка, то она мрачна; не заиграет на устах благодатная улыбка, и радостью не озарится суровое лицо царя. Медленно подходит он к любимой дочери, и только тут словно вдруг согревается его давно застывшее сердце, и бесконечной теплотой, любовью, лаской проникнут голос:

Что, Ксения? Что, милая моя?

В невестах уж печальная вдовица.

Всё плачешь ты о мертвом женихе.

И во время ответа Ксении: «О государь, не огорчайся ты слезою девичьей» — с беспредельной нежностью обнимает он ее за плечи, и сколько отцовской заботы, любви и тревоги за дорогое дитя слышится в его голосе, когда он говорит:

Дитя мое, моя голубка!..

Беседой теплою с подругами, в светлице,

Рассей свой ум от дум тяжелых!..

Обращается к сыну. Здесь уже другой оттенок в голосе, тоже ласка, но она направлена к сыну, отроку, и потому в ней больше мужественности:

А ты, мой сын, чем занят?

Нежно берет его за голову и целует в правую щеку, — очаровательный по выразительности, по естественности жест царя-отца, горячо любящего своих детей. И спрашивая: «Это что?» — с величайшим вниманием устремляет взгляд на географическую карту, разложенную перед царевичем на столе. Ответ Феодора повергает его в восхищение:

Как хорошо, мой сын!

С необыкновенной силой, весь горя увлечением, Борис продолжает, и звук его голоса разливается вдруг широкой волной:

Как с облаков, ты можешь обозреть

Всё царство вдруг: границы, грады, реки...

Так и чувствуется здесь человек с врожденной склонностью к просвещению, стоящий выше той среды, откуда он вышел, царь-западник, чтящий и уважающий европейскую культуру, к которой он не прочь не только сам приобщиться, но приобщить и свой народ. Из этого его восторга и увлечения перед «чертежом земли московской» так естественно вытекает наставительный тон, с каким он обращается к сыну: «Учись, Феодор». И сразу всплывает томящее царя тревожное предчувствие:



*Шаляпин в роли
Бориса Годунова
Художник
Н. Харитонов*

Когда-нибудь, и скоро может быть,
Тебе все это царство достанется.

И снова наставительно, но с чуть заметным оттенком ласковости в голосе, заключает он свою речь: «Учись, дитя!»

Во весь рост обрисовался в этой сцене царь Борис как просвещенный государь, как нежный, искренне пекущийся о своих дорогих чадах отец. В единый миг, в короткой сцене, в немногих словах ярко озарилась перед зрителями лучшая сторона души царя Бориса, привлекающая к нему симпатии. Таково свойство таланта Шаляпина — краткие мгновения превращать в блистающие светом, содержательнейшие картины. Не мудрено, что связная цепь таких картин дает исчерпывающее представление о характере какого-нибудь лица, как бы этот характер ни был сложен и грандиозен; не мудрено, что следующий монолог Бориса производит потрясающее впечатление.

Достиг я высшей власти.

Шестой уж год я царствую спокойно,

Но счастья нет моей измученной душе.

Вдумчиво, с громадным сосредоточением мысли, начинает Шаляпин свой монолог; сильно подчеркивает слово «счастья» и великолепно выдержанным *mezza-voce*, понижая до совершенного *piano*, передает всю действительно потрясающую душевную муку при слове «измученной». С полным убеждением в неизбежности ужасного конца, мысль о котором, тайно от всех, гнетет его страдавшую душу, произносит он знаменательную фразу, которая потом, как сбывшееся пророчество, прозвучит в оркестре над его трупом:

Напрасно мне кудесники сулят

Дни долгие, дни власти безмятежной!

И затем сильно выделяет, с постепенным повышением на словах «славы оболыщенья»:

Ни жизнь, ни власть, ни славы оболыщенья

Меня не веселят.

Грустно делается на сердце от этих слов, за человека грустно, который всего достиг, чего желал, взошел на высоту последнюю, какая доступна смертному, и вот стоит, отягченный собственной судьбою, падая под ее ударами.

Борис садится в кресло, и невыразимой печалью, отцовской нежностью веет от слов, льющих в элегической мелодии:

В семье своей я мнил найти отраду,

Готовил дочери веселый брачный пир...

Открывается рана сердца, отцовского любящего сердца, по капле точит она кровь, и нечем залечить ее...

С досадою Борис ударяет по ручке кресла:

Как буря, смерть уносит жениха.

И затем — точно черный вихрь налетает на душу царя, и поднимается все смутное, что годами накоплялось и залегло где-то на самом дне ее, все тайные тревоги, все муки совести, всё, чего никому нельзя сказать, весь ужас одиночества, в какое погружен он, великий государь всяя Руси. Тревогою, отчаянием человека, потянувшего опору, звучит голос Бориса:

Тяжка десница грозного судьи,
Ужасен приговор душе преступной,
Окрест лишь тьма и мрак непроглядный...

Это слово «непроглядный» произносится так выразительно, что перед вами точно встает необъятная темнота, которой нет ни начала, ни конца и где рождаются лишь удушающие кошмары, роятся бестолковой толпою призраки, возникают какие-то уродливые, бросающие в холод видения и, налетая на душу человека, гложут и мучат ее. Бесконечная тоска слышится в словах:

Хотя мелькнул бы луч отрады!..

Слышится полное недоумение, безотчетный трепет, каждую минуту возникающий в душе:

Тоскует-томится дух усталый,
Какой-то трепет тайный,
Все ждешь чего-то!..

Это «ждешь чего-то» — неподражаемо по интонации, исполненной глубочайшего недоумения и страха перед чем-то неведомым, что вот-вот появится... А царь продолжает, и, чем дальше, тем скорбь безмернее, и душевная мука выступает наружу в еще более ярких чертах.

Молитвой теплой к угодникам божьим
Я мнил заглушить души страданья!..

Открывается самое ужасное для человека верующего: религия не дала ему утешения; там, где умирятся тревоги, утихают страсти, там, перед алтарем, перед святой иконой, не нашел несчастный царь отрады страдающему сердцу, и нечем утишить боль и заглушить терзанья. И кого же постигла такая злая участь, такая черная судьба?.. Царя, помазанника божия, стоящего превыше всех людей, держащего в своих руках судьбы обширнейшего царства.

В величии и блеске власти безграничной,
Руси владыка — я слёз просил мне в утешенье...

Когда он произносит: «власти безграничной», мощно усиливая звук, вы точно чувствуете эту безграничность, — так неподражаемо умеет Шаляпин одним нарастанием звука вызвать отчетливое представление о характере и сущности любого явления.

И вдруг его охватывает чувство гневного возмущения причинами врагов, не дающих спокойно царствовать, посягающих на крепость государства, и горькое сознание своего бессилия отвести бедствия, постигшие Русскую землю:

А там донос: бояр крамолы,
Козни Литвы и тайные подкопы,
Глад, и мор, и трус, и разоренье...

Новое чувство волнует царя: беспредельная грусть о народе. Ведь он, вступая на престол, молил: «да правлю я во славе свой народ», он искренне желал его блага, он был действительно заботливым правителем, стремящимся к тому, чтобы под его державой дышалось всем легко. Но, боже! что вышло из его неусыпных забот, к чему свелись его высокие стремленья.

Словно дикий зверь, бродит люд зачумленный,
Голодная, бедная стонет Русь!..

Последние слова он произносит с дрожью в голосе, и неподдельное горе слышится в них. Ничего не вышло из всех его благих намерений. Судьба гонит его и, в довершение всех бед, насылает на него еще удар, самый тяжкий, самый несправедливый:

И в лютом горе, ниспосланном богом
За тяжкий наш грех в испытанье,
Виной всех зол меня нарекают,
Клянут на площадях имя Бориса!..

Поразительно звучит здесь глубокая убежденность Бориса в неотвратимости всего совершающегося, его безусловная вера в божий промысел. Ему, этому промыслу, угодно было, чтобы Русь посетили испытания тяжелые, быть может превосходящие терпение народное. За что же он один в ответе, великий государь? Карающую десницу всемогущего судьи не под силу отворотить смертному, хотя бы он носил царственный венец. За что же проклинают имя Бориса, за что возлагают на него тяжелый ответ за все происходящее в царстве?.. Ужасное сознание, оно еще увеличивает непосильную тягость мрачных дум...

И, наконец, последнее, самое страшное, этот призрак, неотступно стоящий перед взором царя... «Дитя окровавленное!..» Смятением и ужасом исполнены слова царя!.. «Дитя окровавленное встает...» Ему тяжело дышать, перехватило горло, сердце бьется все быстрее, быстрее, слова вырываются из уст толчками... «Очи пылают, стиснув ручонки, молит пощады...» О, каким отчаянием звучит голос Бориса: «И не было пощады!..» Какой крик вырывается из горла... Что отдал бы он в этот миг за то, чтобы была пощада? Все променял бы он: венец, почет, власть, царственную пышность, — все отдал бы за мир души, за сладостный покой измученного сердца, за то, чтобы не было видений, мутящих ум и ледящих в жилах кровь... А это невозможно, невозможно!.. «Не было пощады! Страшная рана зияет...» Он видит, как она зияет, он почти ощущает эту зияющую рану... «Слышится крик его предсмертный...» Этот крик впивается ему в душу, не дает никуда уйти, он наполняет царящую окрест ночную тишину, он отдается раздирающим воплем в его разгоряченном мозгу, и некуда бежать, и негде искать спасения... «О господи, боже мой!..» И с этим последним, мучительнейшим, заглушенным воплем, не в силах дольше сносить весь этот вихрь терзаний, несчастный царь склоняется на лавку, роняет голову на стол и так замирает неподвижно...

Но ненадолго. Ему не дадут покоя. Тихо открывается дверь, робко, несмело появляется ближний боярин с докладом о приходе князя Шуйского. Не сразу удастся Борису очнуться от только что перенесенной душевной бури, и, чтобы скрыть ее следы от постороннего, быть может слишком пытливого, взора, он отворачивает от боярина свое лицо, и необычайная усталость сквозит в его чертах. А боярин, не теряя времени, нашептывает донос о том, что тайная беседа велась в доме у Пушкина между хозяином, Мстиславским, Шуйским и другими, что гонец из Кракова приехал и привез...

«Гонца схватить!» — в страшном гневе дает приказание царь, встает, выпрямляется, глаза мечут молнии... «Ага, Шуйский

князь!..» Знаменательно звучит эта фраза, полная тайной угрозы; дескать, теперь-то я поймал тебя, слуга мудрый, но изворотливый и лживый.

Входит Шуйский, следом за ним царевич, усаживающийся к своему столу. Борис все еще стоит спиной к двери. Он понемногу овладевает собой и уже с полным наружным спокойствием обращается к князю:

Что скажешь, Шуйский, князь?

И на слова того, что есть важные вести для царства, резко, отрывисто бросает, думая захватить царедворца врасплох:

Не те ль, что Пушкину или тебе там, что ли,

Привез посол потайный от соприятелей —

Бояр опальных?

И вдруг... какой неожиданный удар! «В Литве явился самозванец...» Беда для царства Годунова идет незваная, подкрадывается оттуда, откуда никто ее не ждал. Не ее ли предвещал этот тайный трепет, постоянно охватывающий царя? И когда Шуйский произносит: «Дмитрия воскреснувшее имя», Борис, стоявший все время к нему спиной, оборачивается с неожиданной стремительностью и, как ужаленный, вскрикивает: «Царевич, удались!» Первая забота его в это мгновение — о сыне: ему не должно знать. И, как только царевич вышел, Борис лихорадочно, торопливо, даже не стараясь скрыть охватившее его глубочайшее смятение, отдает приказания:

«Взять меры сей же час! Чтобы от Литвы Русь оградилась заставами, чтобы ни одна душа не перешла эту грань. Ступай!»

И вдруг какая-то назойливая, страшная, мучительная мысль, как молния, пронзает мозг:

Иль нет! постой, постой, Шуйский!

Слышал ли ты, когда-нибудь,

Чтоб дети мертвые из гроба выходили

Допрашивать царей, царей законных,

Избранных всенародно,

Увенчанных великим Патриархом.

В этих словах, в том голосе, каким они произносятся, заключено бездонное недоумение, которое охватывает всю душу человека, наполняя ее холодом и мраком, — недоумение перед чем-то, превосходящим наше понимание. Глубже по силе выразительности, оттеняющей этот трепет недоумения, Шалапин не мог бы сыграть аналогичное место из «Макбета»:

..... Но встарь,

Когда из черепа был выбит мозг,

Со смертью смертного кончалось все;

Теперь встают они, хоть двадцать ран

Рассекли голову, и занимают

Места живых — вот что непостижимо!

Непостижимее царевубийства!

Чисто шекспировский размах этой сцены, жуткое обаяние трагизма, отраженного в этих проникновенных интонациях, которые способен вложить в свои слова только великий трагический актер, действуют на нашу душу с силой почти стихийной, захватывая и

потрясая ее до самых сокровенных глубин. «Ха-ха-ха-ха!» Так и покатился по всему терему, загрохотал, рассыпался ужасный, насильственный смех, звучащий таким резким разладом с тем, что сейчас творится в душе Бориса, — смех, который точно стремится заглушить готовый вырваться вопль, пытается утишить боль, саднящую и мучающую огненной язвой. И как страшно это: «А?.. что?.. смешно? Что ж не смеешься?.. а!..» Еще не знаешь, что произойдет дальше, сможет ли что-нибудь сказать Шуйский, сообразит ли он мгновенно, как повести себя, а уж наперед предвидишь, что Борис набросится в самозабвении на князя, ибо обнажена его душа и демоны владеют ею в этот миг. Вот он, уже весь во власти своей душевной смуты, наступает на Шуйского с роковым вопросом, который, быть может, один только и омрачает его царские дни: «Малютка тот... погибший... был... Димитрий?» Тут, в этом вопросе, — вся трагедия царя Бориса, трагедия двойственная, потому что, какой бы ответ ни был дан, легче все равно не будет. Если малютка тот был Димитрий, сознание тяжести преступления, содеянного над невинным младенцем, через труп которого Борис шагнул к престолу, не может дать покоя, должно могильным камнем лечь на душу; если он был не Димитрий, а кто-то другой, ловко подставленный, значит — последний сын Грозного жив и может каждую минуту явиться, чтобы принадлежащий ему по праву престол отнять у Бориса. Этот безвыходный трагизм отчетливо проступает у Шалапина в этой сцене, особенно когда он богом закликает Шуйского сказать ему всю правду, перестать хитрить, иначе он придумает князю такую казнь, «что царь Иван от ужаса во гробе содрогнется!». И после этих слов, уже окончательно не в силах владеть собой, с размаха швыряет князя на пол; мгновенная вспышка громадного темперамента сразу гаснет, и, весь вытянувшись над поверженным Шуйским, он коротко и энергично бросает ему:

Ответа жду.

Лучше бы он не требовал его, потому что ответ, каков бы он ни был, несет в себе пытку для царя, и Шуйский, умный и хитрый царедворец, это отлично знает. Борис поворачивается к Шуйскому спиной, делает несколько шагов сначала в одну сторону, потом в другую, и по лицу его видно, что он дорого дал бы за то, чтобы его вопрос остался без ответа, чтобы Шуйский ему ничего не рассказывал. Лицо его непрерывно искажается от внутренней душевной боли, он все время как на угольях, а князь не может унять, и слова его рассказа — точно свистящие удары бича... «По ним уж тление заметно проступало. Но детский лик царевича был светел». Борис весь содрогается, чувствуется, как его душа наполняется каким-то страшным черным туманом, а тот продолжает: «чист и ясен; глубокая, страшная зияла рана». ...Удары кнута сыплются все чаще и чаще... «А на устах его непорочных улыбка чудная играла...» Жестокая судорога пробегает по лицу Бориса; непонятно, как он еще выдерживает. Однако всему есть предел, и внезапно, срывающимся, полузадушенным: «Довольно!» — Борис изгоняет Шуйского и в совершенном изнеможении опускается у стола; вся фигура его никнет, как-то обмякает, чувствуется, что он обессилен, несча-

стен, слаб, как малый ребенок. Трудно представить себе более яркий образ злополучной жертвы совести. Эринии не могли бы нагнать на эллина ужас больший, чем тот, перед искаженным лицом которого пятится, отступает великий государь Руси. Каждое слово, повторяемое им точно сквозь тяжелый сон, падает, как глухие удары похоронного колокола над преступной душой, все его существо потрясено безысходной тоской. Вдруг он повернулся, нечаянно взор его скользнул по часам и... о, что же стало внезапно с несчастным царем, что нашептало ему до крайности воспаленное воображение, какой призрак почудился ему в тишине душного терема? Точно под влиянием нечеловеческой силы, Борис страшно выпрямляется, откидывается назад, почти опрокидывает стол, за которым сидел, и пальцы рук судорожно впиваются в толстую парчовую скатерть... «Что это?... там в углу... Колышется... растет... близится... Дрожит и стонет!» Ледяной ужас слышится в каждом слове, такой ужас, после которого будет еще несколько седых волос на голове, еще несколько глубоких морщин на челе. Как подкошенный, Борис рушится на колени и, точно раненый царственный зверь, мечется по полу, кидая свое большое тело из стороны в сторону, хватаясь то за стол, то за табурет непонятными, бессмысленными движениями; кажется, будто он хочет забиться под мебель, чтобы хоть как-нибудь укрыться от призрака, и в то же время, точно притянутый сверхъестественным магнитом, не может оторвать воспаленного взора от угла, где встало «оно», непостижимое, карающее, огненным мечом пронзающее душу... «Чур, чур!» — слышится словно вопль затравленного зверя... «Не я твой лиходей! чур!» Напряжение ужаса достигает высшей точки, потрясение всего существа непомерно большее, чем может вынести человек, и вот наступает просветление, чудовищный призрак исчез, миг галлюцинации прошел, в спокойном терему всё по-прежнему, ровный свет луны тихо льется через окошко, и в этом смутном свете Борис, на коленях, с лицом, обращенным в угол с образами, обессиленный вконец, точно просыпающийся от тяжелого сна, осунувшийся, с опустившимися углами рта, с помутившимся взором, не говорит, а как-то по-младенчески лепечет:

Господи! ты не хочешь смерти грешника,

Помилуй душу преступного царя Бориса!..

Рука пытается сотворить крестное знамение и не слушается, сделалась точно деревянная, и нет даже в этом целительном бальзаме облегчения для несчастного царя...

* * *

И вот конец, трагический, неотвратимый, увенчавший жизнь человека, достойного лучшей участи, но увлеченного роковым сцеплением обстоятельств, узел которых коренился в нем самом, в его неслыханном честолюбии.

Заседание боярской думы. Все сбились в круг и недоверчиво выслушивают рассказ Шуйского о том, как он подсматривал в щелку за царем и какого страшного зрелища сделался свидетелем.

И вдруг... неожиданное, самое явное подтверждение слов князя. С левой стороны, в глубине, дверь из Грановитой палаты открыта куда-то в направлении внутренних покоев. Внезапно из этой двери с криками: «Чур, чур!», оборотившись спиной к собравшимся, не видя никого, не замечая происходящего вокруг, делая порывистые, странные, растерянные движения, совершающиеся как-то помимо его воли, появляется царь Борис, в облачении, но с непокрытой головой, с растрепанными волосами. Он сильно постарел, глаза еще больше ввалились, еще больше морщин избородило лоб, перекрестными лучами легли они вокруг глаз, седина еще явственнее побелила голову и густую, некогда такую красивую, бороду; печать страдания, глубокого, неутолимого, еще пуще врезалась в царственные черты лица. Впечатление совершенного бреда наяву, когда душа кажется разлучившейся с телом, производят слова, которые он произносит лицом к зрителям, но еще не видя бояр и не сознавая, где он находится:

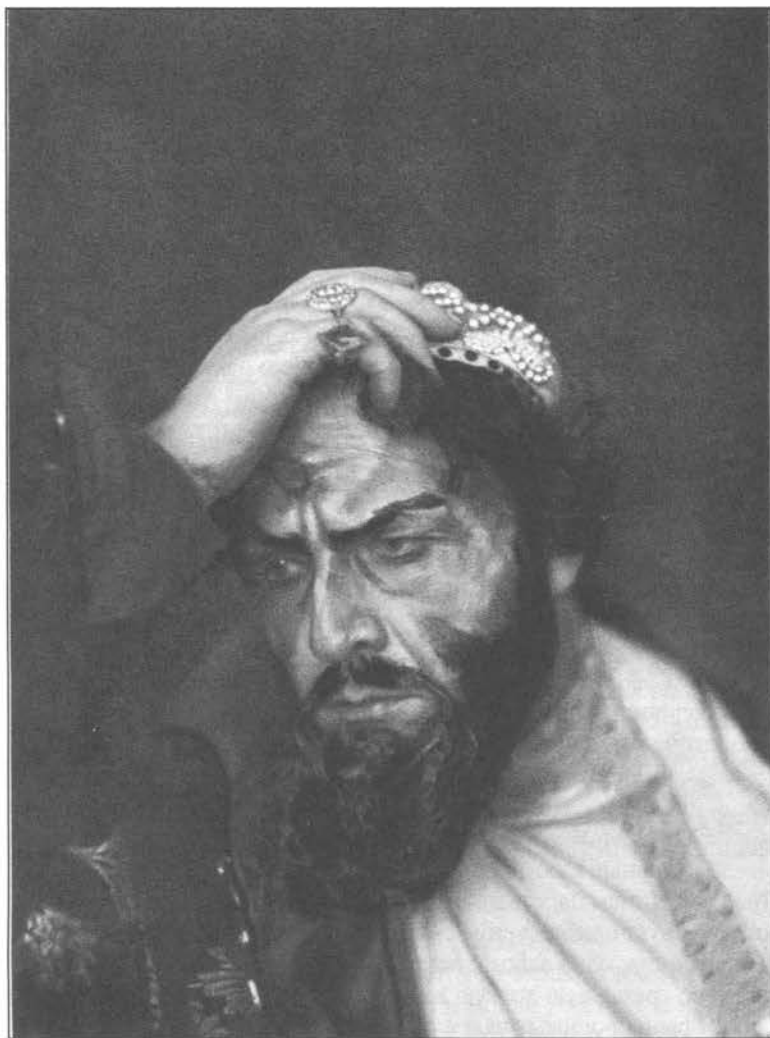
Кто говорит — убийца?.. Убийцы нет!

Жив, жив малютка!.. А Шуйского

За лживую присягу четвертовать!

И только когда Шуйский, тихо подкравшись сзади, произносит над самым его ухом: «Благодать господня над тобой», — царь медленно начинает приходить в себя, и видно, что это стоит ему больших усилий: пальцы нервно ерошат волосы, судорога пробегает по лицу, и лишь понемногу он начинает отдавать себе отчет в том, что кругом происходит: что стоит он в Грановитой палате, что перед ним бояре, которых он же сам и пригласил. Затем медленно, через силу волоча ноги, Борис движется к царскому месту и останавливается на мгновение, чтобы выслушать сообщение Шуйского о некоем неведомом смиренном старце, который у крыльца соизволения ждет предстать перед светлыми царские очи, дабы поведать великую тайну. Что же, пусть войдет. Царю теперь все равно; беды от этого прихода он не ждет, а кто знает, «беседа старца, быть может, успокоит тревогу тайную измученной души». Робкая надежда слышится в этих словах, и не предчувствует несчастный царь, какой удар готовит ему это неожиданное посещение. С царским величием, хоть и безмерно усталый, садится Борис на престол, дает знак сесть боярам.

Входит Пимен. Царь встречает его совершенно спокойным взглядом. Старец начинает свой рассказ про пастуха, ослепшего с малых лет и однажды в глубоком сне услышавшего детский голос. Борис слушает его спокойно, неподвижно сидя на престоле, неподвижно уставив взор в одну точку. Но только послышались слова: «Встань, дедушка, встань! Иди ты в Углич-град» — как острое беспокойство стрелой впивается ему в душу и растет там, растет, по мере того как развивается рассказ старца о чуде над могилой того, кого «господь приял в лик ангелов своих» и кто «теперь Руси великий чудотворец». К концу этого монолога все существо Бориса охвачено безумным беспокойством, лицо его выдает, какую нестерпимую муку переживает его душа, грудь то поднимается, то опускается, правая рука судорожно мнет ворот одежды; надо бы удержаться из последних сил, не подать и виду, здесь, посреди этого



Писатель Клод Фаррер, друг певца, вспоминал: «Шаяпин воплощал удивительный образ Бориса Годунова. Он не играл Бориса, он становился им. Как бы ни был он знаменит как певец, — актер, артист затмевал в нем всё. Его агония и смерть были реальной агонией и смертью. Весь зрительный зал был захвачен и трепетал. ...Когда упал занавес после бесконечных вызовов, я пошел к Шаяпину в уборную, так как мы сговорились ужинать вместе. Отворив дверь, я увидел Федора потрясенного, лежавшего без сил в глубине кресла. Он встретил меня с каким-то стоном: — Это ты, Клод. Садись, подожди... дай мне время... Ты понимаешь, я только что умер... мне надо воскреснуть. На это нужно время».

многочисленного собрания, что этот невинный, в сущности, рассказ так страшно действует на царя, но нет больше мочи, дыхание свело, перехватило горло, усиленно стучит, колотится в измученной груди сердце, вот-вот лопнет, каким-то мраком застлало очи, и... вдруг со страшным криком: «Ой, душно!.. душно!.. свету!» — Борис вскакивает с трона, бросается со ступенек куда-то в пространство и падает на руки подоспевших бояр. Быстро подставляют кресло, бережно опускают царя, и он лежит неподвижно, еще успев промолвить: «Царевича скорей!.. Схиму!» — лежит, голова и правая рука бессильно свесились, и весь он охвачен предчувствием неотвратимой смерти. Холодная, бездушная, она уже глянула в Борисовы очи, сейчас, вот сейчас все кончится, и грешный царь предстанет на суд перед царем небесным. Вбегает Феодор, припадая к отцу. Последним властным движением Борис отпускает бояр и, прижав к груди своего сына, своего наследника, обхватив его правой рукой, начинает последнее, скорбное прощание:

Прощай, мой сын... умираю...

В одном слове: «Прощай» — вся тоска израненной души, несказанная глубина чувств, потрясающая сила муки.

Сейчас ты царствовать начнешь.

Не спрашивай, каким путем я царство приобрел.

При последних словах легкая судорога пробегает по лицу Бориса, и дрожью проникнут его голос. Воспоминание о страшном преступлении опять встает перед ним в этот великий час... Но, быстро оправившись, он продолжает уверенно, как бы сам себя подбодряя:

Тебе не нужно знать. Ты царствовать по праву будешь.

Как мой наследник, как сын мой первородный.

Это его единственное утешение: сын его невинен, он не ответственен за грехи отца. И уже совсем окрепшим голосом, с уверенной силою мудрого правителя, дает он наследнику свой завет:

Не вверяйся наветам бояр крамольных,

Зорко следи за их сношениями тайными с Литвою,

Измену карай без пощады, без милости карай...

Особенно сильно подчеркивает он: «без милости карай»; доволно он сам страдал от неверности слуг государевых, расшатававшей Московское царство. И дальше наставительно внушает Феодору:

Строго вникай в суд народный — суд нелицемерный...

Твердость и строгость голоса внезапно сменяются сердечной теплотой, когда он увещевает сына:

Сестру свою, царевну,

Сбереги, мой сын, — ты ей один хранитель остаешься.

Нашей Ксении, — голубке чистой...

Державные заботы кончились, прошел и подъем сил, вызванный сознанием царственного долга перед страной. Борис слабеет, он чувствует приближение смерти, ощущает ее ледяное дыхание... Теперь одна, одна забота, безудержная мольба человека, прожившего во грехах всю долгую жизнь свою, — мольба отца, который любит своих родимых чад:

Господи!.. Господи!..

Воззри, молю, на слезы грешного отца,

Не за себя молю, не за себя, мой боже!..

Отчаянным стоном звучит это «не за себя»... Ему уже больше ничего не надо, он готов вручить душу в руки ангела своего, если только хранитель светлый уже давно не отступился от него, погрязшего во зле, в бездне преступления. Но дети, кроткие, чистые, они чем виноваты?.. И в порыве горячего предсмертного моления, летящего к престолу бога, отходящий царь Борис, уже не сознающий могущества и власти, не царь больше, но только слабый смертный и отец, делая над собой усилие, сползает с кресла, становится на колени и, обнимая сына, устремляет взор, застанный предсмертным туманом, туда, наверх, к престолу вечного, нелицеприятного судии. И весь он — одна мольба, горячая, тихая, кроткая, слезная...

С горней, неприступной высоты

Пролей ты благодатный свет

На чад моих невинных,

Кротких, чистых!..
Силы небесные! Стражи трона предвечного!
Крылами светлыми оградите мое дитя родное
От бед и зол... от искушений!..

Вся его душа изливается в этой предсмертной мольбе, слова звучат тихо и как бы отрешенно от всего мирского, звуки голоса плывут чистые, мягкие и нежные и медленно утасают; последнее слово «искушений» расточается в таком *pianissimo*, точно где-то в тишине ночной, при полном безмолвии всей природы, одиноко застонала струна неземной арфы, и, замирая, ее тонкий звук пронесся далеко-далеко и неслышно растаял, и тишина стала еще глубже, еще таинственнее... А за плечами царя, чуть слышимое, всколыхнулось трепетание крыльев смерти, и царь, коленопреклоненный, замер, прижимая к себе в последнем любящем объятии своего сына. Но вот в тишину, царящую в палате, вливается похоронное пение, постепенно приближающееся. С усилием Борис встает, опираясь на сына, и полуложится снова в кресло. Звуки пения растут, и на минуту царь возвращается к сознанию действительности:

Надгробный вопль; схи́ма, святая схи́ма!
В монахи царь идет...

Сильно, с особенным выражением, произносятся последние слова. А пение все растет, все приближается, его звуки кинжалами рвут душу и тысячами копий вонзаются в исходящее кровью сердце. И, весь охваченный безумною предсмертною тоскою, чувствуя на челе своем холодное, неотвратимое прикосновение, мечется царь, мечется в страшной агонии, исторгая из груди отчаянный вопль:

Боже!.. ужель греха не замолю?
О злая смерть, как мучишь ты жестоко...

Царственное лицо перекашивается от невыносимых страданий. Где его бывшая красота, величие и мощь, гордость и надменность! Нет ничего, осталась лишь слабость смертного человека и детская беспомощность перед неотвратимым, необоримым... Но, когда бояре, монахи, певчие с зажженными свечами входят в палату, Борис, вдруг собрав последний остаток сил, вскакивает с кресла, выпрямляется во весь свой величественный рост и колеблющимися неверными шагами кидается им навстречу с громким, потрясающим возгласом:

Повремените, я царь еще!..

Он хочет еще хоть на мгновение призраком своего беспредельного могущества, перед которым никнет все живущее, заглушить предсмертный страх, тоску страдающей души. Ему кажется, это возможно. Нет, поздно! Могущество царя земного ничто перед могуществом царя небес, и, как подкошенный, Борис падает на пол... Еще последнее усилие, и он приподымается; последняя забота, как молния, пронзает мозг его; дрожащей рукою указывает он боярам на Феодора:

Вот... вот царь ваш!.. Простите!..

И опрокидывается навзничь. Больше ни звука, ни движения... Тишина кругом, и потрясенные бояре безмолвно склоняются пе-

ред телом того, кто за минуту еще был их неограниченным властителем. А в оркестре, точно заключающий древнюю трагедию рока хор, проносится мотив фразы: «Напрасно мне кудесники сулят дни долгие, дни власти безмятежной», — скорбно звучит мелодия неоправдавшегося пророчества над телом государя московского, в единый миг обратившегося в ничто, в прах земной, и тихо-тихо замирает, и последние отзвуки ее едва слышно дрожат в воздухе и вот... растаяли совсем.



ДЕМОН

Из книги А. Сереброва
«Время и люди. Воспо-
минания 1898 — 1905»
(М.: Советский писатель,
1949). А. Серебров —
псевдоним Александра
Николаевича Тихонова.

I

— *С* Федором опять что-то неладно. Зовет меня к себе, — сказал Горький, прочитав шалыпинскую записку. — Хотите поехать со мной? Не беда, что незнакомы... Познакомитесь. Стоит поглядеть. Великолепная фигура! Русский богатырь Васька Буслаев... Сто лет такого не увидите...

Шалыпин лежал на просторной тахте — под стать его огромному росту, — среди кучи разноцветных подушек, в пестром шелковом халате, на ногах туфли с загнутыми острыми носами. Шея закутана красным гарусным платком. Персидский ковер с тахты закинута на стену, на ней кривые сабли, ятаганы, пистолеты, шлемы и восточные музыкальные инструменты. Все вещи изукрашены золотыми насечками, перламутром, драгоценными камнями.

Распахнутый халат, широкие рукава обнажают богатырское тело с розовой нежной кожей...

...Половецкий хан Кончак принимает в своем шатре данников... Вот только лицо из другой оперы: простецкое, белобрысое, с белыми ресницами и водянистыми глазами. В широком вырезе ноздрей есть что-то действительно буслаевское — удалое, разбойничье... В гневе этот человек неудержим и страшен.

Он тяжело дышит через нос, кашляет и время от времени пробует петь вокализы:

— И-а-хрры-у!.. И-а-хрры-у!.. Алексей... слышишь? — хрипит он, морща с надсадой лицо. — Разве же это голос?.. Ослиный рев... Разве я могу с таким горлом петь спектакль? Иола! — зовет он жену, которой нет в комнате. — Пошли сказать в театр, что петь не буду... Отменить спектакль!.. Иола! Куда вы все попрятались?.. В чем дело?.. Я еще не сумасшедший... Ио-ла!..

Никто не отзывался. Дом словно вымер.

Горький сидит на краешке тахты. У него вид врача, который и рад бы помочь опасному больному, да не знает — чем.

— Федор... ты того... погоди... Может быть, еще и обойдется? Главное, не волнуйся и не капризничай...

— Я — капризничаю?.. Что я — институтка?.. Тенор? Разве не слышишь?

И снова:

— И-а-ххы-у!.. И-а-ххы-у!.. — но уже без буквы «рр».

Горький уловил это сокращение алфавита, улыбнулся в усы.

— Вот что, друг, — говорит он повелительно, — ты это брось...

Никакого ларингита у тебя нет... Все это ты выдумал...

— То есть как это — выдумал?

— Вот так и выдумал... Вчера у тебя голос был?

— Ну... был... — говорит Шаляпин неуверенно.

— Сегодня утром — был?

— Был.

— Горло не болит?

Больной помял пальцами гланды.

— Кажется... не болит...

— Вот видишь... Сам посуди — куда твоему голосу из тебя деваться?... Ищи!.. Загнал его со страху в пятки и разводишь истерику... Чучело... мордовское!..

Лицо у Шаляпина меняется толчками, как перекидные картинки в альбоме: гримаса раздражения, потом — обида на недоверие, потом — упрямство, сконфуженность и вдруг — во все лицо — улыбка и успокоение, как у капризного ребенка, которого мать взяла на руки.

Он хватает Горького за шею и валит к себе на подушки.

— Чертушко!.. Эскулап!..

Мне странно видеть, как эти два знаменитых человека, словно мальчишки, возятся на тахте, тузят друг друга кулаками, хохочут.

Горький подымается красный, закидывает пятерней длинные волосы, кашляет.

— А кашляешь ты все-таки бездарно, — говорит он Шаляпину, — у меня поучись!

Шаляпин приподнялся на подушках, вобрал в себя полкомнаты воздуха и с шумом, как кузнечный мех, выбросил его обратно.

— И откуда ты знаешь, как обращаться с актерами?... Антрепренером как будто еще не был... — говорит он удивленно. — Верно, угадал... От страха... Чего греха таить, — боюсь, ох боюсь, Алексей... Никогда в жизни, кажется, так не боялся. Вторые сутки есть не могу. Голос пропал. Ты не думай — я не притворяюсь... Пропал голос... Опираю на диафрагму — не стоит... пускаю в маску — нейдет.... Хоть плачь! Чертова профессия!.. С каждой ролью такая мука... Женщинам, поди, легче рожать... А сегодня — особенно. Вечером — ты ведь знаешь — в первый раз пою Демона. Мой бенефис... В театре — вся Москва. Понимаешь ли — Демон!

Он по-театральному, с полукрытой ладонью, простер руку.

— Лермонтов!.. Это потруднее Мефистофеля. Мефистофель — еще человек, а этот — вольный сын эфира... По земле ходить не умеет — летает! Понимаешь? Вот, погляди-ка...

Шаляпин привстал с тахты, сдернул с шеи платок, сделал какое-то неуловимое движение плечами, и я увидел чудо: вместо белобрысого вятчика на разводах восточного ковра возникло жуткое существо из надземного мира: трагическое лицо с сумасшедшим изломом бровей, выпуклые глаза без зрачков, из них фосфорический свет, длинные, не по-человечески вывернутые в локтях руки надломились над головой, как два крыла... Сейчас поднимется и полетит...

Виденье мелькнуло и скрылось, оставив во мне чувство жути и озноба.

На тахте опять сидел в шелковом халате актер незначительной наружности, и только в глазах все еще мерцали, угасая, зеленые искорки. В могучем торсе подрагивали растревоженные мускулы.

— Ну, как?.. Похож?..

Горький мигал глазами, как будто невзначай взглянул на солнце.

— Знаешь, Федор!.. Эт-то... — он сжал и поднял кулак не в силах вымолвить последнее, страшное слово, какое можно сказать о человеке: «Это — гениально!»

Шалепин понял, что хотел сказать Горький, и заговорил быстро, возбужденно:

— Я задумал... понимаешь... не сатана... нет, а этакий Люцифер, что ли? Ты видел ночью грозу?.. На Кавказе?.. Молния и тьма... в горах!.. Романтика... Революция!.. Жутко и хочется плакать от счастья... Давно его задумал, еще в Тифлисе... Когда был молодой... С тех пор сколько лет не дает мне покоя. Лягу спать, закрою глаза, и вдруг откуда-то... подымается... Стоит в воздухе и глядит на меня глазищами... А у меня бессонница. Веронал принимаю... Измучил... больше не могу... Отдам его сегодня — и basta!.. Будет легче...

Он зажмурился, как бы еще раз внутренне вглядываясь в своего мучителя. Потом открыл глаза и поскреб пятерней в затылке: деревенский парень — перед тем как жениться.

— А не хочется все-таки отдавать-то... Жалко... Во какой кушище от себя отрываю... Было бы кому?.. А то — этим бездельникам... публике... критикам... На рас-терзанье!

Он вдруг разъярился, рванул себя за грудь.

— Нател!.. Жрите!!

Горький так весь и подался ему навстречу, но сейчас же себя одернул.

— Мне кажется, ты преувеличиваешь... Публика тебя любит...

— Тебе хорошо говорить: преувеличиваешь! Умрешь, от тебя книги останутся, а от меня что останется?.. Газетные сплетни... Скандалист!.. Стя-жа-тель!.. Только и всего... А иногда я такое в себе чувствую, что подняться бы мне на какой-нибудь твердый предмет... вроде луны... и запеть бы оттуда на всю вселенную, да так... чтобы... звезды плакали!

Он вскочил с тахты и размахнулся во всю свою ширь, и от этого размаха у меня всхлипнуло сердце... Так вот он каков — русский богатырь Василий Буслаев!..

— Эх, Алексей, — воскликнул Шалепин в упоении, — ведь только нас двое и есть на свете!.. Ты да я!

— Ну, я тут ни при чем... — ответил Горький хмурясь.

— Неправда! Не прикидывайся святошей... Знаю я тебя, гор-



Шалепин болен
Шарж Юса

дыня сатанинская. Недаром взял у тебя кой-что для Демона... Приходи — увидишь.

То, что Горький не понял и не принял его восторга, обидело Шаляпина. Он опять лег на тахту и погас. Его лицо обмякло, пошло морщинами. Помолчали.

— Это кто с тобой? — шепотом спросил Шаляпин, указывая на меня глазами.

Я сидел в углу, делая вид, будто рассматриваю иллюстрированный журнал.

— Не из газетчиков?.. Ага... Ну это дело другое... Не люблю я этих ищеек. Врут на меня, как на покойника... Шаляпин — то, Шаляпин — это... Пять тысяч за концерт... Рубинштейна искалечил... Партию Демона на два тона транспонирую... А публика — валом валит. Билеты нарасхват... Из-за кого? Из-за Рубинштейна?..



Ф. Шаляпин
Шарж Andre'a

Великая княгиня Елизавета Федоровна саморучный рисунок прислала для Демона... Рисунок — дрянь, а не воспользуюсь — обидится... Прошу тебя, сочини для нее, пожалуйста, какое-нибудь вежливое письмо... Ты — писатель, а я не умею...

Он взглянул на Горького. Тот недоброжелательно отвернулся.

— А впрочем, черт с ней, с великой княгиней!

Чувствуя, что его похвальба Горькому не по душе, Шаляпин опять замолчал, запахнул халат, перестраиваясь на новый лад.

Горький разглядывал висевшее на стене оружие...

— Заржавеет оно у тебя... Надо салом смазать.

Перестройка закончилась. Хлебосольный хозяин с улыбкой приглашал дорогого гостя к стоящему у тахты столу, где был сервирован завтрак.

— Хотя бы винца выпей. Неплохое... Кло-де-Вужо... Барон Стюарт благодетельствует... Ты ведь, кажется, любишь бургундское? Он старался задобрить непреклонного гостя.

— Я тебе ложу послал на сегодня... Получил? Приходи обязательно. Друзей приведи... Ванечку Бунина, Андреева... Кого хочешь... И вы приходите! — (Пригласительный жест в мою сторону.) — Увижу вас в ложе — не так будет страшно: свои!

Вспомнив о спектакле, он снова омрачился. Покрякал, пробуя голос, помычал в нос: «Ми-а-ма!» Прислушался и, видимо, остался доволен. Сказал с нежностью:

— Спасибо, друг, что приехал... Прости, оторвал я тебя от твоих дел. Очень захотелось повидать... Ослаб я духом... И не сердись ты на меня... на дурака... Болтаю много лишнего... Дай я тебя поцелую!

Они обнялись, оба растроганные до слез.

— Значит — бунт?.. Революция?.. — сказал Горький, пожимая Шаляпину руку.

— Попробую! Только не желай мне успеха — я суеверный. Приходите в антракте за кулисы. Жду.

Мы попрощались.

— Ну, господи благослови!

Шаляпин размахисто, по-мужицки, перекрестился и сбросил с тахты ноги в восточных туфлях с загнутыми передками. В прихожей нам было слышно, как на весь дом загремел его бас:

— Ио-ла!.. Ванна готова?.. Вста-ю!

II

Многоярусная, раззолоченная громада Большого театра показалась мне в этот вечер особенно великолепной. Сверкающая люстра на потолке, затканная хрусталем, и бронзовые шестисвечники по карнизам лож давали все вместе так много света, что от него щурились глаза и гудело в ушах.

Из ложи, где я сидел, виден был весь театр, как в панораме. Внизу, в проходах партера, суетились опоздавшие зрители, разыскивая свои места среди волнообразно спускающихся к оркестру кресел: сюртуки, смокинги, мундиры, проборы, лысины, эполеты вперемешку с пышными прическами, кружевами, ожерельями, меховыми палантинами, горжетками и вечерними платьями со шлейфами и без оных. Ложи бельэтажа блестели бриллиантами, белыми пластронами фраков, мрамором женских плеч, перьями шляп и вееров. Модные красавицы в ложах были похожи на заморских птиц, посаженных в золотые клетки.

Верхние ярусы тонули в мерцающем тумане. Сидевшие там зрители представлялись крапинками, набрызганными в несколько рядов по трафарету.

Из оркестрового провала взлетали разрозненные звуки музыкальных инструментов: они визжали, свистели, ухали, резвились, будто школьники, перед тем как засесть на целый час за парты.

Квадратное полотнище занавеса выгибалось парусом в зрительный зал. От разнообразия красок, звуков, от пчелиного гула тысячной толпы, от искусственного воздуха, пропитанного запахом духов, отзвучавшей музыкой и людским теплом, приятно опьянялась голова, а на душе становилось так празднично, как будто вместе с пальто и калошами я сдал в гардероб на хранение все свои заботы и неприятности.

В театре — ни одного свободного места.

Третий звонок.

Люстра и шестисвечники медленно высасывают из воздуха электрический свет. Зрители перестают шуметь. Над оркестром возникает черный силуэт человека с распростертыми руками. Поворот головы налево, к скрипкам, поворот головы направо, к меди, — все ли музыканты готовы? — взмах белой палочки, и вдруг откуда-то из-под земли, один за другим, звуковые взрывы — медных, струнных, свирельных, ударных инструментов.

Свернувшись в свиток, исчезает занавес.

* * *

Спокон века во всех театрах опера «Демон» начиналась приблизительно так: открывался занавес, и позади него зрители обнаруживали Дарьяльское ущелье с кипящим Тереком. Справа, на камне, под синим прожектором, в наполеоновской позе, стоял адский Вельзевул в черном капоте, декольте, с крыльями за спиной и электрической лампочкой в лохматом парике. Сверкая наклеенной на ресницы фольгой, он во всю силу легких проклинал ни в чем не повинный мир, угрожая «разнести» его на куски. Через некоторое время на камне слева, под белым лучом прожектора, показывался Ангел, похожий на белую бабочку. После небольшой перебранки посрамленный Вельзевул, корчась в судорогах, проваливался в преисподнюю, выпустив за собой облачко дыма. На этом и заканчивалась первая картина оперы «Демон».



К. А. Коровин
*Эскиз афиши на
бенефис Шаляпина
в опере А. Г. Рубин-
штейна «Демон»*

В этот вечер — 16 декабря 1904 года — все было по-иному. Открылся занавес — и позади него зрители не обнаружили ни ущелья, ни Терека, ни Вельзевула, ни прожекторов. На сцене клубился лиловый полумрак, сквозь него то появлялись, то исчезали обломки скал, ледников, скелеты разбитых молнией деревьев. Пустынно, дико, тревожно. В черном небе — зубчатые звезды и среди них — кровавый меч кометы.

Снизу, из пропасти, доносится завывающий хор мужских голосов: это мятежные духи, низринутые в бездну небесным Деспотом, взывают о мщении.

И как бы в ответ на их призывы на одной из скал появляется Демон. Он не похож на Вельзевула, но еще меньше — на человека. Фантастическое видение из Апокалипсиса, с исступленным ликом архангела и светящимися глазницами. Смоляные, до плеч, волосы, сумасшедший излом бровей и облачная ткань одежд закрепляют его сходство с «Демоном» Врубеля. Он полулежит, распростершись на скале: одной рукой судорожно вцепился в камень, другая — жестом тоски — закинута за голову. Он ждет к себе на помощь соратников, жадно прислушивается к их голосам. Но мятежные духи бессильны подняться из пропасти, их голоса слабеют, заглушаемые ликующим хором ангелов.

Угловатым, шарнирным движением Демон простирает к небу мускулистую руку.

Проклятый мир!

Металлическая сила его голоса рассчитана на всю вселенную. Что ему до земли и людей! Там, высоко, в райских твердынях, засел его враг, жестокий Деспот, повесив в небе кровавый меч кометы.

Взмахом несуществующих крыльев — ходить он не умеет — Демон перебрасывает себя с одной скалы на другую и подымается там во весь рост — могучий, крылатый воитель, вождь небесных революций.

Тиран! Ты хочешь послушанья,

А не любви. Любовь горда.

На груди у него блестит боевой панцирь, в руке несуществующий огненный меч. Он готов еще раз сразиться с небесами и ждет достойного соперника. Но вместо грозного архистратига перед

ним — женоподобный ангелочек из ранга херувимов, осмеливающийся ему угрожать.

Молчи...ты... раб.

Демон приподымается на крыльях (их нет, но они видны), вытягивает хищно шею. Сейчас налетит и разорвет в клочья этого жалкого евнуха...

Испуганный Ангел прячется в скалах. Демон ждет ответных грома и молний. Небеса безмолвствуют, вызов не принят... У Демона подламываются крылья. Он медленно садится на камень. Тучи заволакивают его поникшее изваяние.

Под финальную кодую оркестра опускается занавес.

Невидимые нити, тянувшие зрителей к сцене, вдруг оборвались. Зрители очнулись, задвигались, заговорили, зашумели. Аплодисменты на галерке, шиканье в ложах, в партере — растерянность. Громкий разговор в соседней ложе журналистов. Театральный критик Кашкин негодует:

— Не хватает только, чтобы Демон разбрасывал прокламации... «Долой самодержавие!» И почему он в лохмотьях?

— Босяки теперь в моде, — отвечает журналист, похожий на журавля в пенсне.

Сидящий рядом со мной Бунин качает головой:

— Эх, провалится Федор! Надо сойти с ума, чтоб сыграть этот бред...

Леонид Андреев отбрасывает назад длинные волосы — так он больше похож на Демона.

— Боюсь я, Ванечка, что вы никогда не напишете ничего гениального... А как тебе понравилось, Алексеюшко?

Горький молчит. У него суровое лицо. Он весь еще на сцене. Бунтует вместе с Демоном.

Вместо него отвечает Скиталец:

— Ну и голосище у Федора Ивановича! Труба иерихонская!

* * *

С началом второй картины публика утомилась. Наконец-то она попала в настоящую оперу. В музыке — веселенький напев женского хора; на сцене — маскарадные грузинки с бутафорскими кувшинами на левом плече. Выстроившись в две шеренги, они не отрывают глаз от дирижера. Разливаясь трелью, с лестницы замка нисходит приземистая Тамара в сопровождении молоденькой няни, которая трясет седым париком и подгибает колени, чтоб походить на старуху.

«Вампука» еще не написана. Столетние штампы считаются еще искусством. Публика дружно аплодирует голосовым связкам Салиной, играющей Тамару.

И вдруг в это оперное благополучие врывается Демон — дикий, неистовый, только что боровшийся с ураганом.

В театре снова недоумение — опять всё не так, как полагается. Демону полагается с первого взгляда влюбиться в Тамару, а у него совсем не то на уме: обольстить, погубить эту райскую красавицу назло охраняющим ее небесам.

Хищным взглядом через плечо глядит он с башни на свою жертву:

...Другому не отдам тебя.

Он поет ей о любви, обещает надзвездное царство, заранее зная, что не исполнит обещаний. Но в его голосе столько убедительности и сам он так прекрасен, что не только доверчивая Тамара, но и весь враждебно настроенный зрительный зал постепенно поддается его обаянию. К аплодисментам галерки присоединяется партер.

— А ведь, пожалуй, Федор прав, — говорит примирительно Бунин, — у Лермонтова есть и такой вариант.

— Шаляпин берет иначе, — возразил Горький, — по Мильтону... которого он, конечно, не читал.

* * *

Достаточно было Демону спуститься с заоблачных высот на грешную землю, чтобы все темное и злое, что в нем таилось от века, снова овладело его душой.

Князем Тьмы поднялся он над ложем счастливого соперника — красавца Синодала.

Из самой глубины ночи светятся его фосфорические глазницы, и слышен зловещий голос, произносящий заклятия:

...часы бегут... бегут...

ночная тьма... бедой...

чре-ва-та...

Все ужасы ночного злодейства втиснул Шаляпин в это корявое слово: «чре-ва-та», и от него по всему театру проносится трепет испуга.

Властным движеньем руки повергает он на землю несчастного князя.

* * *

Какой бы тенор ни пел партию Синодала, — плохой или хороший, — ему всегда был обеспечен успех: такая это благородная роль. На этот раз даже знаменитого Собинова публика вызывала только из вежливости. Имя Шаляпина гремело со всех сторон.

— Знаешь, Федя, пел бы ты лучше всю оперу один! — сказал Собинов, направляясь к себе в уборную.

— Не огорчайся, Леня, славы хватит и на двоих! — ответил Шаляпин, выходя раскланиваться на вызовы.

* * *

Хитрыми уловками подкрадывалась любовь к сердцу сурового небожителя: сперва прикинулась чувством раскаянья, — когда Демон увидел труп Синодала; потом — жалостью к обездоленной Тамаре, желанием утешить ее и навеять золотые сны на ее шелковые ресницы.

Соответственно менялся и шаляпинский образ Демона: в орлиных глазницах погас потусторонний свет, опустились невидимые

крылья, изломанные врубелевские жесты стали пластичными, в металлическом голосе зазвучали теплые ноты...

С какой нежностью пропел он у изголовья задремавшей Тамары колыбельную арию «На воздушном океане»!

Зал слушал, забывая дышать. И только критики в соседней ложе все еще никак не хотели сдаваться:

— Посмотрим, как он возьмет верхнее фа-дубль диез в «царице мира»?

Легко, на свободном дыханье, поднялся шалаяпинский голос на недоступную для баса высоту и развернулся там с такой широтой и мощью, что вся тяжелая громада воздуха, наполнявшая театр, дрогнула под его напором, заколебалась, загудела, как от удара тысячепудового колокола, пронизывая слушателей нервной дрожью.

Шалаяпин показал, как он умеет петь.

Журнальным критикам оставалось только пожимать плечами.

— Фокус! — сказал из них тот, кто был похож на журавля в пенсне.

В антракте перед третьим действием происходило чествование бенефицианта.

Москва засыпала его подарками, адресами, приветствиями, заслуживала поцелуями. Сцена театра превратилась в цветочный магазин. У зрителей распухли ладони от нескончаемых рукоплесканий.

Все, кто был в нашей ложе, — Горький, Бунин, Андреев, Скиталец и несколько дам, — отправились за кулисы поздравлять Шалаяпина.

В его уборной было полно поклонников и поклонниц.

Громадный, черный, весь разрисованный Шалаяпин вблизи был страшен. Посетители глядели на него издали, боясь подойти. Указательным пальцем он царапал себе лицо, поправляя перед зеркалом размазанный поцелуями грим.

На обратном пути я заблудился в декорациях и попал в страну чудес. Каменный замок Гудала

вдруг на моих глазах развалился на части, башня взвилась на воздух. Пиршественный стол, уставленный кувшинами, провалился под землю. Я шарахнулся от провала и едва не погиб от другой, столь же неожиданной опасности. На мою голову грохнулся сверху горный хребт с ущельями и водопадами. Из-под хребта ловко вывернулся карлик в черном берете. Задравши остренькую бородку, он крикнул кому-то, кто находился в небе:

— Вася... теперь давай луну!

С неба спустился странный предмет, похожий на большое оторванное ухо.



Ф. И. Шалаяпин
В уборной
Шарж А. Шабад

— Да не эту!.. Давай номер семь... Полнолуние!
Взамен оторванного уха опустилось белое решето, внутри него горело электричество.

— Прикрой ее облаком!

Покончив с мирозданием, карлик увидел меня.

— Вам чего здесь надо? Посторонним нельзя!

Я и сам понимал, что нельзя. Бросился влево и попал в веревочную сетку с наклеенными на ней деревьями. Бросился вправо — навстречу выползла стена с холщовыми воротами. Бросился в ворота и наткнулся за ними на полногрудого Ангела. Запрокинув льняные кудри, Ангел полоскал себе горло. Горничная в белой наковке держала перед ним фарфоровую плевательницу.

В темном углу, прислонившись к стене, стоял Синодал. Приняв его за Собинова, я вежливо поклонился.

— Скажите, пожалуйста, как мне выйти в зрительный зал?

Собинов оказался манекеном, наряженным и загримированным под Синодала.

В голове у меня все перепуталось. С трудом я нашел свою ложу. В ней, слава богу, все оставалось на прежних местах.

* * *

Луна номер семь печально, по-осеннему, озаряла перспективу далеких гор, аллею пирамидальных тополей с пожелтевшей листвой, неприступные стены монастыря и сидевшую перед ними на камне фигуру Демона в черном плаще, наподобие принца Гамлета.

Какое у него измученное лицо! В глазах — человеческая скорбь, голова опущена, ослабевшие руки обхватили приподнятое колено — статуя тоски и раздумья.

Над ним в высокой башне светится окно Тамары.

Войти или нет? Остаться ли навеки одиноким бунтарем, ненавидящим Деспота, или — смириться и раскаяньем, любовью заслужить прощение?

Скорбит разорванная душа. Сомнения обессилили гордый ум. В голосе — сдержанные рыдания:

И грусть на дне старинной раны

Заше-ве-ли-лася, как змей.

И видно, воочию видно, как шевелится в груди Демона злая тоска.

Шекспиру и не мерещился подобный Гамлет.

Публика потребовала бисировать все действие. Случай, не слыханный в истории театра: бисировать целый акт.

И, пожалуй, настойчивее всех этого требовала наша ложа.

Шаляпин поглядел в нашу сторону и согласился.

* * *

Следить за спектаклем становилось невмоготу. Мои нервы из последних сил старались подавить подступавшие к горлу спазмы.

На сцене решалась мировая трагедия. Демон отрекался от бунта. В его руках, протянутых к небу, — мольба, надежда, смирение.

Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться.

Зачем он это делает?.. Зачем?.. Деспоты земные и небесные не знают пощады!.. Остановись!

Но Демон не слышит моих предостережений. По строфам лермонтовской «клятвы» он все выше и выше поднимается к райским твердыням — бескрылый, безоружный, ослепленный любовью.

Уже близок рай, уже доносится оттуда церковное пение ангелов, уже склонилась в объятия Демона разомлевшая Тамара.

О, миг любви, миг обновленья!

Сейчас небеса сольются, с землей...

И вдруг — глухой удар барабана. Темнота... Катастрофа... Стены кельи раздвигаются, и за ними вместо рая — злобно торжествующий Ангел с трупом Синодала в руках — манекеном, с которым я разговаривал за кулисами. Молния. Гром. И Демон вновь низвергнут на землю...

Теперь он уже не похож на упавшего с неба богоборца-архангела. Вихрь широкого плаща обвивается вокруг его тела. Из вихря, как из черного пламени, постепенно проступает чья-то незнакомая фигура. Это уже не Демон. Костлявый Мефистофель кричит на зрителей свою пергаментную личину. В хриплом голосе — карканье ворона:

Пр-рроклятый мир...

* * *

Иначе, как массовым сумасшествием, нельзя было назвать то, что началось в театре, когда упал занавес. Рев, вой, крики, топот провожали меня до выходных дверей.

Мы условились встретиться на подъезде, у театра. Горький пришел первым. Он стоял у замшевой от инея колонны, без шапки, в распахнутом пальто.

— Простудитесь, Алексей Максимович!

— Да ... да... замечательно... — бормотал он, не понимая, что я ему говорил.

К нам подошел Скиталец.

— Наши все пошли в ресторан. Шаляпин заказал отдельный кабинет... Идемте!

В мире свершилось чудовищное преступление. Предательски убит великий мятежник... Погибла свобода... Можно ли после такого несчастья идти в ресторан — есть, пить, смеяться? Стоит ли вообще после этого жить на свете?

Понадобились многие версты безлюдного Сокольничьего парка, бесчисленное количество звезд и крепкий декабрьский мороз, пока я пришел наконец в себя и снова стал нормальным человеком...





ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ

НА КОНЦЕРТЕ ШАЛЯПИНА

Вечно «билеты все проданы», а чтобы они были «проданы» — надо, чтобы перед кассой дежурил хвост «жаждущих» сажень в двадцать... и вот эта совокупность обстоятельств сделала то, что я почти не слышал «нашего Федора Ивановича», как называл и вызывал Шаляпина во вчерашнем концерте мой сосед слева... В то время как его прослушала вся Европа и вся Россия, слушали его и стар и млад, и богатый и бедный, мне привелось его услышать всего один раз в «Фаусте» (Мефистофель) лет восемь назад; а в завидной роли Грозного, — в чем так безумно хотелось посмотреть его, — так и не привелось увидеть. Может быть, приведется... Только поэтому, как некоторое *свежее впечатление*, я и позволю сказать себе несколько слов о нем... не как музыкант, даже не как слушатель, а как «зритель всего».

Да, именно «всего»... Едва он показался, где-то вбок, из невидной двери, и мой сосед, расталкивая соседок-дам, поднялся с энтузиазмом: «Федор Иванович идет», — как я тоже сделался моментально «энтузиастом этого Федора Ивановича», едва взглянув на его счастливое, молодое (а ведь лет 40 ему), какое-то неопытное и безгранично милое лицо... «Дай Бог успеха! Дай Бог удачи в голосе», — прошептал я невольно. Это — штука. Едва Шаляпин появляется, как все неодолимо желают ему успеха. За что?!?

За то, что он молод, за то, что он счастлив...

И «успеха» не может не выйти при этом слиянии огромных желаний толпы и естественного желания о том же его самого. «Шаляпин» и «неуспех» как-то несовместимы, неестественны и являли бы явно безобразный вид, не только антиэстетический, но и антиморальный...

От дверей до эстрады — очень длинный путь. С места, где я сидел, однако, он был весь виден. И вот я смотрел, как он «выходил»... Тут не было ничего важного, торжественного, «аристократического». Он шел некрасивой, быстрой, торопящейся походкой, как самый «натуральный человек», — к ждущей его толпе, то поднимая глаза вверх (к хорам), то глядя перед собою (в зал)... Было что-то неумелое в нем, — и это производило то прекрасное впечатление, что «перед нами» не было ничего зановошного, «обыкновенного концертного», как бы не было самой эстрады и, так сказать, «театрального паричка». Этот надоевший «театральный парик», который так портит иллюзию художественности, — его не было здесь, и тем он сыграл «свою последнюю и прекрасную роль»...

Бог пения спешил к своему месту... Этот его характерный хохолок над лбом, *ни у кого* еще не встречающийся. Все его знают... Он *глубоко гармонирует* с линией лица под ним и гармонирует даже с дальнейшей фигурой. Можно Шаляпина представить или предположить без рук, без ног, — но без этого *пучка прямо стоящих*, не густых отнюдь, волос — нельзя его вообразить, нельзя о нем мыслить, думать. Это — как «длинные волосы» у Самсона: что-то личное, особенное и в чем «суть». Без «пучка» — Шаляпин пропадет, и даже его не за что будет любить. Изменит ему Далила, и изменит ему публика. В пучке же выражено: «Я так хочу». Выражен каприз, произвол, притом совершенно бессознательный и нецелесообразный, но глубоко природный, врожденный.

«Он так хочет, наш Бог! Будь — по нему».

И ради хохолка публика все для него делает и, пока видит хохолок, — будет всегда все ему делать. «Это наш орленок, наш молодой орел. Сейчас он запоеет».

И он запел...

Сперва один, потом с квартетом, — и опять один, чередуясь. Тут, когда он стоял среди других и когда он пел вместе с другими, тоже прекраснейшими певцами, очень опытными, очень художниками в пении, можно было увидеть, в чем разница. Сами по себе прекрасные, прекрасные в одиночном, только квартетном, исполнении, они были около него как грибы, пение их превращалось в грибное пение, а его пение было каким-то шумом древесной листвы и ветра вверху. Они пели «в рот публике», «для этого зала». Шаляпин как будто «этого зала» вовсе не чувствовал: он просто пел — *где-то и как-то* — и звуки его не в зале неслись, а вверху носились и спускались в зал, которому таким образом «удалось услышать его пение» чуть не «случайно». Это есть действительно особенность его пения, не намеренная, не сделанная; может быть, даже им самим не замечаемая. У него «верхнее пение», которое спускается «вниз». Это-то и производит главную часть впечатления. Получается что-то царственное. У Шаляпина — царственное пение. Не голос его царственный, а пение его таково, «всё в пении», и «он сам — *так* поющий». Это-то и дает обаяние в зале, чарует его, — может быть, не совсем отчетливым очарованием.

Сосед мой волновался. Опять вставая и всех беспокоя, он повторял:

«Федор Иванович — *один*. Такого в Европе нет!!»

И, обращаясь к соседям, улыбавшимся на говорившего, наконец продолжал:

«Он — *весь тут!* Забылся! Он отдает *всего себя* пению».

Не публике, не слушателям, а — пению. Это — *было!*.. Это — *так!*..



Федор
Шаляпин
1914

Голос Шаляпина, скорее *тон* его — чрезвычайно благородный. В сущности, бас — *грубая* форма голоса. «Заливаются тенора», они-то именно «чаруют публику», и, собственно, вчера было удивительно, каким образом Шаляпин, *бас*, успел так зачаровать, производить это впечатление, получить эту славу? Но тут секрет, что у Шаляпина бас не имеет всех грубых особенностей этой части голоса, лишен всего грубого, жесткого в себе, — и, между тем, сохраняет силу именно баса. Вот это-то слияние необыкновенной силы с грацией тона, почти слияние *баса с тенором* в странной индивидуальности, — и производит всё. Пользуясь древними мифами, я сказал бы, что это «Ахилл, спрятанный под женской одеждой», в пору его отрочества, когда заботливая мать Фетида скрывала его от зова на войну, и в этих целях, переодев в девушку, скрывала среди дочерей какого-то царя. А голос-то у него (Ахилла) был мужской. Вот у Шаляпина и есть это. В нем как-то слиты две природы: его бас без «копыт», без «рогов», а одет, напротив, в прелестное тюлевое платье, с длинным треном и всем великолепием женских линий и форм... Это — образно. Перенесите теперь в звуки: и вы поймете, что такое Шаляпин и отчего чарует он.

И к этому еще чисто русский недостаток: дурной выбор пения. Непростительно было этим чудным голосом петь те мелочи, какие он пел. Он пел — пустяки. Ничего выдающегося, занимательного. Может быть, упрямый «кок» над головой мешает ему кого-нибудь слушать, с кем-нибудь советоваться. Он «все сам знает», этот Самсон с длинными волосами... Ах, он *далеко не все знает*, не знает он своей Далилы, — не знает и публики, которой решительно досадны были эти пустяки. Только кое-что было хорошо: «Вниз по матушке по Волге», да былина об Илье Муромце, да одна разбойничья песня... Прочее было *неизвестно в тексте* (и оттого частью непонятно, ибо иногда пение спускалось до шепота), — или просто неинтересно, скучно...

Но задушевность русского пения брала свое, — хлопали, кричали «бис», «еще»... «Еще, Федор Иванович!» — и Федор Иванович пел. Он совсем «наш Федор Иванович», даже в этом неумении выбрать, *что* петь. Как В. В. Андреева можно назвать гением прилежания, упорства работы над собою и над всем вокруг себя, около себя, — так Шаляпина можно назвать гением беспорядочности, растрепанности, и вообще этого «кока надо лбом», который «черт знает, чего хочет, — но ему не повиноваться нельзя». Видно сразу же, что он не бережет себя, не думает над собою, не *обрабатывает себя*. Около него нет культуры, он — явление. Шаляпин — явление, феномен, «гром с неба» или «зорька на горизонте»; Андреев весь — инженерное искусство, он «роет носом землю» и выстраивает чудесные ходы и проходы в камне, в песке, черт знает в чем. Нужно бы, чтобы около Шаляпина кто-нибудь поберег его. «Это колесо доедет до Казани», как говорил Гоголь, — а может быть, «и не доедет». Что-нибудь «треснет», и непременно «вдруг». С Шаляпиным «все может случиться», как с Андреевым «ничего не может случиться». Великолепная колесница Ахилла именно на самом великолепном сгибе пути может вдруг свалиться в канаву, как какая-то таратайка у Гоголя. Свалиться, разбиться и погубить пре-

красного юношу. «Кок» его — талант его. Гордость, самоуверенность; «ни с кем не советуюсь» и «так хочу»...

Всё как у «бога» эллинов...

Но и «боги» их знали черную судьбу... И хочется сказать о «коке»: нужно беречься скрытой в нем лукавой силы и неверной судьбы...

Но пока всё в сиянии. Прекрасный «бог» Руси, — «бог» и эллинский и былинный, — весь стройный, высокий, весь какой-то глубоко природный, не сделанный, а *выросший* — улыбался, был счастлив... И думалось, глядя на «всё» в нем: действительно, все русские давно переделались в каких-то немцев, во французов, во что-то международное и космополитическое; по крайней мере, переделались музыканты ее, скульпторы ее, артисты ее... люди эстрады и сцены. А *этот* точно вышел из темного волжского леса, надел не идущий к нему фрак... но забыл о *фраке, о нас*, — и, положив щеку в широкую русскую ладонь, запел... И точно все волжские леса, зеленые и ласковые, запели с ним и в нем.

Вот отчего Петербург и Европа так счастливо слушают Шаляпина. Мы слушаем и счастливы; а его «раздольная душа» тоже цветет, когда столько народа «гуляет во зеленом лесочке»... Так мы вчера «гуляли» в его пении; и «лесочек» радовался и розовому платочку, и кисейной косыночке, и хорошему пареньку, и «всей раздольной Руси».

Спасибо за «вчера».

1913





ИВАН БУНИН

ШАЛЯПИН

В Москве когда-то говорили, что Шаляпин дружит с писателями в пику Собинову, который соперничал с ним в славе: говорили, что тяга Шаляпина к писателям объясняется вовсе не его любовью к литературе, а желанием слыть не только знаменитым певцом, но и «передовым, идейным человеком», — пусть, мол, сходит с ума от Собинова только та публика, которая во все времена и всюду сходилась и будет сходить с ума от теноров. Но мне кажется, что Шаляпина тянуло к нам не всегда корыстно. Помню, например, как горячо хотел он познакомиться с Чеховым, сколько раз говорил мне об этом. Я наконец спросил:

— Да за чем же дело стало?

— За тем, — отвечал он, — что Чехов нигде не показывается, все нет случая представиться ему.

— Помилуй, какой для этого нужен случай! Возьми извозчика и поезжай.

— Но я вовсе не желаю показаться ему нахалом! А кроме того, я знаю, что я так оробею перед ним, что покажусь еще и совершенным дураком. Вот если бы ты свез меня как-нибудь к нему...

Я не замедлил сделать это и убедился, что все была правда: войдя к Чехову, он покраснел до ушей, стал что-то бормотать... А вышел от него в полном восторге:

— Ты не поверишь, как я счастлив, что наконец узнал его, и как очарован им! Вот это человек! Вот это писатель! Теперь на всех прочих буду смотреть как на верблюдов.

— Спасибо, — сказал я, смеясь.

Он захохотал на всю улицу.

Есть знаменитая фотографическая карточка, — знаменитая потому, что она, в виде открытки, разошлась в свое время в сотнях тысячах экземпляров, — та, на которой сняты Андреев, Горький, Шаляпин, Скиталец, Чириков, Телешов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московский немецкий ресторан «Альпийская роза», завтракали долго и весело и вдруг решили ехать сниматься. Тут мы со Скитальцем сперва немножко поругались. Я сказал:

— Опять сниматься! Все сниматься! Сплошная собачья свадьба.

Скиталец обиделся.

— Почему же это свадьба, да еще собачья? — ответил он своим грубо-наигранным басом. — Я, например, собакой себя никак не считаю, не знаю, как другие считают себя.

— А как же это назвать иначе? — сказал я. — Идет у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, «народ пухнет с голоду», Россия гибнет, в ней «всякие напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти», над ней «реет буревестник, черной молнии подобен», а что в Москве, в Петербурге? День и ночь праздник, всероссийское событие за событием: новый сборник «Знания», новая пьеса Гамсуна, премьера в Художественном театре, премьера в Большом театре, курсистки падают в обморок при виде Станиславского и Качалова, лихачи мчатся к Яру и в Стрельну...

Дело могло перейти в ссору, но тут поднялся общий смех. Шаляпин закричал:

— Браво, правильно! А все-таки айда, братцы, увековечивать собачью свадьбу! Снимаемся мы, правда, частенько, да надо же что-нибудь потомству оставить после себя. А то пел, пел человек, а помер — и крышка ему.

— Да, — подхватил Горький, — писал, писал — и околел.

— Как, например, я, — сумрачно сказал Андреев. — Околою в первую голову...

Он это постоянно говорил, и над ним посмеивались. Но так оно и вышло.

Все считали Шаляпина очень левым, ревели от восторга, когда он пел «Марсельезу» или «Блоху», в которой тоже усматривали нечто революционное, сатанинское, издевательство над королями:

Жил-был король когда-то,

При нем блоха жила...

И что же вдруг случилось? Сатана стал на колени перед королем, — по всей России прокатился слух: Шаляпин стал на колени перед царем! Толкам об этом, возмущению Шаляпиным не было конца-краю. И сколько раз потом оправдывался Шаляпин в этом своем прегрешении!

— А как же мне было не стать на колени? — говорил он. — Был бенефис императорского оперного хора, вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалованья, воспользоваться присутствием царя на спектакле и стать перед ним на колени. И обратился и стал. И что же мне, тоже певшему среди хора, было делать? Я никак не ожидал этого коленопреклонения, как вдруг вижу: весь хор точно косою скосило на сцене, все оказались на коленях, протягивая руки к царской ложе! Что же мне было делать? Одному торчать над всем хором телеграфным столбом? Ведь это же был бы форменный скандал!

В России я его видел в последний раз в начале апреля 1917 года, в дни, когда уже приехал в Петербург Ленин. Я в эти дни тоже был в Петербурге и вместе с Шаляпиным получил приглашение от

Горького присутствовать на торжественном сборище в Михайловском театре, где Горький должен был держать речь по поводу учреждения им какой-то «Академии свободных наук». Не понимаю, не помню, почему мы с Шаляпиным получили приглашение на это во всех смыслах нелепое сборище. Горький держал свою речь весьма долго, высокопарно и затем объявил:

— Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их приветствовать!

Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами, вызывать нас. Мы скрылись за кулисы, как вдруг кто-то прибежал вслед за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пел. Выходило так, что Шаляпину опять надо было «становиться на колени». Но он решительно сказал прибежавшему:

— Я не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованию. Так и объявите в зале.

Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками:

— Вот, брат, какое дело: и петь нельзя, и не петь нельзя, — ведь в свое время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А все-таки петь я не стану.

И так и не стал. При большевиках уже не был столь храбр. Зато в конце концов ухитрился сбежать от них.

В июне тридцать седьмого года я слушал его в последний раз в Париже. Он давал концерт, пел то один, то с хором Афонского. Думаю, что уже и тогда он был тяжело болен. Волновался необыкновенно. Он, конечно, всегда волновался, при всех своих выступлениях, — это дело обычное: я видел, как вся тряслась и крестилась перед выходом на сцену Ермолова, видел за кулисами после сыгранной роли Ленского и даже самого Росси, — войдя в свою уборную, они падали просто замертво. То же самое в некоторой мере бывало, вероятно, и с Шаляпиным, только прежде публика этого никогда не видала. Но на этом последнем концерте она видела, и Шаляпина спасал только его талант жестов, интонаций. Из-за кулис он прислал мне записку, чтобы я зашел к нему. Я пошел. Он стоял бледный, в поту, держа папиросу в дрожащей руке, тотчас спросил (чего прежде, конечно, не сделал бы):

— Ну что, как я пел?

— Конечно, превосходно, — ответил я. И пошутил: — Так хорошо, что я все время подпевал тебе и очень возмущал этим публику.

— Спасибо, милый, пожалуйста, подпевай, — ответил он со смутной улыбкой. — Мне, знаешь, очень нездоровится, на днях уезжаю отдыхать в горы, в Австрию. Горы — это, брат, первое дело. А ты на лето куда?

Я опять пошутил:

— Только не в горы. Я и так все в горах: то Монмартр, то Монпарнас.

Он опять улыбнулся, но очень рассеянно.

Ради чего дал он этот последний концерт? Ради того, вероятно, что чувствовал себя на исходе и хотел проститься со сценой, а не ради денег, хотя деньги любил, почти никогда не пел с благотворительными целями, любил говорить:

— Бесплатно только птички поют.

В последний раз я видел его месяца за полтора до его кончины, — навестил его, больного, вместе с М. А. Алдановым. Болен он был уже тяжело, но сил, жизненного и актерского блеска было в нем еще много. Он сидел в кресле в углу столовой, возле горевшей под желтым абажуром лампы, в широком черном шелковом халате, в красных туфлях, с высоко поднятым надо лбом коком, огромный и великолепный, как стареющий лев. Такого породистого величия я в нем прежде никогда не видал. Какая была в нем кровь? Та особая северно-русская, что была в Ломоносове, в братьях Васнецовых? В молодости он был крайне простонароден с виду, но с годами все менялся и менялся.

Толстой, в первый раз послушав его пение, сказал:

— Нет, он поет слишком громко.

Есть еще и до сих пор множество умников, искренне убежденных, что Толстой ровно ничего не понимал в искусстве, «бранил Шекспира, Бетховена». Оставим их в стороне; но как же все-таки объяснить такой отзыв о Шаляпине? Он остался совершенно равнодушен ко всем достоинствам шаляпинского голоса, шаляпинского таланта? Этого, конечно, быть не могло. Просто Толстой умолчал об этих достоинствах, — высказался только о том, что показалось ему недостатком, указал на ту черту, которая действительно была у Шаляпина всегда, а в те годы, — ему было тогда лет двадцать пять, — особенно: на избыток, на некоторую неумеренность, подчеркнутость его всяческих сил. В Шаляпине было слишком много «богатырского размаха», данного ему и от природы и благоприобретенного на подмостках, которыми с ранней молодости стала вся его жизнь, каждую минуту раздражаемая непрестанными восторгами толпы везде и всюду, по всему миру, где бы она его ни видала: на оперной сцене, на концертной эстраде, на знаменитом пляже, в дорогом ресторане или в салоне миллионера. Трудно вкусившему славы быть умеренным!

— Слава подобна морской воде: чем больше пьешь, тем больше жаждешь, — шутил Чехов.

Шаляпин пил эту воду без конца, без конца и жаждал. И как его судить за то, что любил он подчеркивать свои силы, свою удаль, свою русскость, равно как и то, «из какой грязи попал он в князи»? Раз он показал мне карточку своего отца:

— Вот посмотри, какой был у меня родитель. Драл меня нещадно!

Но на карточке был весьма благопристойный человек лет пятидесяти, в крахмальной рубашке с отложным воротничком и с



Л. Н. Толстой
Рисунок Ф. Шаляпина
1908

черным галстучком, в енотовой шубе, и я усумнился: точно ли драл? Почему это все так называемые «самородки» непременно были «нешадно драны» в детстве, в отрочестве? «Горький, Шаляпин поднялись со дна моря народного...» Точно ли «со дна»? Родитель, служивший в уездной земской управе, ходивший в енотовой шубе и в крахмальной рубашке, не бог весть какое дно. Думаю, что несколько прикрашено вообще все детство, все отрочество Шаляпина в его воспоминаниях, прикрашены друзья и товарищи той поры его жизни, — например, какой-то кузнец, что-то уж слишком красиво говоривший ему о пении:

— Пой, Федя, — на душе веселей будет! Песня — как птица, выпусти ее, она и летит!

И все-таки судьба этого человека была действительно сказочна, — от приятельства с кузнецом до приятельских обедов с великими князьями и наследными принцами дистанция немалая. Была его жизнь и счастлива без меры, во всех отношениях: поистине дал ему Бог «в пределе земном все земное». Дал и великую телесную крепость, пошатнувшуюся только после целых сорока лет странствий по всему миру и всяческих земных соблазнов.

Я однажды жил рядом с Баттистини в гостинице в Одессе: он тогда в Одессе гастролировал и всех поражал не только молодой свежестью своего голоса, но и вообще молодостью, хотя ему было уже семьдесят четыре года. В чем была тайна этой молодости? Отчасти в том, как берег он себя: после каждого спектакля тотчас же возвращался домой, пил горячее молоко с зельтерской водой и ложился спать. А Шаляпин? Я его знал много лет и вот вспоминаю: большинство наших встреч с ним все в ресторанах. Когда и где мы познакомились, не помню. Но помню, что перешли на «ты» однажды ночью в Большом Московском трактире, в огромном доме против Иверской часовни. В этом доме, кроме трактира, была и гостиница, в которой я, приезжая в Москву, иногда жил подолгу. Слово трактир уже давно не подходило к тому дорогому и обширному ресторану, в который постепенно превратился трактир с годами, и тем более в ту пору, когда я жил над ним в гостинице: в эту пору его еще расширили, открыли при нем новые залы, очень богато обставленные и предназначенные для особенно богатых обедов, для ночных кутежей наиболее знатных московских купцов из числа наиболее европеизированных. Помню, что в тот вечер главным среди пирующих был московский француз Сиу со своими дамами и знакомыми, среди которых сидел и я. Шампанское за столом Сиу, как говорится, лилось рекой, он то и дело посылал на чай сторублевки неаполитанскому оркестру, игравшему и певшему в своих красных куртках на эстраде, затопленной блеском люстр. И вот на пороге зала вдруг выросла огромная фигура желтоволосого Шаляпина. Он, что называется, «орлиным» взглядом окинул оркестр — и вдруг взмахнул рукой и подхватил то, что он играл и пел. Нужно ли говорить, какой исступленный восторг охватил неаполитанцев и всех пирующих при этой неожиданной «королевской»

милости! Пили мы в ту ночь чуть не до утра, потом, выйдя из ресторана, остановились, прощаясь на лестнице в гостиницу, и он вдруг мне сказал таким волжским тенорком:

— Думаю, Ванюша, что ты очень выпимши, и поэтому решил поднять тебя на твой номер на своих собственных плечах, ибо лифт не действует уже.

— Не забывай, — сказал я, — что живу я на пятом этаже и не так мал.

— Ничего, милый, — ответил он, — как-нибудь донесу!

И, действительно, донес, как я ни отбивался. А донеся, доиграл «богатырскую» роль до конца — потребовал в номер бутылку «столетнего» бургонского за целых сто рублей (которое оказалось похоже на малиновую воду).

Не надо преувеличивать, но не надо и преуменьшать: тратил он себя все-таки порядочно. Без умолку говорить, не давая рта раскрыть своему собеседнику, неустанно рассказывать то то, то другое, все изображая в лицах, сыпать прибаутками, словечками, — и чаще всего самыми крепкими, — жечь папиросу за папиросой и все время «богатырствовать» было его истинной страстью. Как-то неслись мы с ним на лихаче по зимней ночной Москве из «Праги» в «Стрельну»: мороз жестокий, лихач мчит во весь опор, а он сидит во весь свой рост, распахнувши шубу, говорит и хохочет во все горло, курит так, что искры летят по ветру. Я не выдержал и крикнул:

— Что ты над собой делаешь! Замолчи, запахнись и брось папиросу!

— Ты умный, Ваня, — ответил он сладким говорком, — только напрасно тревожишься: жила у меня, брат, особенная, русская, все выдержит.

— Надоел ты мне со своей Русью! — сказал я...

— Ну, вот, вот. Опять меня бранишь. А я это-го боюсь, бранью человека можно в гроб вогнать. Все называешь меня «ой ты, гой еси, добрый молодец»: за что, Ваня?

— За то, что не щеголяй в поддевах, в лаковых голенищах, в шелковых жаровых косоворотках с малиновыми поясками, не наряжайся под народника вместе с Горьким, Андреевым, Скитальцем, не снимайся с ними в обнимку в разудалозадумчивых позах, — помни, кто ты и кто они.

— Чем же я от них отличаюсь?

— Тем, что, например, Горький и Андреев очень способные люди, а все их писания все-таки только «литература», и часто даже лубочная, твой же голос, во всяком случае, не «литература».

— Пьяные, Ваня, склонны лыстить.

*Фото из архива
семьи Озерских.
Подарено
Ивану Васильевичу
Озерскому,
исследователю и
пропагандисту
творчества
Шаяпина,
Ириной Федоровной
Шаяпиной
с надписью:
«Тронута Вашим
отношением
к памяти отца.
Ярославль
9/IV 51 г.»*



— И то правда, — сказал я, смеясь. — А ты все-таки замолчи и запахнись.

— Ну, ин будь по-твоему...

И, запахнувшись, вдруг так рявкнул «У Карла есть враги!», что лошадь рванула и понесла еще пуще.

В Москве существовал тогда литературный кружок «Среда», собиравшийся каждую неделю в доме писателя Телешова, богатого и радушного человека. Там мы читали друг другу свои писания, критиковали их, ужинали. Шаляпин был у нас нередким гостем, слушал чтения, — хотя терпеть не мог слушать, — иногда садился за рояль и, сам себе аккомпанируя, пел — то народные русские песни, то французские шансонетки, то «Блоху», то «Марсельезу», то «Дубинушку» — и все так, что у иных «дух захватывало».

Раз, приехав на «Среду», он тотчас же сказал:

— Братцы, петь хочу!

Вызвал по телефону Рахманинова и ему сказал то же:

— Петь до смерти хочется! Возьми лихача и немедленно приезжай. Будем петь всю ночь.

Было во всем этом, конечно, актерство. И все-таки легко представить себе, что это за вечер был — соединение Шаляпина и Рахманинова. Шаляпин в тот вечер довольно справедливо сказал:

— Это вам не Большой театр. Меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах, рядом с Сережей.

Так пел он однажды и у меня в гостях на Капри, в гостинице «Квисисана», где мы с женой жили три зимы подряд. Мы дали обед в честь его приезда, пригласили Горького и еще кое-кого из каприйской русской колонии. После обеда Шаляпин вызвался петь. И опять вышел совершенно удивительный вечер. В столовой и во всех салонах гостиницы столпились все жившие в ней и множество каприйцев, слушали с горящими глазами, затаив дыхание... Когда я как-то завтракал у него в Париже, он сам вспомнил этот вечер:

— Помнишь, как я пел у тебя на Капри?

Потом завел граммофон, стал ставить напетые им в прежние годы пластинки и слушал самого себя со слезами на глазах, бормоча:

— Неплохо пел! Дай бог так-то всякому!

1938



ЛЕТОМ В ДЕРЕВНЕ

Из книги В. А. Теляковского «Мой сослуживец Шаляпин»
(М.; Л.: Academia, 1927).

Шаляпин давно и крепко дружил с К. А. Коровиным. Последний на свои скромные сбережения купил себе именице около станции Итларь по Ярославской железной дороге, построил себе небольшой домик и проводил здесь лето, занимаясь живописью и рыбной ловлей, которую обожал.

Летом Шаляпин приезжал к Коровину и подолгу гостил у него в свободное от гастролей время, нередко заезжая в мое имение «Отрадное», находившееся недалеко от Рыбинска.

Часто приезжал он с Коровиным и гостил у меня по нескольку дней. По вечерам он нередко любил читать вслух новейшие беллетристические произведения, увлекаясь в это время Андреевым и особенно Горьким.

Как-то он читал нам вслух «Человека» Горького и «Жизнь Василия Фивейского» Андреева. Шаляпин читает очень хорошо, и чтение его производит сильное впечатление. Солнце уже всходило, когда у нас завязался разговор о Горьком и Андрееве, как авторах и как людях. Горький, по-видимому, имел большое влияние на Шаляпина. Он перед Горьким преклонялся, верил каждому его слову и совершенно лишен был возможности относиться критически как к его сочинениям, так и к его жизни. На Коровина, критиковавшего Горького как художника, Шаляпин сердился. Оказываясь, они оба, ехав ко мне, все время проспорили на эту тему...

Когда Шаляпин стал много зарабатывать, он купил у Коровина его имение, выстроил себе по плану и рисунку Коровина большой деревянный дом в русском вкусе и прикупил еще участок земли с лесом. Коровин же выговорил себе условие пожизненно пользоваться своим маленьким деревянным домиком, ибо к месту этому привык, его очень любил и не хотел с ним расставаться.

Купив имение этой весной 1905 года, Шаляпин был полон искренней радости по поводу своего приобретения, намеревался впредь проводить здесь лето с семьей, стал горячо интересоваться вопросами сельского хозяйства и целыми днями мог об этом говорить с увлечением.

Приведу коротенькое письмо Шаляпина, написанное в мае 1905 года из только что купленного коровинского имения, — оно очень характерно для описываемого времени и увлечения Шаляпина в эту пору.

«Дорогой Владимир Аркадьевич, сейчас я, Костя Коровин и Серов (художник) едем в Переславль-Залесский. Собираемся с Кос-

тенькой приехать в первых числах июня к Вам. Живем, слава богам, ничего себе, грустим о событиях, что-то Вы? Имение замечательное. Хозяйствую всюду, крашу крыши, копаю земляные лестницы на сходнях к речке и вообще по хозяйству дошел до того, что самолично хочу выводить гусей и кур. Шлю искренний привет.

*Ваш Ф. Шаляпин**.

Коровин, страстный рыболов, мог часами просиживать на берегу реки с удочкой, и Шаляпин тоже стал увлекаться рыбной ловлей, хотя особым любителем ее и не был. У Шаляпина находится картина Серова, изображающая Коровина лежащим в избе на походной кровати; перед ним стоит старый рыболов-крестьянин, с ним беседующий. Надпись сделана на картине Серовым — «Беседа о рыбной ловле и прочем». Картина эта замечательно талантливо написана, и очень ловко схвачены Серовым характерные черты Коровина, любившего часами беседовать с крестьянами, особенно же рыболовами. В беседах этих была масса искреннего юмора, большое знание русского человека и необыкновенно тонкое наблюдение над своеобразным русским умом.

Коровин лучше Шаляпина умел говорить с крестьянами, он им был ближе последнего, и, хотя в сущности они не доверяли вполне ни тому, ни другому, все же Коровина любили больше — таково было, по крайней мере, убеждение самого Коровина, и я думаю, что он был прав.

Коровина, как бывшего помещика, в Итларе любили больше, чем Шаляпина; хотя последний был по происхождению свой, но сам-то обладал в значительной мере качествами хитрого русского мужичонки, а это крестьяне чувствовали. Им самим хотелось кое-что приобрести — землицы, леску, деньжат, — а Шаляпин не был на этот счет большой расточитель, он по натуре больше скопидом, а с такими крестьянам мало интереса водиться и душу отводить.

В имение Шаляпина летом съезжались самые разнообразные гости, начиная с Максима Горького и кончая крупными петербургскими чиновниками. Бывали и разные местные земские начальники, о которых и Коровин и Шаляпин любили рассказывать анекдоты, бывало много москвичей, по преимуществу из художественного и театрального мира. Впоследствии Шаляпин присмотрел и купил еще одно имение на Волге около Плёса, однако же вскоре в этих имениях жить перестал, особенно когда весной и летом стал гастролировать за границей.

Отношения Шаляпина и Коровина были совсем особенные. В вопросах художественных оба друг друга очень ценили и могли часами говорить о какой-либо мелочи, касающейся театра. На этой почве они могли высказываться самым откровенным образом и, несмотря на прямоту и резкость оценок, никогда друг на друга не обижались и не ссорились.

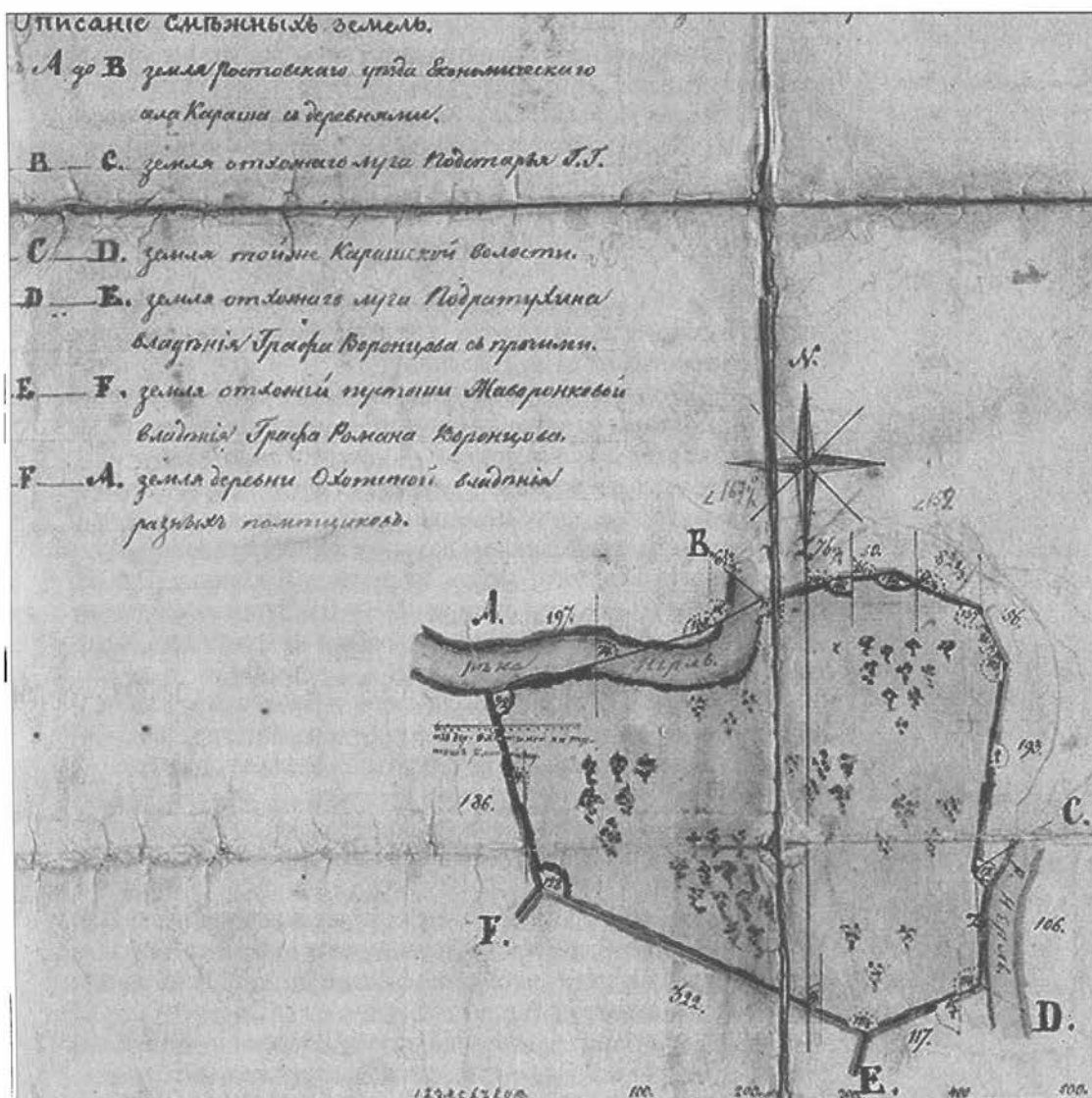
Но когда Шаляпин покупал что-нибудь у Коровина — будь то его картина, или какой-нибудь необыкновенный кавказский перстень, или камень драгоценный (конечно, драгоценный относительно, ибо настоящих Коровину самому не на что было приобрести), — то начинались споры и ссоры, длившиеся неделями.

Можно было умереть со смеху, когда эти два выдающихся ху-

* Письмо Шаляпина В. А. Теляковский приводит по памяти, цитируя его в некоторых местах не совсем точно. — *Ред.*

Описание смежных земель.

- А до В земля Ростовского уезда Экономического
ола Караша с деревнями.
В — С. земля отхоного муга Подстарфа Т.Т.
С — Д. земля тойже Карашской волости.
Д — Е. земля отхоного муга Подстарфа Т.Т.
властия Графа Воронцова с деревнями.
Е — Ф. земля отхоного муга Мавронковой
властия Графа Романа Воронцова.
Ф — А. земля деревни Охотиной властия
разрыва полчищев.



дожника начинали приводить доводы и объяснения, почему они так или иначе ценят данную вещь, и когда друг друга старались убедить в своей правоте, настойчиво подчеркивая, что один из них хочет другого нагреть. Тут все припоминалось — и прошлое, и настоящее, и услуги, и успех, и завидущий характер, и алчность, и видимая наивность, и простота. Иногда дело оканчивалось полным разрывом, чтобы на следующее утро начать все сызнова. Сколько здесь было смеха, обид, метких уколов, высмеиваний друг друга и в то же время подлаживания под настроение, ибо всегда Коровину хотелось продать, а Шаляпину дешево купить.

В важные моменты спора оба переходили на «вы» и начинали звать друг друга полным именем. Оба начинали горячиться, оба закуривали папиросы, оба затягивались — значит, спор обострился не на шутку и приближается разрыв.

План 10-й части земли
села Охотина
Переславского уезда,
составлен в 1905 г.
Передан Шаляпину в
числе других
документов при
покупке им земли
у Н. Н. Полубояринова
Из фондов
Переславль-Залесского
музея-заповедника
Публикуется впервые

— Вы, Константин, — говорил Шаляпин, — купили эту вещь дешево, а теперь хотите на мне нажить много. Вы вот и прошлый раз меня нагрели...

— Как же, нагреешь вас, — отвечал Коровин, — такого человека еще на свете не родилось, чтобы вас нагреть, — вы ведь жох и хотите всё получить задаром.

— Ну уж, это извините! Я вам даю настоящую цену, но вы не отдаете оттого, что эта вещь мне нравится, и хотите этим воспользоваться.

— Чем же я когда от вас воспользовался?! — И затем шел перечень картин, эскизов и других вещей, дешево, по мнению Коровина, проданных когда-то Шаляпину.

— Вы мне никогда дешево не продавали, а если и продали, то такие картины, за которые вам ничего не давали, ибо лучшие вы продадите не мне, а вашим друзьям — московским купцам.

Потом разговор переходил на имение, очень дешево, по мнению Коровина, проданное Шаляпину, затем вспоминались случаи, когда Коровин, купив случайно на рынке портреты работы Тропинина и Боровиковского, дешево их уступил Шаляпину. Однако потом оказалось, что это были копии, и Шаляпин их Коровину возвратил, сказав, что портреты эти дрянь, а не оригиналы, Коровин же обиделся и сказал Шаляпину:

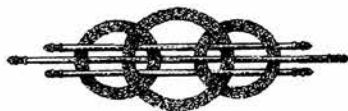
— Если бы картины эти были дрянь, я бы их сам не купил. Я их покупал себе, а вы ко мне пристали — «продайте, продайте», — я продал их дешево, а вы хотите купить Рафаэля за сто рублей. Я тоже не дурак, чтобы терпеть из-за вас убыток!

Но в конце концов все оканчивалось благополучно — оба успокоивались, и вещь, понравившаяся Шаляпину, переходила наконец к нему.

Шаляпин приобретал, но не стесняясь повторял несколько дней, что Коровин его нагрел; Коровин все твердил, что продал за гроши, ибо Шаляпин у него чуть не силой отбирал вещь да еще вдобавок неприлично ругался.

— Вы не думайте, — говорил потом Шаляпин, — ведь Константин очень хитер. Это он только на вид простоватый.

— Знаю я Федю, — вторил Коровин, — хитер тоже: представляется любит простоватым, широкой натурой, а он просто жмот и все норовит меня провести!



АРТИСТЫ И ПИСАТЕЛИ

Из книги Н.Телешова
«Артисты и писатели»
(М.: Советский писа-
тель, 1950).

Когда впервые я встретил Федора Ивановича Шаляпина, ему было, если не ошибаюсь, двадцать один год. Во всяком случае, это был юнец с очень бледными волосами, с бесцветными бровями и такими же ресницами, со светлыми глазами.

Однажды Савва Иванович Мамонтов, известный деятель в области искусства и общественности, организатор Частного оперного театра, привез Шаляпина на вечеринку в общество «Любителей художеств», на Дмитровку, где по субботам запросто собирались маститые, прославленные художники, а также и талантливая молодежь, начинавшая входить в известность.

— Он нам споет кое-что, а мы послушаем. Человек с будущим, — сказал Мамонтов, вводя Шаляпина в кружок.

Глядя на этого юнца огромного роста, не знающего, куда девать свои руки, вряд ли кто рассчитывал, что через полчаса этот юноша произведет на всех такое сильное впечатление, какое он произвел в тот вечер.

Первое, что он запел, было известное всем: «Перед воеводой молча он стоит». Вещь эту слыхали почти все, и немало раз, но никогда — так. Когда от имени воеводы он воскликнул: «А, попался, парень?! Долго ж ты гулял!» — многие говорили потом, что у них сердце дрогнуло перед этим грозным окриком воеводы. Было ясно, что юноша — незаурядный артист, и чем дольше он пел — а пел он много и безотказно, — тем яснее становилось его близкое и несомненно большое будущее.

Вскоре после этого Шаляпин начал выступать в Частной опере и быстро привлек к себе внимание и симпатии всей Москвы. Уже в качестве выдающегося артиста он перешел на сцену Большого театра.

В это время я и познакомился с ним.

В начале 900-х годов в моей квартире каждую среду собирался кружок молодых в то время писателей, только что входивших в известность, в том числе был и молодой Горький. Заинтересовался нашим кружком и Шаляпин.

У нас было правило: никогда не просить никого из артистов, которые бывали у нас, ни петь, ни читать. Хочешь — пой, не хочешь — не надо. А упрашивать никого не полагалось. Это считалось не то что насилием, а все-таки до некоторой степени вынужденной любезностью со стороны певца. И в первый свой приезд к нам Шаляпин ждал такой обычной для него просьбы со стороны

писателей, но не дождался. Просидели весь вечер, отужинали и разъехались, но никто ни единым словом не обмолвился о пении. Впоследствии он оценил это, как сам признавался, и уже без всякой спеси часто пел у нас подолгу и помногу. Пел он романсы, русские народные песни, которые очень любил, и пел изумительно, исполнял арии из опер, пел куплеты-шутки, даже французские шансонетки. Пел он и «Марсельезу», пел «Дубинушку», пел «Блоху». «Марсельезу» он так исполнял, особенно на французском языке, что дух захватывало от восторженного подъема.

Вспоминается один осенний вечер 1904 года, совершенно исключительный по впечатлению. Меня внезапно известили, что вечером будут гости — и много гостей: приехал в Москву Горький, обещал приехать Шаляпин, будут петербуржцы и многие товарищи, которые все уже извещены и приедут. Действительно, к вечеру собралось немало народу. А Шаляпин, как только вошел, сейчас же заявил нам полушутливо:

— Братцы, петь до смерти хочется!

Он тут же позвонил по телефону и вызвал Сергея Васильевича Рахманинова и ему тоже сказал:

— Сережа! Возьми скорей лихача и скачи на «Среду». Петь до смерти хочется. Будем петь всю ночь!

Рахманинов вскоре приехал. Шаляпин не дал ему даже чаю напиться, усадил за пианино, и началось нечто удивительное. Это было в самый разгар шаляпинской славы и силы. Он был в необычайном ударе и пел действительно без конца. Никаких чтений в этот вечер не было, да и быть не могло. На него нашло вдохновение. Никогда и нигде не был он так обаятелен и прекрасен, как в этот вечер. Даже сам несколько раз говорил нам:

— Здесь меня послушайте, а не в театре!

Шаляпин поджигал Рахманинова, а Рахманинов задорил Шаляпина. И эти два великана, увлекающие друг друга, буквально творили чудеса. Это было уже не пение и не музыка в общепринятом значении, это был какой-то взлет вдохновения двух крупнейших артистов.

Рахманинов был тоже в это время выдающимся и любимым композитором. С молодых лет одобряемый Чайковским и много воспринявший от общения с Римским-Корсаковым, он всегда считал, что от дружбы и близости с Шаляпиным получены им самые сильные, глубокие и тонкие художественные впечатления, принесшие ему огромную пользу.

Рахманинов умел прекрасно импровизировать, и, когда Шаляпин отдыхал, он продолжал свои чудесные экспромты, а когда отдыхал Рахманинов,

Шаляпин садился сам за клавиатуру и начинал петь русские народные песни. А затем они вновь соединялись, и необыкновенный концерт продолжался далеко за полночь. Тут были и самые

Создание образа Дон-Кихота, конгениального герою Сервантеса, было огромным достижением Шаляпина. Это отмечал А.В. Луначарский, говоря о величайшей победе артиста, «сумевшего заставить отступить все иные представления об известном миллионам читателей персонаже перед тем образом, который создал он силой своей художественной фантазии».



знаменитые арии, и отрывки из опер, прославившие имя Шалаяпина, и лирические романсы, и музыкальные шутки, и вдохновенная «Марсельеза»...

Как сейчас вижу эту большую комнату, освещенную только одной висючей лампой над столом, за которым сидят наши товарищи, и все глядят в одну сторону — туда, где за пианино видна черная спина Рахманинова и его гладко стриженный затылок. Локти его быстро двигаются, тонкие, длинные пальцы ударяют по клавишам. А у стены, лицом к нам, — высокая, стройная фигура Шалаяпина. Он в высоких сапогах и легкой черной поддевке, великолепно сшитой из тонкого трико. Одной рукой слегка облокотился на пианино; лицо вдохновенное, строгое; никакого следа нет от только что сказанной шутки; полное преображение. Ждет момента вступления. Преобразился в того, чью душу сейчас раскроет перед нами и заставит всех чувствовать то, что сам чувствует, и понимать так, как сам понимает...

Такого шалаяпинского концерта, как был этот экспромтный, мы никогда не слышали. Я переслушал его, кажется, во всех операх, где он пел, присутствовал на многочисленных его концертах, но такого вдохновенного пения я не запомню. К сожалению, правдивы слова и полны глубокой грусти, что никогда и никакой рассказ о том, как исполнял артист, не восстановит его чарующие образы, — как никакой рассказ о солнце пламенного юга не поднимет температуру морозного дня.

Шалаяпин был смелый нарушитель всех традиционных приемов, всех трафаретных образов. В нем было все по-новому, все глубоко обдуманно, верно, неожиданно и в полном смысле слова прекрасно.

В один из шалаяпинских бенефисов по его настоянию был поставлен в Большом театре «Демон». Спектакль прошел всего лишь несколько раз, так как партия была не по голосу Шалаяпина. На этом спектакле я был, слышал и видел Шалаяпина. А по окончании спектакля, помню, состоялся ужин в ресторане Тестова, почти напротив театра. Участвовало много народу по приглашению, человек до ста. Много здесь было всяких речей и выступлений, но особенно значительной была речь знаменитого историка, профессора Василия Осиповича Ключевского, который рассказал, как готовился к своим ролям Шалаяпин, как просил он помочь ему уяснить образы Годунова и Грозного, психологию этих образов, как он вдумчиво вникал во всё и как работал, как просиживал часами в Третьяковской галерее перед полотном Репина, перед фигурой грозного царя, думая глубокие думы. Этого никто не знал, никто не понимал огромной творческой работы над самим собой великого артиста, думая, что все дается ему случайно и без особого труда. А талант, помимо своей врожденности, есть труд — и огромный труд, прежде чем он заблестит на людях.

Это был человек, богато одаренный самой природой: высокого роста, статный, стройный, к которому шли всякие костюмы — и парадный фрак, и будничная русская поддевка, и простой пиджак, и всякое театральное средневековое, разные мундиры, тоги и демонские плащи. В каком бы костюме он ни появлялся, он был



Ф. И. Шалаяпин
*Автопортрет
в роли Дон-Кихота
1910*

«Среди изображений Дон-Кихота, — писал А. Г. Раскин, — выделяется одно... Это образ высокой трагедии — образ умирающего Дон-Кихота. В его облике не осталось и следа воинственности, беспомощно разметались волосы, уныло повисли некогда лихо закрученные усы, еще больше ввалились исхудалые щеки, глубоко запали глаза... В глазах «рыцаря правды» безмолвный упрек тем, кто смеялся над ним; сожаление к людям, примирившимся с эгоизмом, стяжательством и неспособным понять величие человеческой самоотверженности и доброты. Своеобразна и манера исполнения этого наброска. Тончайшие, как бы колеблющиеся линии выявляют форму и одновременно создают впечатление зыбкости, эфемерности изображения».

всегда великолепен. Во всех гримах, которые он сам себе намечал, он умел выявить самые существенные черты того, кого изображал на сцене. У меня хранятся некоторые подлинники его зарисовок, им самим набросанные, как голова Дон-Кихота, голова Мефистофеля и другие. Не говоря о том, что это был великий артист, всецело обязанный всеми достижениями только самому себе, он был еще, между прочим, и скульптор, и художник, хорошо рисовавший эскизы для своих разнообразных гримов. В опере «Борис Годунов» я видывал его во всех трех ролях, в трех образах: и царем Борисом, и летописцем Пименом, и пьяницей-монахом Варлаамом. Кто слышал, а главное — видел Шаляпина, тот никогда не забудет его, особенно в роли Бориса Годунова. Федор Иванович сам мне рассказывал, что в сцене с призраком убитого царевича, когда он кричит: «Чур меня!» — он нередко доходил до такого состояния, что, не помня себя и задыхаясь от пережитого ужаса, выходил на вызовы публики почти бессознательно в первые минуты.

Шаляпин высоко ценил Мусоргского как композитора, писавшего свое славное произведение и нуждавшегося в то же время в копейках, вымаливая их с трудом у современников — бюрократов, как их называл Шаляпин, — и умершего нищим в больнице в 1881 году.

Его замечательную оперу «Борис Годунов» Шаляпин прославил по всей Европе и Америке, считая ее великой, и действительно, имя Мусоргского имеет теперь высокое признание повсюду в мировых театрах.

Шаляпин обладал редкой музыкальной памятью. Когда он выступал в какой-либо опере, он помнил и знал не только свою партию, но и всю оперу. Он не выносил никаких отклонений, и, если кто-нибудь из участвующих «вольничал», Шаляпин закипал гневом. Этим отношением к делу и объясняются некоторые его резкие выступления, именовавшиеся в газетной уличной сплетне «шаляпинскими очередными скандалами». Был случай, когда на репетиции хор разошелся с оркестром, но капельмейстер продолжал дирижировать. Шаляпин остановил оркестр и потребовал согласования. Дирижер обиделся и бросил репетицию. Но Шаляпин все-таки добился верного исполнения оперы. Всеми этими так называемыми «скандалами» он так подтянул и хор, и оркестр, и всех своих партнеров, что репетиции и спектакли при его участии стали проходить без всяких небрежностей.

Работать он любил в одиночестве, по ночам, ложась спать только под утро, когда город начинал уже свой трудовой день.

Но вот не стало и Шаляпина...

Остались только граммофонные пластинки с его голосом, но они дают слишком недостаточное представление о том, чем он был на самом деле. Остался еще безмолвный фильм пьесы «Псковитянка», где Шаляпина можно видеть в роли Ивана Грозного и хотя несколько почувствовать силу его «игры». Но все это не то, и далеко не то...

Говорят, остался еще звуковой фильм «Дон-Кихот» с Шаляпиным в заглавной роли, но мне не приходилось его видеть, и сказать о нем я ничего не могу.

Умер Шаляпин в 1938 году за границей. Но последняя, предсмертная его мысль была о родине.

— Где я? — говорил он уже в бредовом состоянии. — В русском театре?.. Чтобы петь, надо дышать... А у меня нет дыхания... В русский театр!.. В русский театр!..

С этими словами и умер великий артист. Именно то, что слова эти были последними, за минуту до смерти, и выражает его истинное отношение к родине...



ВНЕ МУЗЫКИ СЧАСТЬЯ ЗНАТЬ НЕ МОГ

Ф. И. ШАЛЯПИН

Набросок портрета

Очерк написан на смерть Шаляпина и опубликован в парижском журнале «Русские записки» в мае 1938 года (№ 5).

В нашем издании текст печатается по публикации В. И. Гармаша: Музыкальная жизнь. 1993. № 13-14.

Автор шаляпинского «портрета» — Соломон Львович Поляков-Литовцев (1875 — 1945) —

популярный в среде русской эмиграции писатель, журналист. До 1917 года сотрудничал в петербургских газетах «Речь», «Современное слово». Его перу принадлежит множество статей, рецензий, интервью, посвященных Шаляпину.

Впоследствии они легли в основу книги мемуаров Шаляпина «Маска и душа». — Ред.

1

На ранних фотографиях (и по рассказам) Шаляпин — долго-вязый, угловатый, белобрысый, застенчивый парень из провинции, чувствующий себя неловко во фраке, который он не умеет носить, и неуютно в гостиных, к которым не привык. Проходит несколько лет, и фотографический снимок молодого артиста императорских театров в Петербурге показывает высокого, стройного красавца, отлично одетого, с уверенной, почти горделивой осанкой. Но это еще, может быть, *тенор*, — хотя в красоте и в костюме нет намека на томную сладость. Проходит еще несколько лет, и в Шаляпине уже ясно начинает выступать его *басовая* природа — молодой лев, крепко схвативший жизнь в могучие лапы. И так из года в год наливается новых сил, зреет и завершается изумительная фигура царственной мощи, столь чудесно данная в портрете Кустодиева, — русский богатырь, которого нельзя было не отличить среди миллионов обыкновенных людей. Несколько лет назад в Париже, до зачатка болезней, была в жизни Шаляпина короткая пора, когда его цветение достигло высшей точки и, как «прекрасное мгновение» Фауста, остановилось в покое осенней полноты. Казалось, природа говорила: это я сделала, а больше не могу.

Физическому совершенству Шаляпина сопутствовала исключительная ловкость. Как нельзя было вообразить себе Шаляпина фальшиво поющим, так нельзя было поймать в нем какой-нибудь неудавшийся обыденный житейский жест. Если он что-нибудь небрежно бросал, вещь попадет как раз туда, куда он хотел; если он за чем-нибудь протягивал руку, он возьмет что ему нужно метко и сразу; если он захочет посолить пищу, то сделает в точную меру своего вкуса, не пересолит и не недосолит; если он вешает на стену картину, то повесит как нужно и без усилий; если ему вздумается на клочке бумаги пошалить карандашом, то штрихи лягут на бумагу, один за другим, уверенно и окончательно, точно рисунок пал на бумагу готовым до замысла. Накладывает грим без ошибки. Если нужно поправить перед выходом на сцену самый сложный костюм, несколько последовательных прикосновений руки к ткани приведут его в порядок с возрастающей целесообразностью. Редко видно усилие — всегда внимательная, сосредоточенная и счастливая *удача*. Выходит ли из кабинета в блистательном

фраке, собираясь на светский обед, или утром (часов в двенадцать) из ванной, в живописном халате, с открытой исполинской грудью, в туфлях на босую ногу, — та же одинаково верная, безошибочная поступь великолепного зверя, каждое движение которого подчинено совершенной мускулатуре тела и правдивому инстинкту естественного ритма. Природа создала физического Шаляпина так, как Шаляпин создавал песню. Знаменитый врач Лемме, лечивший Шаляпина от ларингитов, говорил: «Более совершенной архитектуры горлового органа я не встречал в практике всей моей жизни».

Шаляпин это сознавал. Инстинктивно это выражалось в его любви к красивой одежде. На скольких людях одежда только прикрытие наготы, напоминание о беспомощном существе, подверженном страданию от холода, ветров и зноя. Одежда Шаляпина внушала мысль об *украшении*, о декоративной художественной заботе. Всегда по вкусу безукоризненная, как все, что в нем относилось к искусству.

2

Федор Иванович любил подчеркивать обдуманый, сознательный характер своего сценического творчества. В этом была большая доля правды. Много, действительно, им обдумывалось, изыскивалось, изучалось. Но едва ли может быть сомнение в том, что наиболее восхитительные, наиболее шаляпинские жесты на сцене возникали интуитивно от этой его законченной природно-физической удали, от правильной настроенности гениального инструмента. Однажды я его «поймал с поличным» на бессознательном жесте необыкновенной тонкости. Все мы постоянно, на каждом спектакле, открывали новые, ранее не замеченные детали исполнения. Не знаю, на каком по счету, но на одном из последних представлений «Князя Игоря» в Париже меня привел в восхищение неожиданный и, на мой взгляд, как будто нелогичный жест. В сцене второго акта оперы, в тереме Ярославны, Галицкий пристает к княгине и похвально — *что* ему Игорь! Сам может быть князем на Путивле. Только кликну клич — и *меня* выберут!.. Из тысячи певцов и актеров 999, жестикулируя эту ссору, при слове «меня» непременно ткнут пальцем в грудь себя. Это как будто и правильно — вот, этого, меня!.. Шаляпин же направлял сердитый перст *на княгиню*... Как это замечательно! — подумал я. Показать пальцем на себя — банальное бахвальство, а тут ведь возбужденный вызов княгине, противоборство: в эту минуту он думает не о *своей победе*, а об *ее поражении*, ее будущем изумлении, горькой обиде, и он естественно «подносит» это жестом — *ей*... На другой день говорю Федору Ивановичу:

— Как это хорошо! Этот ваш жест в сторону княгини при слове «меня».

— А что?

Объясняю.

— Да, пожалуй, так и есть. Это правильнее. Тыкать себя в грудь тут, действительно, не пристало.

Не подозревал об изумительной своей находке! Делал един-

ственно правильный, единственно убедительный жест, подсказанный настроением гневного спора, потому что всякий другой жест *не мог* возникнуть: надо было сделать насилие над какими-нибудь мышцами груди и руки, привыкшими безошибочно действовать в строгой гармонии с чувством.

Но мы должны сказать «прости» пластике и ладу, когда от чудесно уравновешенного биологического Шаляпина переходим в тайную область его душевного строя. Тут мы соприкасаемся не только с тайной гения, но и со сложным миром противоречий, нестройных порывов, резких страстей, томлений, тоски и, в заключительной стадии, с трагедией неудовлетворенного, мятущегося духа.

3

Шаляпин никогда не забывал о своем печальном детстве. О том, что он вышел из низов, что он не преувеличивал ни бедности, ни темноты первоначальных лет его жизни, свидетельствует фотографический снимок комнаты, в которой он родился. Что отец служил писцом в земской управе, имел степенный вид и носил енотовую шубу — решительно ни одного из показаний Федора Ивановича не опровергает. Жалованье было ничтожное, и добрая часть его, очевидно, пропивалась отцом, пристрастным к зеленому змию. Об этом свидетельствует и непритворная грустная горечь, с которой Шаляпин всегда вспоминал о доле нежной и несчастной матери. В роскошном своем доме 22 на авеню д'Эйло, в богатой столовой, строго мерцающей серебряной и золотой утварью, тканями художественной работы, в пышном кабинете, увешанном ценными коврами и дорогими картинами, он иногда как со сна пробуждался и озирался с изумлением: «Неужто это *мое* жилище, Феде из Суконной слободы в Казани?» Удивлялся — за что же это все мне? И в такие минуты, полуискренно большей частью, а иногда, пожалуй, и по-настоящему, впадал в самоунижение. «Вот: Горький — какой талант, какой великий писатель! Куда мне до него?» Собеседник либо улыбается, либо, когда уже душа не терпит, возразит с жаром: «Что за вздор, Федор Иванович! Куда вам до Горького?! Горький в исторически русском масштабе большой человек второго ранга, а вы первый человек, наряду с Толстым, Пушкиным, Глинкой, Мусоргским».

— Ну, что вы, что вы, милый друг. Это вам все кажется оттого, что меня любите. Ну, конечно, пою не плохо. Дай Бог всякому, однако же Горький...

Но убеждение Федора Ивановича уже слабеет, он защищается неувереннее, занавес скромности начинает, шурша, опускаться и — с мягкой тяжестью падает. Шаляпин переходит в шуточный тон. Видно, он радостно возбудился. Три удара. Ток — ток — ток. Снова взвивается занавес. Борис Годунов. Царь! И это — *он!* Не Федя из Суконной слободы в Казани, а Федор Иванович Шаляпин, покоривший Россию, покоривший Европу, покоривший мир. Сколько дал он радости людям, с каким восторгом они несут ему свое благоговейное преклонение. От его жеста, от одной его ноты у

тысячи людей по спинам мурашки бегают, — единственное настоящее свидетельство полного художественного наслаждения... И Федор Иванович возвращается в свое *нормальное* самоощущение великого художника, чувствующего свое значение среди людей и сознающего свое место в мире.

Это самосознание не всегда, конечно, в Шаляпине бодрствовало и не сразу утвердилось. В молодые годы было не до чинов вообще. Тогда сознание дара Божьего, от кипения крови, от избытка сил, выражалось в шумной острой радости бытия, в бездумном пировании, в любовных похождениях, «в играх Вакха и Киприды». В этот период жизни Шаляпин восторженно предается *культу содружества*. Это очень важно запомнить. Молодой певец испытал столько одиночества и заброшенности, что при первых его успехах в столице дружба образованных, известных и ласково его приемлющих людей была для него самой ценной наградой, самой осязаемой добычей победы.

— Любовь к обществу людей, — не раз говорил мне Шаляпин в минуты интимных бесед, — была самой главной страстью моей молодости. Взгляните на какой-нибудь из ранних моих портретов, увидите, как я был открыт для всех. Готов был ночи просиживать в кабаках, когда это меня и не забавляло, только бы видеть человеческие лица. Дышать не мог без людей...



Ф. И. Шаляпин
Фотография
из фондов
Переславль-
Залесского
музея-заповедника

4

Замечательно, что в первой своей автобиографии («Страницы из моей жизни») Шаляпин рассказывает, как в Баку, кажется, чуть-чуть не пошел на воровское дело. Соблазнила компания теплых ребят, трактирных приятелей! Конечно, в последнюю минуту одумался, — натура взяла верх. А позже в жизни, из содружества с Горьким, едва не записался в социал-демократическую партию, — Горький отговорил!

Шаляпина легко несло по течению. Ветер был попутный, ласковый. Люди казались прекрасными. Вкус жизни был в общении, в расточении радостей и в обретении их. Певец в стане друзей, Шаляпин был добр, великодушен, щедр. Давал концерты для рабочих, для погромленных евреев, для студентов. Не было охоты и не было повода *противопоставлять* себя миру. Он шел с миром в ногу. О том, что он «царь», ему часто и не думалось, а о том, что в этом «царе» таится страшная воля к самодержавию, он и не подозревал. Пришло это позже, когда поперек течению встали волны.

Эпизод с несостоявшимся приобщением Шаляпина к российской социал-демократии очень характерен. Великодушный порыв



Ф. И. Шаляпин
Автопортрет. 1922

солидарности с обездоленными трудящимися классами (он сам изведal труд, безработицу, голод) и, одновременно, большая интеллектуальная наивность. Шаляпин, в сущности, никогда ничему не учился вне сферы собственного призвания. Он не любил теоретиков и не выносил ученых схоластиков искусства, безжалостно и не всегда справедливо над ними издеваясь, но к *знанию всякому* питал глубокое, нередко суеверное уважение. В «Маске и душе» он, вознося Горького, особенно восхищается его познаниями. «Горький так много знал! — восклицает он. — Я видал его в обществе ученых, философов, историков, художников, инженеров, зоологов и не знаю еще кого. И всякий раз, разговаривая с Горьким о своем специальном предмете, эти компетентные люди находили в нем как бы одноклассника. Горький знал большие и малые вещи с одинаковой полнотой и солидностью. Если бы я, например, вздумал спросить Горького, как живет снегирь, то Алексей Максимович мог рассказать мне о снегире такие подробности, что, если бы собрать всех снегирей за тысячелетия, они этого о себе знать не могли бы».

Никогда ничему не учился, но все, что имело какое-нибудь отношение к чувству, к воображению, к искусству, Шаляпин узнал без учебников и без усилий. Гениальная интуиция помогла ему впитать в себя лучшие вкусы, тончайшие художественные идеи, плодотворнейшие томления эпохи, с которой совпали его первые шаги на сцене и которая была так богата силами обновления. От композиторов, от писателей, от историков, от живописцев, скульпторов, танцоров он с плодотворной жадностью брал все, что могло служить подножием его искусству, материалом для его гения. В этом отношении достижения крестьянского мальчика из Суконной слободы в Казани баснословны и непостижимы. В обществе Шаляпина, *в его высокие минуты*, вы могли переживать неопишемое волнение чувства, что перед нами существо калибра Шекспира, Моцарта, Бетховена. В сфере музыки и поэзии его интеллектуальность была, пожалуй, так же высока, как его эмоциональность.

Не давалась Шаляпину интеллектуальность рационально-логического свойства, полезная политику и социологу. В этом выдающемся человеке было столько ума и здравого смысла, что собеседника своего, будь то политик или социолог, он отлично понимал, когда вовлекал его в беседу, что очень любил делать. Понимал метко. Но никак это понимание к Шаляпину не приставало, не зацеплялось надолго в сознании, поглощенном другими интересами. На этого рода темы он всегда говорил немного хаотично, часто путал Глеба с Борисом. По этой же причине он был охотник усвоить на несколько часов любую убежденно предложенную ему новую теорию — философскую, социальную, биологическую, медицинскую.

Несколько лет назад я был свидетелем курьезной сцены, как он у себя в кабинете слушал покойного А. А. Суворина, худого аскета в черном, проповедовавшего ему тридцатидневный голод — для здоровья. Человек, не знавший Федора Ивановича, вынес бы твердое впечатление, что постный искуc великого певца начнет-

ся через полчаса... Но Ф. И. к вечеру имел превосходный аппетит и по-царски его удовлетворил.

Родной стихией Шаляпина было только чувство, его главным органом было сердце — в нежности и в гневе, в любви и в злобе, в восторге и в негодовании. Чувством он все воспринимал, чувством все отражал. Это было сильнейшее свойство Шаляпина; оно открывало, однако, его слабую, уязвимую точку — *необычайную впечатлительность*, которая так ярко освещает его сложный характер, его поведение, его отношение к людям. Этот гигант, сложенный как бы из бронзы, был чувствителен к царапинам и уколам жизни, как ребенок. Эта черта его натуры лежала в основе его долгой тяжбы с обществом, сыгравшей в развитии его характера немалую роль.

5

В Шаляпине клокотала немалая сила. До самых последних лет жизни она не угасала. Помню, несколько лет назад, на авеню д'Эйло, он рассказывал мне, как в Москве в опере Мамонтова ему никак не удавался образ Ивана Грозного в «Псковитянке». Первую фразу, обращенную к псковскому наместнику: «Войти аль нет?» — Шаляпин — Иван произносил ехидно, ханжески, саркастически, зло, а надо было ее произнести могучим, грозным, жестоко-издевательским голосом. Шаляпин изображал змею, а надо было показать тигра. И, иллюстрируя рассказ, сначала произнес фразу по-змеиному, а потом, свирепо озираясь, точно железным посохом ударил: «Войти аль нет?...» Как передать этот крик? Меня охватил физический страх, забилося сердце. Страшный был передо мною человек! Тигр жил в нем самом, а не в Иване.

Мы знаем, как легко и как часто этот страшный огонь прорывался наружу в общении с сотрудниками в театре, какие он иногда наносил обиды, — сила его не знала пределов и играла им самим, как щепкой, уносимой потоком. Остывая, Шаляпин потом сам страдал от этого, хотя признавался в том весьма редко и то только долго спустя. Бывал Федор Иванович прав, бывал виноват, но как-то выходило, что перед обществом он оказывался виноватым всегда, неизменно. Шаляпин постоянно удивлялся, отчего это люди, которые так восторженно аплодируют ему в театре, получают от его пения столько удовольствия, с таким злорадным наслаждением подхватывают каждую на его счет сплетню, так скверно о нем судят? Крайне впечатлительного Шаляпина мучило и угнетало это к нему отношение. Он же «дышать не мог без людей», ему [бы] «только глядеть на человеческие лица», — почему эти люди так пакостны,



Г.С. Верейский
Портрет Шаляпина
1921

почему в этих глазах столько к нему злобы? Если взять все буквы русского алфавита, то каждая из них озаглавит какой-нибудь обидный для него эпитет — Анархист, Босяк, вплоть до Хулигана. Словарь осудительных эпитетов богател из года в год. Воображение, темперамент, чувствительность артиста несколько драматизировали положение — царапина превращалась в рану. Рана долго не заживала. Каждая новая царапина сразу пробуждала все старые раны. Оптимизм, легкое отношение к жизни и людям, веселое доброжелательство постепенно уступают [место] раздражению, горечи, обиде и протесту. С годами певец становится все более замкнутым, отодвигается от многих, которых считал друзьями, с которыми пил, которым пел... Осталась прежняя манера экспансивного приема людей, но это уже только внешняя оболочка — внутренний жар к людям остыл; Шаляпин всегда настороже, немного подозрителен («куда этот *гнет!* что ему *нужно?*») и, при малейшем ощущении, что на него в каком-нибудь смысле покушаются, — щетинится...

Горькому он патетически признателен (от благодарности на Капри плакал!) за то, что тот один поверил ему и нравственно поддержал во время травли за инцидент в Мариинском театре — «на колени перед царем».

Ф. И. Шаляпин
Автопортрет



Столь же сильна и патетична его обида, — он не забывает обидчиков, именных и анонимных, индивидуальных и коллективных. Внутренне он в постоянной с ними тяжбе, и в ней глубокий и тайный источник его *самодержавия*...

В «Маске и душе» Шаляпин описывает, как в Петрограде в большевистскую пору, когда ему пришлось терпеть за своим столом разных комиссаров, какой-то финский коммунист Рахия очень уж себя разнуздал и все требовал «пролетарского искусства», договорившись до того, что сказал Шаляпину:

— Ты ничего не понимаешь. Да что ты понимаешь в пролетариате?

Тут, рассказывает Федор Иванович, «я, позеленев от бешенства, тяжелым кулаком хлопнул по гостеприимному столу. Заиграла во мне царская кровь Грозного и Бориса:

— Встать! Подобрать живот, сукин сын! Как ты смеешь со мной так разговаривать? Кто ты такой, что я тебя никак понять не могу? Навоз ты этакий, я Шекспира понимаю, а тебя, мерзавца, понять не могу. Молись Богу, если можешь, и приготовься, потому что я тебя сейчас выброшу в окно на улицу...»

«Кровь Грозного и Бориса» в Шаляпине играла часто, каждый раз, когда он вспоминал, что русская молва осуждает его за «непонимание» — то законов общежития, то благопристойных манер, то «долга перед ближними»... Тогда он зеленел от бешенства, тяжелым кулаком хлопал по столу и приказывал: «Встать! Как вы смеее со мною так разговаривать?!»

Воля к *самоопределению* во всех смыслах, во всех отношениях развилась от этого в Шаляпине до крайних степеней. Всякое внушение со стороны (надо бы сделать то или это), в котором он, правильно или нет, почует зародыш, тень упрека, — чего, мол, сами об этом не догадываетесь? — вызывало в нем глухой ропот, а нередко и ураганную вспышку гнева. В моих ушах еще звучат фразы вроде следующих:

— Да что вы мне все тычите «русский, русское». Да какого черта я русский?! Отец мой родился в Вятской губернии, — какие-то такие в Вятской губернии русаки?

Или:

— Грубый мужик, который за столом говорит ср..., мне дороже и ближе всех ваших интеллигентов!..

6

Простолюдинов, людей из народа, «мужика» Шаляпин, по-видимому, любил искренно, чувствуя себя самого сыном народа, «крестьянином». Жаловал столбовых купцов московских за умение строить жизнь, за изобретательность, за творчество и, пожалуй, еще за мужицкий их корень. К русским слугам своим относился необыкновенно просто, как к равным. Снобизма в нем не было ни капли. К барам, к аристократам его не тянуло. Презирал сословную спесь. Помнил, что его детей не могли принять в пушкинский лицей, — крестьяне, черная кость... На эрмитажных спектаклях ему «забавно было видеть русских аристократов, разговаривавших с легким иностранным акцентом, в чрезвычайно богато, но безвкусно сделанных боярских костюмах семнадцатого столетия. Выглядели они в них уродливо». А вот барскую жизнь, обилие, роскошь любил. И нередко прямо предъявлял свое право на это. Царь, — почему ему не жить по-царски? В «Маске и душе» он пишет: «Я говорил себе — были замки у королей и рыцарей, отчего же не быть замку у артиста?» И он жил в очень большой роскоши.

В «словаре ругательств» буква С означает Скупец. Скуп Шаляпин не был — он был широк и даже расточителен. Когда он находил нужным оказать кому-нибудь помощь, он не мелочно ее оказывал. Но инстинкт собственности, вкус к приобретению был в нем силен. Он любил золото, землю, дома в городе, дачи в деревне. В Крыму купил пушкинскую скалу, и какую-то скалу купил даже где-то в Америке. Ему *казалось*, что все это очень практично, на деле это было чистейшее любительство, утоление капризной жажды владения. И деньги Шаляпин любил за то, что они могут дать. Но даже эту любовь, столь сильную, он подчинял своему искусству и сану гения, каким себя гордо сознавал. Гонорары должны быть огромные, потому что он — Шаляпин. Бывало, выгоднее их пони-

зять, чтобы в результате больше заработать, — нет. Он отклонял самые в материальном отношении соблазнительные предложения, если ему надо было отклониться от собственных канонов искусства или принести в жертву свой художественный престиж. Бросал 30 000 франков за уже объявленный спектакль, оттого что не понравилась декорация или дирижер не пожелал ускорить или замедлить ритм в 7-й картине. И когда московские хамы пишут, что Шаляпин «изменил» России за деньги, покинул родину в погоне за американскими гонорарами, то они этим только показывают свою духовную и нравственную слепоту.

Шаляпин уехал из России не потому, конечно, что были оскорблены его политические какие-либо убеждения, что не мог жить без свободы печати и вне парламентского строя. Великие художники жили [и] под Борджиа, Шаляпин мог бы ужиться и под Советами. Убежал он, главным образом, потому, что терял *престол* в театре, что тирания хамства покусилась на его творческую свободу, что всякие Рахьи требовали от него пролетарского искусства, что нехорошо в театрах стали обращаться с костюмами... И если потом, в последние годы, когда одно время стало казаться, что в России можно, пожалуй, в театрах делать серьезную работу, то именно эта возможность часто и тайно Шаляпина тревожила соблазном. И если в Россию он не поехал, то потому, что *не верил*: дадут театр, а потом отнимут, посулят свободу, а потом растопчут. И он отсылал официозных советских посланцев, а Горькому писал, что не поедет. А как он тосковал по широкой, свободной, независимой работе!..

Эта тема подводит нас к заключительной стадии жизни Шаляпина, к последним годам. Вне музыки, вне пения, вне театра — счастья Шаляпин знать не мог. Кризис и другие причины постепенно суживали круг возможностей настоящей работы. Шаляпину было тяжело даже в годы триумфальных заграничных гастролей, когда золото сыпалось, как из рога изобилия, — оттого что нельзя поставить новую оперу, создать новый образ, иметь постоянный театр, постоянную труппу. Ему было тяжело, что надо ездить в Бордо, в Тулузу, в Нагасаки. Однако это все же было творчество, в этом все же была жизнь. И под японским небом, и в случайном театре, и при чужом оркестре зажигались огни, пробуждались вдохновения, расширялись крылья, дрожали сердца. Когда же систематическая постоянная работа становилась трудной, а с другой стороны, нередко приходилось отказываться от поездки потому, что этого требовал доктор, — над великой жизнью нависала тень трагедии. Мария Валентиновна Шаляпина, образец жены гения, — славный подвиг и подчас очень трудный, — небольшой круг интимных друзей, сам певец силились создать иллюзию полноты над бездною пустоты. Время от времени веселый завтрак с людьми, которых Шаляпин отличал, планы, мечты — как было бы хорошо сыграть Городничего или воплотить Скупого Рыцаря: как-нибудь непременно! — и сухой ветер пустыни... Пасьянс, — торопливый, нервный, почти невнимательный. Белот* — на несколько часов подряд. Все для того, чтобы уйти, уйти... И все время, в томлении духа, «сыплют ароматы» — гениальные искры. То несколько строф Пуш-

* Вероятно, имеется в виду французский писатель Бело (Belot), известность которому создала остроумная комедия «Le testament de cesar Girodot» (1895); автор бульварных романов, имевших скандальный успех благодаря своему рискованному сюжету. — Ред.

кина, то минута лицедейства, то бесподобный шарж, то Петипа, француз, быстро-быстро говорящий по-русски, то еврейский анекдот, рассказанный с неподражаемым мастерством, то Дася приносит маленькую собачку, только что купленную, как назвать? Федор Иванович посмотрит и скажет:

— Микитка!

Не оторвать клички — Микитка и есть: нечто черное, проворное, забавное, чуть-чуть грязное, но милое, простое — Микитка!..

А то вдруг заговорит о смерти. Спокойно. А то: «Подсмотрел я около Китцбюхля в Тироле интересный домик. Близ речки. Можно рыбу ловить...»

Длительный разговор о политике... Тема — темы разные. Вариант основной темы — смута времени, — постоянно так или иначе затрагиваемой и в письмах. Пишет из Неаполя: «Сегодня Новый год. Сижу, читаю газеты — вижу: там расстреляли 2000, там убито 14, тут 93. Смотрю на Капри, вспоминаю социалистов-гуманистов, их расширенные возмущением глаза, протесты против смертной казни. И, несмотря на веселый триумф в Сан-Карло (неаполитанская опера), хочется всплакнуть от огорчения...» А то ироническая насмешка над былыми своими социалистическими увлечениями (в письме из Шанхая): «хотим заняться объединением рикш в социалистическую группу...». И вдруг — стихотворная импровизация в духе Рабле. А вот на клочке бумаги образ Моисея, навеянный Микеланджело, и неожиданный экскурс в психологию народов:

— Наши парни, как не попадут на мой концерт, перережут проволоку, чтобы погасить в зале электричество, а в Лодзи молодые еврейчики в длинных пейсах гуськом выстроятся вдоль толстой стены концертного зала, приложат к стене уши и... стараются послушать меня!..

Появится в «Тан» рецензия о спектакле. Кто-нибудь спросит: читали, Федор Иванович?

— Михаил! Купи «Тан». Никогда в доме ничего нет, что нужно...

Михаил побежал, принес. Шаляпин развернул газету, нашел, стал читать и... бросил после нескольких строк. Ну, Бог с ними!..

Не то. «Скучно, господа, на этом свете!»

И вот приходит минута высокая, — заговорил о музыке, о Мусоргском, о Моцарте, о Пушкине... «Говорят, нет правды на земле...» Читает... Какое наслаждение! Какой артист, какой человек! Сколько духовности! Забыта тяжба с обществом, забыл о нехороших людях, забыл обо всем, что есть на земле несовершенного, обидно-



Ф. И. Шаляпин
1930-е годы

го, от чего всплакнуть хочется, — лишь бы смотреть на человеческие лица! Разве можно дышать без людей, когда без них нет искусства, нет пения, нет театра, нет счастья?! Шаляпин молод, ему двадцать лет, он только что впервые увидел мир и влюблен в жизнь... Мало простору для души. Нужно что-то еще, что над жизнью!..

Счастлив тот, кто Шаляпина в такие минуты видел.

Кто же такой Шаляпин, — единственно-реальный, настоящий, живший среди нас, нам певший?

Вот он: «Когда я слушал «Град Китеж» в первый раз, мне представилась картина, наполнившая радостью мое сердце. Мне представилось человечество, все человечество, мертвое и живое, стоящее на какой-то таинственной планете. В темноте — с богатырями, с рыцарями, с королями, с царями, с первосвященниками и с несметной своей людской громадой... И из этой тьмы взоры их устремлены на линию горизонта, — торжественные, спокойные, уверенные, они ждут восхода светила. И в стройной гармонии мертвые и живые поют еще до сих пор никому не ведомую, но нужную молитву...» («Маска и душа»).





IV

Шаляпин и Ярославский край

Хроника пребывания Шаляпина на земле Ярославской составлена по материалам "Летописи жизни и творчества Ф. И. Шаляпина" (Л.: Музыка, 1988 - 1989. Т. 1-2).
Б. Г. Старк печатается по изданию: Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII - XX веков. М., 1994. Вып. 5.
Остальные материалы - из ярославских газет.

Хроника пребывания Шаляпина на земле Ярославской

1898

Июнь — август

Живет в имении Т. С. Любатович (певицы Частной оперы С. И. Мамонтова) Путятино, ст. Арсаки Ярославской железной дороги. Под руководством С. В. Рахманинова проходит краткий курс теории музыки. Разучивает партию Бориса Годунова в одноименной опере Мусоргского.

Июль — август

Встречается с В. О. Ключевским, жившим на даче в Ярославской губернии, просит историка рассказать ему о Годунове, что тот и делает во время лесной прогулки. «Никогда не забуду я эту сказочную прогулку среди высоких сосен по песку, смешанному с воей. Идет рядом со мной старичок, подстриженный в кружало, в очках, за которыми блестят узенькие, мудрые глазки, с маленькой седой бородкой, идет и, останавливаясь через каждые пять — десять шагов, вкрадчивым голосом, с тонкой усмешкой на лице, передает мне, точно очевидец событий, диалоги между Шуйским и Годуновым, рассказывает о приставах, как будто лично был знаком с ними, о Варлааме, Мисаиле и обаянии самозванца» (Ф. И. Шаляпин. Т. 1. С. 132).

27 июля

В церкви села Гагино Шаляпин венчается с Иолой Торнаги,prima-балериной Частной русской оперы. После венчания — скромный свадебный пир на даче Т. С. Любатович в Путятине.

1899

2 июня

Вместе с Л. В. Собиновым выезжает на гастроли в Одессу.

1903

11 августа

Приезжает в имение художника К. А. Коровина Охотино Ярославской губернии.

14 августа

Вместе с А. М. Горьким и К. А. Коровиным посещает Ростов-Ярославский.

1904

2—3 июня

Гостит у директора императорских театров В. А. Теляковского в селе Отрадное Ярославской губернии.

4 июня

Вместе с К. А. Коровиным уезжает в Ярославль.

До конца июня

Отдыхает на даче К. А. Коровина в деревне Охотино Ярославской губернии.

19 июня

Подписывает купчую на приобретение участка земли у К. А. Коровина.

26 июня

Пишет режиссеру Е. Н. Чирикову о том, что отдал Коровину за проданную землю 15000 руб., что сам намерен строиться в начале июля, хвалит место («красоты непомерной»), приглашает на новоселье в будущем мае.

1905

После 9 мая

Отдыхает на своей даче в Ратухине (ст. Итларь Северной железной дороги).

26 мая

Пишет В. А. Теляковскому: «Сейчас из Ратухина втроем, я, Костя и Серов, едем в Переславль-Залесский...<...> Ужасно соскучился о всех вас. Имение наше замечательное — хозяйствую вовсю, крашу крыши, копаю земляные лестницы на сходе к реке и вообще по хозяйству дошел до того, что самолично хочу выводить гусей и кур».

28 мая	Вместе с Коровиным и Серовым посещает усадьбу-музей «Ботик» в деревне Веслево (близ Переславля-Залесского). Делают запись в книге музея: «Вечная память величайшему монарху работнику Петру Первому. Ф. Шаляпин, В. Серов, Конст. Коровин. Май. 28. 1905 г.».
20 июня	В конторе нотариуса И. В. Полтевского в доме Общественного банка в Ярославле Шаляпиным совершена купчая крепость на покупку у крестьянина деревни Старово А. М. Глушкова около 100 десятин земли по пустоши Овсянниковой за 12 тысяч рублей.
1 июля	Гостит в имении В. А. Теляковского в селе Отрадное, позирует К. А. Коровину.

1909

*Середина июля —
середина августа*

Отдыхает в своем имении Ратухино.

1910

*Июль
До 1 августа*

Отдыхает в своем имении Ратухино.

Вместе с Н. А. Клодтом несколько дней гостит у помещика А. С. Шулепникова в усадьбе Утешное Костромской губернии, затем едет в Москву.

22 августа

Снова приезжает в Ратухино.

1912

Начало июля

Отдыхает в своем имении Ратухино (16 июля приезжает в Петербург).

*После 18 августа
7 сентября*

Отдыхает в Ратухине (31 августа отправляется в Казань). Снова уезжает в Ратухино.

1913

Около 23 августа

Уезжает на отдых в свое имение Ратухино.

1915

*Конец мая —
25 июня
После 7 июля*

Отдыхает с семьей в своем имении Ратухино.

Гостит один день в деревне Шашково, что по соседству с Отрадным, у В. А. Теляковского, затем совершает путешествие по Волге до Царицына.

До 13 сентября

Участвует в съемках фильма «Царь Иван Васильевич Грозный» в Угличе.

1922

29 июня, вечером

На пароходе «Обербюргермейстер Хаккен» отплывает из Петрограда за границу на лечение, отдых и гастроли — и в Россию уже не возвращается.

СЧИТАТЬ ЛИ ШАЛЯПИНА ЗЕМЛЯКОМ?

Северный рабочий.
1989. 22 ноября

Детство Ф. И. Шаляпина прошло в Казани, жил он в Нижнем Новгороде, пел в театрах Петербурга и Москвы. Так что вопрос, считать ли Федора Ивановича земляком-ярославцем, может вызвать недоумение.

А связи у него с Ярославией были самые тесные. Здесь находилась его дача, сюда приезжал он к друзьям, работал над новыми ролями. Этому посвящено немало эпизодов в его книге «Страницы из моей жизни»:

«Летом 98-го года я был приглашен на дачу Т. С. Любатович в Ярославскую губернию. Там, вместе с С. В. Рахманиновым, нашим дирижером, я занялся изучением «Бориса Годунова».

<...>

Изучая «Годунова» с музыкальной стороны, я захотел познакомиться с ним исторически. Прочитал Пушкина, Карамзина. Но этого мне показалось недостаточно. Тогда я попросил познакомить меня с В. О. Ключевским, который жил тоже на даче в пределах Ярославской губернии.

<...> Когда я попросил его рассказать мне о Годунове, он предложил отправиться с ним в лес гулять. <...> Идет рядом со мною старичок, подстриженный в кружало... и... вкрадчивым голосом, с тонкой усмешкой на лице, передает мне, точно очевидец событий, диалоги между Шуйским и Годуновым... Говорил он много и так удивительно ярко, что я видел людей, изображаемых им».

В этот же приезд Ф. И. Шаляпина на Ярославскую землю в его жизни произошло большое событие. Все началось еще в Нижнем Новгороде, куда по случаю всероссийской ярмарки съехались лучшие артисты.

«Среди итальянских балерин была одна, которая страшно нравилась мне. Танцевала она изумительно, лучше всех балерин императорских театров, как мне казалось. Она всегда была грустной. Видимо, ей было не по себе в России. Я понимал эту грусть».

Видя отношение к балерине уже ставшего знаменитым певца, ее оставили в Москве, продлив контракт. И вот снова Ярославия.

«...Живя у Любатович на даче, я обвенчался с балериной Торнаги в маленькой сельской церковке. После свадьбы мы устроили смешной, какой-то турецкий пир: сидели на полу на коврах и озорничали, как малые ребята. Не было ничего, что считается обязательным на свадьбах: ни богато украшенного стола с разнообраз-

№ 2312.

СПИСОКЪ

лицъ по Переславскому уѣзду, имѣющихъ право участія, на основаніи п.п. 1—3 ст. 28 Положенія о выборахъ въ Государственную Думу, въ сѣздѣ уѣздныхъ землевладѣльцевъ.

Фамилія, имя и отчество.	Размѣръ пенза.
1 Аксрачковъ-Дуловъ тожъ Дмитрій Ивановичъ.	291 $\frac{1}{2}$ дес.
2 Бѣляевъ Петръ Алексѣевичъ.	3 дома и земли 23864 р.
3 Брюховъ Михаилъ Федоровичъ.	262 $\frac{3}{4}$ дес.
4 Волковъ Евгений Николаевичъ.	504 $\frac{3}{4}$ дес.
5 Дмитріевъ Николай Федоровичъ.	373 дес.
6 Журавлевъ Александръ Михайловичъ.	226 дес.
7 Зубовъ Павелъ Васильевичъ.	2801 $\frac{1}{2}$ дес.
8 Ивановъ Андрей Ивановичъ.	350 $\frac{5}{8}$ дес.
9 Ивановъ Николай Александровичъ.	227 $\frac{1}{2}$ дес.
10 Ивановъ Пантелеимонъ Александровичъ.	227 $\frac{1}{2}$ д. по уполномочію матери.
11 Колмогоровъ Степанъ Яковлевичъ.	1098 $\frac{1}{4}$ дес.
12 Кузнецовъ Иванъ Павловичъ.	244 дес.
13 Кузнецовъ Александръ Ивановичъ.	347 $\frac{1}{4}$ дес.

— 5 —

97 Товаровъ Николай Александровичъ.	68 дес.
98 Телѣгинъ Василій Федотовичъ.	17 $\frac{1}{4}$ дес.
99 Телѣгинъ Федоръ Яковлевичъ.	7 $\frac{1}{2}$ дес.
100 Фоминъ Илья Федоровичъ.	12 дес.
101 Федоровъ Иванъ Алексѣевичъ.	22 $\frac{1}{2}$ дес.
102 Шеленинъ Павелъ Семеновичъ.	Постройки, оцѣнен. въ 1650 руб.
103 Шаляпинъ Федоръ Ивановичъ.	200 $\frac{3}{4}$ дес.
104 Шигановъ Маркъ Васильевичъ.	20 дес.
105 Шиловъ Максимъ Арсѣевичъ.	15 $\frac{1}{2}$ дес.
106 Шепетовъ Вакхъ Сергѣевичъ.	17 $\frac{1}{4}$ дес.
107 Шаровъ Егоръ Павловичъ.	3 дес.
108 Шереметьевъ Василій Ивановичъ.	21 $\frac{1}{4}$ дес.

Избирательные списки по Переславскому уѣзду от 3 августа 1912 г.
Под № 103 записан Ф.И. Шаляпин (как землевладелец, имеющий право участія въ выборахъ). Из фондов Переславль-Залесского музея-заповедника Публикуется впервые

ными яствами, ни красноречивых тостов, но было много полевых цветов и немало вина.

Полутру, часов в шесть, у окна моей комнаты раздался адский шум — толпа друзей с С. И. Мамонтовым во главе исполняла концерт на печных выюшках, железных заслонах, на ведрах и каких-то пронзительных свистульках. <...>

— Какого черта вы дрыхнете? — кричал Мамонтов. — В деревню приезжают не для того, чтобы спать. Вставайте, идем в лес за грибами.

И снова колотили в заслоны, свистели, орали. А дирижировал этим кавардаком С. В. Рахманинов».

Однако все это еще не дает права считать Ф. И. Шаляпина настоящим земляком. Тем не менее в официальных документах того времени он значится ярославцем. Дело вовсе не в сердечной привязанности, не в духовном родстве. Главным критерием для определения места человека в жизни была святая святых — обладание частной собственностью, землей. Вот что писала в 1912 году ярославская газета «Голос».

26 августа: «Ф. И. Шаляпин внесен в число избирателей по курии местных землевладельцев Ростовского уезда для выборов в 4-ю Государственную думу».

18 сентября: «Знаменитый бас Ф. И. Шаляпин прибыл в Ярославскую губернию, чтобы осуществить, как говорят, свое избирательное право по Ростовскому уезду, где у него имеется 100 десятин земли (близ станции Итларь)».

Однако выборы провалились, и «Голос» сообщил через день: «18 сентября на предварительном съезде мелких землевладельцев, имеющих свыше 45 десятин, не избрано ни одного уполномоченного. Избиратели не явились, несмотря на повестки земской управы».

Шаляпин же, конечно, приезжал вовсе не за тем. Вскоре «Голос» поместил путевые заметки сопровождавшего Федора Ивановича приятеля:

«Мы отправились в имение Шаляпина Итларь, где пробыли два дня. Там сейчас проживает вся его семья. Во время нашего пребывания пятеро детей Шаляпина устроили спектакль. Шла пьеса с пением и танцами в постановке и декорациях девятилетней Лиды. На спектакль собралось много окрестных крестьян, которые заполнили весь двор».

Окрестные жители хорошо знали Ф. И. Шаляпина и надолго сохранили память о нем. Интересен рассказ (он был опубликован в «Северном рабочем»), записанный в 1928 году. Тогда на шаляпинской даче размещался курортный пионерский лагерь (таких было два в стране — в Крыму и у нас). 60 с лишним лет назад память о Федоре Ивановиче была совсем свежа.

«...Дача Шаляпина строилась под наблюдением и по проекту живших тут известных художников Врубеля и Коровина. Вокруг нее 20 гектаров земли. 17 из них передано крестьянам в трудовое пользование.

— Грузный был барин, каждое лето приезжал на дачу, — рассказывает старый сторож. — Выйдет на веранду да как гаркнет песню, так и дом-то словно дрожит. Вот однажды летом лег он это

животом на траву, на берегу Нерли, да и говорит: «Вот, мужики, переверните меня». Мужиков было семь человек. Взялись. Кряхтели, кряхтели, так и отступились: перевернуть не смогли.

... В деревне Старово мужики в полдень отдыхают на завалинке. Истомились на жаре.

— Да посиди-ка с нами, про город расскажешь, — приглашает старик с трубкой в зубах. — Во, трубка шаляпинская, Федор Иванович подарил, душа был человек».

О связях Ф. И. Шаляпина с Ярославским краем написано немало. Но от этого простор для поиска у краеведов не становится уже. Интересно, скажем, проследить историю его отношений с семьей миллионеров Карзинкиных, хозяев Ярославской Большой мануфактуры. И кто знает — не уцелела ли где-нибудь та самая шаляпинская трубка.



ЦАРЬ БОРИС С ДАЧИ КЛЮЧЕВСКОГО

Золотое кольцо.
1977. 11 декабря

Известно, что за свою творческую жизнь Федор Иванович Шаляпин спел на разных сценах более пятидесяти оперных партий. Многие из них стали шедеврами мировой классики, являясь эталонами для последующих поколений исполнителей. Одно из немеркнувших шаляпинских творений — Борис Годунов в опере Мусоргского. Менее известны обстоятельства работы великого певца над образом Годунова. Между тем образ царя Бориса родился в наших, ярославских краях.

«Летом 1898 года я был приглашен на дачу Т. С. Любатович в Ярославскую губернию, — вспоминает Шаляпин в книге «Страницы из моей жизни». — Там, вместе с С. В. Рахманиновым, нашим дирижером, я занялся изучением «Бориса Годунова». <...> «Борис Годунов» до того понравился мне, что, не ограничиваясь изучением своей роли, я пел всю оперу, все партии: мужские и женские, с начала и до конца...»

Слух, что Шаляпин начал работу над «Борисом Годуновым», в музыкальной среде распространился быстро.

«Сама вещь хороша. А Шаляпин может спеть, и ярко, Бориса — и превосходно Варлаама», — писал Савве Мамонтову музыкальный деятель и педагог С. Кругликов. Об этом же сообщал фактическому хозяину Частной оперы и ее официальный антрепренер: «Один раз только разобрали, а впечатление громадное. Не вздумаете ли поставить, пока у нас служит Шаляпин?»

Мамонтов соглашается, и труппа Частной оперы включается в работу над оперой Мусоргского.

Детище Мамонтова, крупнейшего русского промышленника и мецената, славилось новаторским духом, стремлением к продвижению на сцену отечественных талантов. Не случайно поэтому на даче солистки мамонтовской оперы Татьяны Любатович два выдающихся музыканта раскрывают драгоценный ларец — клави



И. И. Бродский
Портрет Шаляпина
1923

«Бориса Годунова», стращивая с этой малоизвестной (!) тогда оперы тлен несправедливого забвения.

Мусоргский так и не смог увидеть на сцене свои гениальные оперные создания в их полном блеске и силе исполнения. Шаляпину было всего восемь лет, когда Модест Петрович скончался в марте 1881 года от белой горячки в возрасте 42 лет. Ранее, почти четверть века, попытки постановок в разных театрах оперы «Борис Годунов» постоянно отвергались Оперным комитетом. И это несмотря на поддержку русских прогрессивных деятелей культуры и музыкантов: В. Стасова, В. Никольского (подсказавшего идею «Бориса»), друзей из «Могучей кучки». Особенно активно помогал в становлении и продвижении оперы на сцену императорских театров великий русский композитор Н.А. Римский-Корсаков. Он делал новые обработки клавира, оркестровки, редакции и даже сам дирижировал оперой в Большом зале Петербургской консерватории, но тщетно. Трагедия о преступном царе — на сцене Императорского театра?! Нонсенс! Это было одним из решающих обстоятельств. А известный композитор и музыковед А. Н. Серов авторитетно заявил, что «Борис Годунов» создан Пушкиным совсем не для оперы, а поэтому оперой никогда быть не сможет. Серова поддерживал трагик Мамонт Дальский. Казалось, что заколдованный круг никто не сможет ни разомкнуть, ни прорвать.

«Чем дальше вникал я в оперу Мусоргского, — открывал Шаляпин, — тем яснее становилось для меня, что в опере можно играть и Шекспира». И здесь Шаляпин вплотную подходил к пушкинским мыслям о «шекспиризме», «шекспиризации» сценического произведения — драматического ли, оперного ли. Истинность страстей, правдоподобие чувствований... Вот почему, изучая Годунова с музыкальной стороны, Шаляпин захотел познакомиться с ним, с его временем и как историк. Он перечел Пушкина, обратился к Карамзину и его «Истории государства Российского». Недостаточно. Нужен был опыт живого общения с ученым, мастером, поэтом русской истории. И случай — Бог-законодатель. Оказалось, что на даче, «в пределах Ярославской губернии», жил выдающийся русский историк Василий Осипович Ключевский.

Ключевский был специалистом в области русской Смуты и отлично был вооружен материалами по «угличскому злодеянию» (убийству царевича Димитрия).

Шаляпин и Ключевский познакомились.

Рассказывал Ключевский много и подробно, гораздо подробнее, чем в его «Курсе русской истории», говорил так ярко, так убедительно, что персонажи истории вставали перед Шаляпиным, как живые. Фигура царя Бориса рисовалась могучей, интересной.

«Слушал я, — писал Шаляпин, — и душевно жалел царя, который обладал огромной силою воли и умом, желал сделать русской земле добро — и создал крепостное право. Ключевский очень подчеркнул одиночество Годунова...»

Самодержец на российском троне со страдающей совестью! На первое место в трактовке Шаляпина выступала психологическая драма талантливого личности, царя, у которого «душа скор-

бит». Драма, перерастающая в сознании героя в подлинную трагедию. «И рад бежать, да некуда. Ужасно! Да, жалок тот, в ком совесть нечиста...»

Трагедия Смуты — это и трагедия народа, жаждущего утопической власти «с чистой совестью» на фоне извечной склоки царедворцев и постоянно бунтующей черни.

После огромной подготовительной работы в труппе начались репетиции оперы. «Я сразу же увидел, что мои товарищи понимают роли неправильно и что существующая оперная школа не отвечает запросам творений такого типа, какова опера Мусоргского». Многие партнеры Шаляпина не сразу поняли и приняли новый исполнительский стиль. Виной тому была старая вокальная школа — это была школа пения, и только. Она мешала выражению музыкальной драматургии Мусоргского.

Премьера оперы завершилась настоящим триумфом! Успех Шаляпина называли потрясающим, оглушительным, огромным!

В Париже, во время Дягилевских русских сезонов, рецензент сообщал: «После сцены с Шуйским весь оркестр в 120 человек поднялся и оглушительно зарукоплескал Шаляпину. Великий артист был тронут...»

И еще одно впечатление — критика Ю. Энгеля на страницах «Русских ведомостей»:

«В музыкальном отношении партия эта, несмотря на множество поразительных подробностей, не лучшая в опере, но что сделал из нее талантливый артист! Начиная с грима и кончая позой, каждой музыкальной интонацией — это было нечто поразительно живое, выпуклое, яркое. Перед нами был царь величавый, чадолюбивый, пекущийся о народе и все-таки роковым образом идущий по наклонной плоскости к гибели благодаря совершенному преступлению, — словом, тот Борис Годунов, который создан Пушкиным и музыкально воссоздан Мусоргским. Неотразимо сильное впечатление производит в исполнении г. Шаляпина сцена галлюцинаций Бориса, потрясенная публика без конца вызывала после нее артиста».

В союзе Пушкин — Мусоргский был необходим третий, равный по силе гений — Федор Шаляпин. С Шаляпиным «Борис Годунов» обрел свою звездную славу.



Игорь ЛЕБЕДЕВ

СГОРЕЛ ТОТ ОСОБНЯК В ОТРАДНОМ

Северный край.
1997. 15 марта

Ф. Шаляпин
Конец XIX —
начало XX в.

Один из редко
воспроизводимых
снимков. Фотоко-
пия представлена
Межрегиональным
Шаляпинским
центром



Той весной Шаляпин находился на гастролях в Монте-Карло, где в оперных спектаклях «Мефистофель» и «Фауст» пел главные партии. Артиста всё более признавали в европейских музыкальных столицах, и снова его успех был великолепным. Однако это не очень радовало певца — мысли Шаляпина оставались в России, которая переживала не лучшие свои времена.

Думая о позорных поражениях царской армии в Маньчжурии, январских событиях в Петербурге, он писал В. Теляковскому: «Душа моя наполнена скорбью за дорогую родину, которая сейчас находится поистине в трагическом положении. На театре войны нас, кажется, совсем разбили — всюду неурядицы и резня — ужасно...» И вновь о том же через месяц: «Хорошо за границей, великолепно в Париже, а все-таки меня, серяка, тянет в мою несчастную Россию — здесь очень над нами смеются, и это так обидно, что иногда чешутся кулаки».

И добавляет отдельной строкой: «...жду не дождусь, когда сяду на пароход, чтобы ехать в Отрадное».

Куда же стремилась мятущаяся душа молодого Шаляпина, где находилась эта местность с таким простым и уютным названием — Отрадное?

После некоторых литературных и архивных разысканий удалось установить, что сельцо это на карте Романово-Борисоглебского уезда 1918 года называлось Рыково-Отрадное и тесно примыкало к Шашкову, что стоит на левом берегу Волги, прямо напротив Песочного. Принадлежало Отрадное потомственному ярославскому дворянину, боевому инженеру, генерал-лейтенанту А. З. Теляковскому, человеку европейской известности. Участник нескольких военных кампаний, военный ученый, он за свой научный труд по фортификации был удостоен Высочайшего благоволения Российского императора и орденов, жалованных ему королями, шведским и прусским. По смер-

ти генерала в 1891 году имение его перешло к сыну, также ярославскому дворянину, Владимиру Аркадьевичу Теляковскому, человеку, который сыграл весьма заметную роль в судьбе Шаляпина.

Именно он, будучи в начале века директором императорских театров, пригласил его на службу в Большой. Заведовать же художественной частью театра он предложил К. А. Коровину.

Владимир Теляковский был разносторонне образованным человеком, обладал высоким художественным вкусом и незаурядными организаторскими способностями. В юности он закончил Петербургскую музыкальную школу, затем Пажеский корпус и по военной линии дослужился до чина полковника, имея за плечами Военную академию генерального штаба. В музее А. А. Бахрушина хранятся пятьдесят его дневниковых тетрадей с описанием событий, относящихся к двадцати годам его управления Большим и Мариинским театрами. Служебные отношения Шаляпина, Коровина и Теляковского отнюдь не мешали их тесной личной дружбе, которая не омрачалась на протяжении всей их совместной театральной жизни.

Вспоминая о былом, Теляковский писал, что нередко артист и художник приезжали к нему в гости, и их встречи в Отрадном были интересными и содержательными. Они все тогда, как люди искусства, особенно интересовались литературной жизнью России и многими вечерами, иногда до восхода солнца, читали вслух и обсуждали считавшиеся модными произведения Андреева и Горького. Читал обычно Шаляпин — впечатление было очень сильным.

В 1905 году, вернувшись из Монте-Карло, Шаляпин написал Теляковскому: «Сейчас из Ратухино втроем, я, Костя [Коровин] и Серов, едем в Переславль-Залесский — собираемся... приехать в первых числах июня к Вам. ...Грустим о событиях...<...> Имение наше замечательное — хозяйствую вовсю, крашу крыши, копаю земляные лестницы на сходе к реке (существовали до середины 80-х годов. — И. Л.) и вообще по хозяйству дошел до того, что самолучно хочу выводить гусей и кур».

Наверное, это общерусская черта — во дни сомнений и тревог искать успокоение души в сельских трудах...

Запись в книге музея «Ботик» гласит: «Вечная память величайшему монарху-работнику Петру Первому. Ф. Шаляпин, В. Серов,



Телеграмма Коровина Шаляпину (подлинник) следующего содержания: «Приезжай до двадцатого мою дачу захвати кого хочешь после двадцатого едем дальше именины Владимира Аркадьевича (Теляковского. — И. Л.) станция Итларь Ярославской железной дороги дача Коровина» Из фондов Переславль-Залесского музея-заповедника Публикуется впервые



Отрадное
Слева на заросшем
пустыре стоял дом
В. А. Теляковского
Фото И. Лебедева

Конст. Коровин. Май. 28.1905 г.» (хранится в Переславль-Залесском историко-художественном музее).

Предположительно лишь в конце июня Шаляпин и Коровин приехали в Отрадное. Константин Алексеевич вспоминал: «Теляковский обрадовался Шаляпину. За обедом был священник соседнего села и две гувернантки — англичанка и француженка. Видно было, что Шаляпин им понравился. С англичанкой он заговорил на английском языке. Та рассмеялась. Шаляпин не знал по-английски и нес чепуху, подражая произношению англичан». Да уж, шутку Шаляпин любил.

Для Коровина поездка оказалась весьма плодотворной творчески, ведь именно в Отрадном он написал портрет читающего Ф. И. Шаляпина. Широким и смелым мазком, колоритно и точно на этюде переданы не только внешняя импозантность фигуры артиста, но и миг его какой-то отрешенной сосредоточенности, внутренней духовной работы. Картина хранится в Третьяковской галерее и подписана автором так: «Конст. Коровин, 1905. Июль 1, Отрадное».

По неподтвержденной документальной версии автора, тогда же был сделан и фотоснимок, где изображены два наших героя — В. Теляковский и Ф. Шаляпин. На это указывает и сходство деталей костюма Шаляпина и, пожалуй, общая тема его погруженности в чтение некоего манускрипта. Видимо, и перед фотокамерой он как бы продолжал слегка позировать, находясь в образе, предложенном художником.

Погостив в Отрадном, Федор Иванович и Константин Алексеевич отправились в Ярославль. «Возвращались опять на пароходе «Самолет», — писал Коровин. — Стоял ясный летний день. Дале-

ко расстилалась Волга, заворачивая за лесные берега, по которым были разбросаны деревни, села и блестили купола церквей».

А уже шестого июля певец выехал в Лондон, куда был приглашен, по его собственным словам, «некоей дико богатой американкой», вызвавшей оплатить частные концерты русской знаменитости. Отдых закончился, нужно было много трудиться.

В книге краеведа К. Конюшева «Тутаев» (1999) рассказывается о любопытном и малоизвестном эпизоде, связанном с посещением Шаляпиным и Теляковским этого древнего русского города, носившего тогда название — Романово-Борисоглебск.

Приехали они туда из Отрадного. «Когда пароход миновал Красный Бор, — читаем у Конюшева, — на изгибе Волги открылся изумительный вид на Романово-Борисоглебск. Очарованный красотой старинного города, Федор Иванович сошел на берег и провел в Романове несколько часов. Вместе с Теляковским он ходил по набережной, восхищался видом на город, на Волгу. Шаляпин пел в саду городского училища (теперь средняя школа № 2), а затем в ближайшем поле. Пел свои любимые русские песни...»

Предполагаем, что не только артистическая импульсивность заставила Шаляпина сойти на романовский берег. Ведь как оперный певец он обладал не только великолепными голосовыми данными, но и чрезвычайно развитой профессиональной любознательностью, богатым интеллектом. Вспомним хотя бы, с какой тщательностью готовился он к постановке «Бориса Годунова» в 1898 году, когда, перечитав Пушкина и Карамзина, отправился за советом к знаменитому русскому историку В. О. Ключевскому. Более того, спустя полтора десятилетия, в зените славы, Шаляпин пишет своей дочери Ирине: «Нынче летом, наверное, мне придется готовиться к постановке на сцене в Петербурге «Бориса Годунова» и для этого придется съездить в кое-какие исторические в этом смысле города, например Углич, — так уж ничего не поделаешь, придется-таки поехать». В этом контексте патриархальный Романов представлял для Шаляпина не только познавательный, но и профессиональный, творческий интерес.

А в Угличе Федор Иванович тоже побывал, но это произошло лишь в сентябре 1915 года, когда там, на подлинной исторической сцене города, шли первые киносъемки фильма «Иван Васильевич Грозный», где Шаляпин играл заглавную роль.

Ныне Отрадного уже не существует. Будто бы от неосторожного обращения с огнем не так давно сгорел двухэтажный деревянный особняк, в котором жил В. А. Теляковский. Остался ряд домов, несколько старых лип да огороды в обрамлении ольховых зарослей. Со стороны волжской кручи подступают могучие сосны. Когда я был там, молодой человек в форме лесничего и подъехавший на оседланной лошади мальчик объяснили мне, что вот здесь, на согретом солнцем выступе берега, среди сосен, давным-давно пел Шаляпин.



ВОЛШЕБНОЕ ДЕТСТВО И ДАЧНОЕ СОСЕДСТВО

Любочка Орлова и Федор Иванович Шалапин

Удивительно щедра земля Ярославская памятью на великие имена истории российской. И рождала, и корни питала, и к себе притягивала славных деятелей и патриотов России в сферах державных, духовных, космических. И в разных искусствах тоже — зодчие, писатели, поэты, художники, артисты, музыканты, всех и не перечислишь. И тянется эта светлая звонкая поступь от древней старины и до наших дней. Новые имена и подробности всё открываются. По количеству памятников и мемориальных мест Ярославия давно уже имеет статус мирового уровня.

Не так давно выяснилось, что всенародная любимица, звезда советского кинематографа Любовь Орлова нашу ярославскую сторону с детства вместе со своими родителями обживала. Родилась Любовь Петровна 11 февраля 1902 года под Звенигородом, в Подмоскovie, в усадьбе матери, в девичестве Сухотиной; от фамилии Сухотиных тянется родственная нить к роду Льва Николаевича Толстого. По этой причине у семилетней Любы, наверное, и появилась дома ценная реликвия — подарок от великого старца — повесть «Кавказский пленник» с автографом писателя: «Любочке. Л. Толстой».

А вот ее актерское крещение произошло впервые под Ярославлем, в Ратухине, на даче Шалапиных, где рядышком — на своей даче — много лет отдыхала семья Орловых, там они и сдружились. Равно как и с семьей Собиновых — в Ярославле.

А началось это в 1910 году, когда отец Любы Петр Федорович Орлов, акцизный чиновник по линии путейного ведомства, поселился в Ярославле на Плац-парадной площади (ныне Челюскинцев), в доме городского головы Матвеевского. И главной миссией его было — контроль за государственными субсидиями, поступающими на строительство железнодорожного моста через Волгу. Миссия нелегкая: на крупных строительствах — большие авантюры, так всегда было.

В доме ярославского головы Петр Федорович снимал пять комнат, да еще и кухню с передней: было у него намерение переехать из первопрестольной всей семьей в Ярославль на срок, пока не закончится строительство моста. Но его намерение не осуществилось, и семья осталась жить в Москве на Спиридоновской у Патриарших прудов. А причины на то были: мать девочек, Любы и Нонны, Евгения Николаевна, воспитанница Смольного института благородных девиц, состояла на службе Екатерининского инсти-

тута в должности классной дамы и бросать престижную работу не хотела. К тому же дочери учились в гимназии и готовились к поступлению в консерваторию. Дома у Орловых царил культ музыки. Родители часто играли на рояле в четыре руки, всей семьей пели романсы, арии и ансамбли из любимых опер. Поэтому семья лишь летом на каникулы могла приезжать к отцу в Ярославль и на отдых в Ратухино, где у них была дача, по соседству с шаляпинской.

Дачное соседство в Ратухине сблизило и сдружило семьи Орловых и Шаляпиных. При первом же знакомстве выяснилось, что старшие дочери Орловых и Шаляпиных, Нонна и Ирина, учатся в одной московской гимназии.

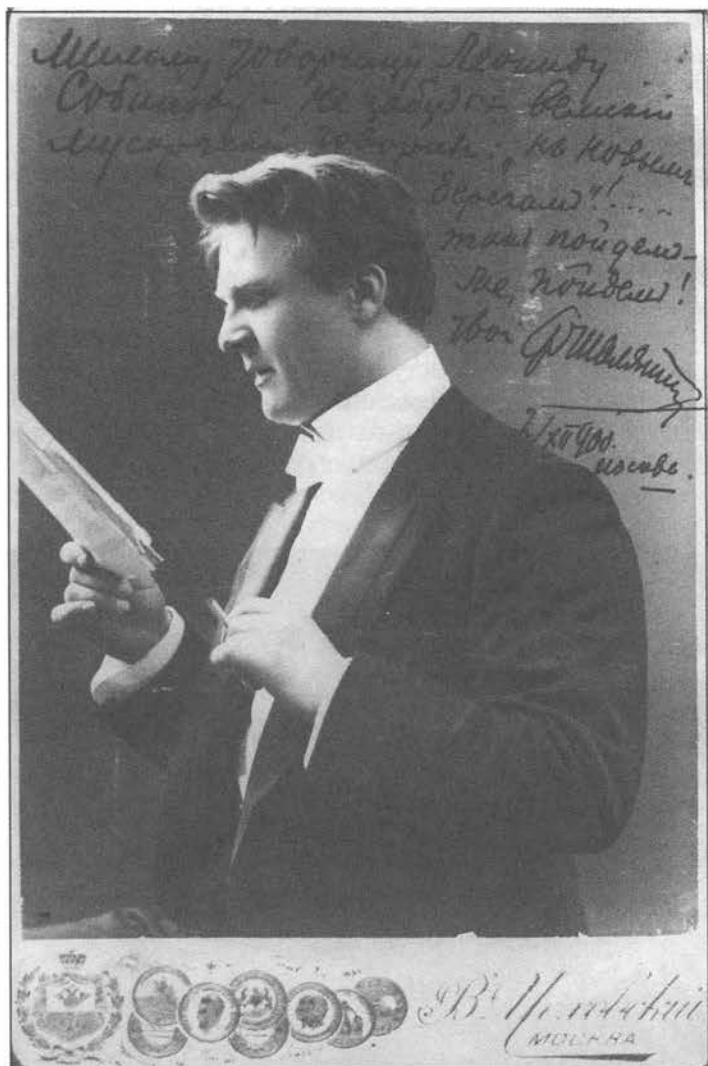
Великому певцу-артисту очень понравилась звонкоголосая, подвижная, талантливая Любочка Орлова. И внешность у Любочки словно у сказочной куклы-голубоглазки из дорогого магазина: платьице с кружевными оборками, кудряшки и большой бант на голове, за что ее прозвали Куконя.



В домашних спектаклях «Сказка о мертвой царевне» и «Грибной переполох» Любочка впервые вышла на сцену в настоящей роли, в настоящем спектакле, которые затевались в шаляпинском доме Иолой Игнатьевной, женой Федора Ивановича, бывшей балериной Частной оперы Саввы Мамонтова. Задники расписывал Борис Кустодиев, декорации и детали реквизита готовили в мастерских оперы Зимина. Спектакли детского домашнего театра имели в Москве такой большой успех, что артистов наперебой приглашали в знатные дома. В зале на представлениях бывали С. Мамонтов, Ф. Шаляпин, К. Коровин, А. Южин и другие именитые зрители.

Шаляпин на даче с детьми
Фотография на память после детского спектакля. Крайняя справа во втором ряду — будущая кинозвезда, народная артистка СССР Любовь Орлова

Широкоизвестная
фотография Шаляпина
с дарственной
надписью
Л. В. Собинову.
Оригинал хранится
в семье Собинова.
Фотокопию можно
увидеть в музее
Собинова в Ярославле
Воспроизведенная в нашей
книге копия представлена
Ярославским
историко-архитектурным
музеем-заповедником



Следует отметить: из состава детского театра вышли на большую профессиональную сцену Ирина Шаляпина, Максим Штраух и, естественно, Любовь Орлова.

У Любы Орловой от знакомства с великим Шаляпиным остались два драгоценных дара: фотография с его шутливой надписью: «Дети, в школу собирайтесь! Петушок пропел давно. Ратухино. 1909 год» — да еще штриховой автопортрет с нежным, трогательным автографом: «Миленькому дружку моему с поцелуями дарю сие на память. Ф. Шаляпин».

Однажды в шаляпинском доме в Ратухине «миленький дружок» Любочка так разыгралась-расшалилась, что зацепила дорогую китайскую вазу, которая упала и разбилась. Расстроенная Любочка разрыдалась так сильно, что ее долго не могли успокоить. Тогда Шаляпин взял другую такую же вазу, стоявшую в углу напротив, и так трахнул ее о пол, что ваза разлетелась вдребезги. А потом сел рядом с виновницей и тоже «заплакал». Люба была настолько удив-

лена такой солидарностью хозяина дома, что, глянув на «друга по несчастью», сразу перестала плакать.

Позднее, через несколько лет, Федор Иванович в письме из Монте-Карло писал дочери Ирине: «Рад я, что ты повидалась с твоими подружками Орловыми, и приятно знать, что вам было весело».

Дом на площади Челюскинцев, 16, в Ярославле Любовь Петровна Орлова, уже знаменитая, заслуженная, орденоносная, посетила через много лет. Было это 26 октября 1939 года. Приехала она с группой московских артистов на концерт, который состоялся в театре имени Федора Волкова.

С ребяческим восторгом ходила она по комнатам своего волшебного детства и обнаруживала следы и приметы далеких ушедших лет. И всё умилялась: «Здесь стоял рояль, на котором отец аккомпанировал Собинову и Шаляпину. И мне тоже»; «Этому зайцу на картине подрисовала усы я!»; «А в этой комнате стояла кровать, на которой я спала»; «За эту дверную ручку я зацепилась ночью и повредила себе щеку»...

Надо сказать, что из всех домов ее детства только этот сохранился в целости до сих пор.

В феврале 2002 года мы отметим столетний юбилей Любви Орловой. И придем на бывшую Плац-парадную площадь, вспомним, что в комнатах этого дома семья Орловых встречалась с Собиновым и Шаляпиным, что на Ярославской земле впервые проявилось и было отмечено дарование будущей актрисы, о чем свидетельствуют симпатии и дружеское одобрение ее великим Шаляпиным...



ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ

Северный край.
1997. 5 августа

«Знаменитый певец разгуливал по бульвару...»

Федор Шаляпин в Ярославле

Шаляпин родился и вырос на Волге, эта река притягивала и манила его к себе всю жизнь. Как только возвращался он на знакомые берега — в душе снова, по его словам, «воскресало счастливое и радостное настроение», как это всегда бывало с ним на Волге. Должно быть, подобное чувство посещало Федора Ивановича и когда приезжал он в губернский Ярославль. Судя по воспоминаниям Константина Коровина, город он хорошо знал и ощущал себя здесь уверенно и просто.

Насколько известно, Шаляпин бывал у нас лишь частным образом, и ярославские меломаны не имели возможности оценить его талант ни в оперных постановках, ни в концертных выступлениях на местной сцене. Бывая наездами, он менее всего хотел, чтобы его узнавали и тем более считали этакой спустившейся со столичных высот знаменитостью. Местная пресса, не имея иного повода, время от времени перепечатывала заметки из других газет, сообщая о его сценических успехах и «скандалах», а при случае уделяла артисту лишь «почтительное внимание».

Вот две характерные заметки из газеты «Голос». В одной из них в номере за 3 июля 1912 года под названием «Шаляпин в Ярославле» говорится: «В субботу 30 июня, проездом, Ярославль посетил Ф. И. Шаляпин. Знаменитый певец разгуливал по бульвару, заходил к Бутлеру и т. д. Гуляющие, конечно, были «заинтересованы» великим русским басом и ходили в отдалении кучками. По слухам, Шаляпин направляется в свое имение в Ростовский уезд».

Шаляпин только что приехал из Мариенбада, где лечился, и, заглянув в Ярославль, действительно направлялся на полмесяца в любимое Ратухино. Следующее сообщение появилось 18 сентября и называлось столь же неприязненно: «Шаляпин — избира-

Ф. И. Шаляпин
на набережной
Ярославля



тель». Читаем: «Знаменитый бас Ф. И. Шаляпин прибыл в Ярославскую губернию, чтобы осуществить, как говорят, свое избирательное право по Ростовскому уезду, где у него имеется 100 десятин (двести и три четверти по реестру. — *И. Л.*) земли. Съезд землевладельцев того разряда, к которому отнесен и г-н Шаляпин, состоится сегодня».

Шла подготовка к выборам в IV Государственную думу. Федор Иванович, как сын податного крестьянина, избирательным правом не обладал до тех пор, пока не стал владельцем Ратухина. Наверное, автору заметки показалось неудобным именовать великого певца крестьянином, и он скромно обозначил его сословие «разрядом».

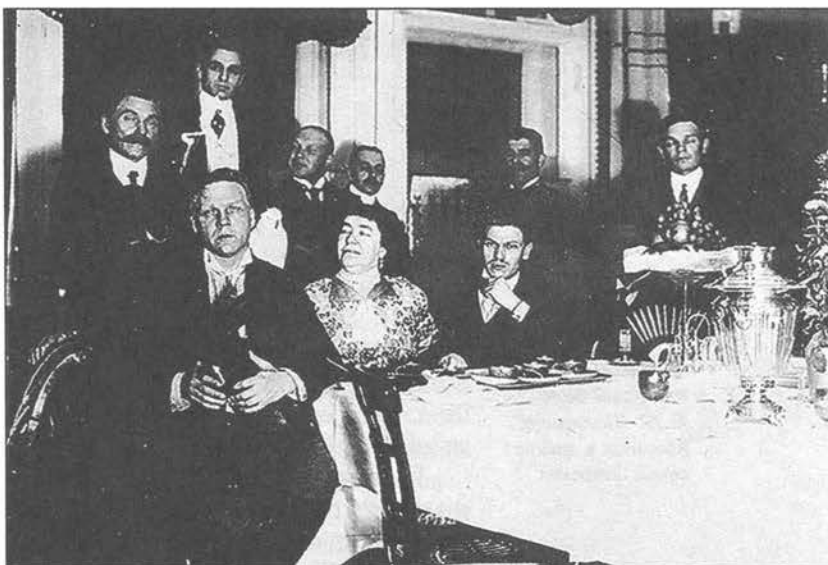
Бывал знаменитый бас в Ярославле и по житейским вопросам. Приобретая землю и став «барином», он сразу же решил наладить добрые отношения и с местными крестьянами. В книге «Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина» приводится копия определения Ярославского губернского присутствия к делу об обмене угодий между обществом крестьян д. Старово с крестьянином-собственником Федором Ивановичем Шаляпиным.

По документам выходит, что он, в ущерб собственным интересам, отдал общине почти пять десятин удобной земли взамен трех десятин оврагов и буераков, предоставляя таким образом деревенским жителям возможность для свободного прогона скота через его землю. Прежний хозяин, помещик Полубояринов, брал с мужиков за это «благодение» по пятьсот рублей ежегодно.

Представим еще одно свидетельство посещения артистом нашего города — фотографию, оригинал которой хранится в Ярославском областном архиве. На ней мы видим его в момент некоего скромного застолья в кругу весьма респектабельных людей. Как следует из карандашной записи на обороте снимка, выполненного неизвестным автором, фото сделано в гостинице «Бристоль» в 1915 году. Указано, что рядом с Шаляпиным сидит «артистка Раисова», а прямо за ним запечатлен «актер Делазари».

Поиски артистов с такими фамилиями в шаляпинской «Летописи», где упомянуто более трех тысяч лиц, так или иначе имевших к нему отношение, результатов не дали. Не упоминаются они и в составах труппы городского театра того периода, а также среди артистов некоторых частных антреприз.

От себя добавлю следующее. Жил в Ярославле Иван Васильевич Озерский, долгое время служивший, как тогда говаривали, на



Ф. И. Шаляпин с группой актеров в ресторане гостиницы «Бристоль» Ярославль 1915

Из семейного архива Озерских



*Приглашение
И. В. Озерскому
на вечер памяти
Ф. И. Шаляпина,
который вела
И. Ф. Шаляпина
Хранится в архиве
семьи Озерских*

областном культурном фронте. Большой любитель театра, музыки и других видов искусств, он, начиная с 1910 года, вел хронологическую запись основных культурных событий, происходивших в нашем городе. Однако в этих записях, по словам его родственницы Т. М. Озерской, сведений о посещении Шаляпиным Ярославля не обнаружено.

По-видимому, как и ранее, это был частный визит певца, не связанный с его сценической деятельностью. Скорее всего мимолетная остановка в городе произошла после седьмого июля 1915 года, когда Шаляпин ехал к В.А. Теляковскому в Отрадное испрашивать разрешения на концертную деятельность вне императорских театров.

Тогда в Европе полыхала мировая война, и артист, несмотря на значительные финансовые потери, считал неуместным и несвоевременным ездить с гастрольями по союзническим странам, а потому просил министерского разрешения давать платные концерты на частных сценах Петрограда и Москвы. Заручившись согласием директора Теляковского, певец прямо из Отрадного отправился в пароходное путешествие до Царицына, а затем вновь лечиться — в Кисловодск.

Возвращаясь к снимку, заметим, что у родственников И. В. Озерского хранится копия еще одного фото, снятого тогда же, но в несколько ином ракурсе. На нем ясно виден еще один «участник» событий — шаляпинский любимец, французский бульдог по кличке Булька. С ним артист не расставался, даже выезжая за границу (на нашем фото он «представлен» лишь белым пятном над его левой кистью).

Версия пребывания Шаляпина на ярославских берегах была представлена великолепными мемуарами его друга Коровина. Приводя краткое изложение некоторых фрагментов его рассказа «На Волге», позволим себе лишь самые деликатные комментарии.

По некоторым данным, события относятся к июню 1904 года, когда тридцатилетнего певца уже знала вся Россия.

Итак, оформив купчую на приобретение Шаляпиным Ратухинской пустоши, друзья отправились в любимое Отрадное (ныне с. Шашково), хозяином которого был уже упомянутый Теляковский. Приехали в Ярославль и, ожидая парохода компании «Самолет», зашли в городской сад, что со стороны Семеновской (Красной) площади примыкал к Казанскому (Первомайскому) бульвару. Присев на скамейку, с невольным любопытством наблюдали, как мимо них, направляясь к Семеновскому спуску, тянулись бесконечные возы, груженные хлебом, корзинами с белой, осетриной, севрюгой...

Подивившись вслух богатству России, зашли в ресторан Бутлера, что находился здесь же. К обеду среди других яств им подали зернистую икру, от которой артист сердито отказался — еще бы, деликатес-де ярославский, а привезен аж из Москвы, негодное дело. К их столу несмело подошли два местных чиновника, узнавшие певца, приветливо поздоровавшись, заказали шампанского. Все шло хорошо, но вдруг один из чиновников весьма недобро отозвался о Горьком — близком друге Шаляпина. Федор Иванович, побледнев, встал и, коротко бросив Коровину: «Заплати», не пригубив вина, вышел из ресторана.

Далее шла неподражаемая сцена. Шаляпин привел Константина Алексеевича на берег Волги и около одной из бесчисленных торговых лавок вдруг сказал: «Зайдем сюда». Зашли. По его приказанию хозяин вытянул со льда живого осетра и, отвергнув ножом рыбе нутро, наполнил миску зернистой икрой. Федор Иванович круто ее посолил и сказал: «Ешь, вот это настоящая». «И мы ели зернистую икру с калачом», — заключил Коровин... На обратном пути из Отрадного, к вящему неудовольствию артиста, он был узан пассажирами парохода, некоей супружеской парой. Что-то вдруг произошло, палубная каюта сразу превратилась в импровизированную сцену, и публика стала свидетелем великолепного актерского розыгрыша. Держа всей пятерней блюдце с чаем, Шаляпин мелко откусывал сахар и, дуя на кипятки, со знанием дела гундосил: «Швырок-то ноне в цене. Три сорок, не приступись. У Гаврюхина швырку досыта собака наестся...»

«Я подумал, — писал Коровин, — чего это Федор разделяет? Купца волжского — дровяника?»

Сцена длилась довольно долго, и трудно сказать, чего в ней было больше — точно ли хотел Шаляпин провести своих случайных зрителей, или наружу вышло невинное актерское озорство, может быть, и с оттенком добродушной насмешки. Кстати, этот факт подлинный — он описан в неизданных дневниках В. А. Теляковского.

А пароход тем временем неспешно уносил наших друзей все ближе к Ярославлю. Позади остались дивные виды Романово-Борисоглебска, зеленая гора Красного холма, и вот уже показались стены Толгского монастыря. На берегу шел молебен, были видны монахи в черных одеяниях. Пароход причалил, служба приостановилась, священник и диакон вышли на пристань. Толпа на берегу

во все глаза смотрела на пароход, и вдруг послышалось: «Шаляпин, Шаляпин! Где он?..»

В Ярославле, желая скрыться от назойливой публики, певец сам сел за весла нанятой лодки, и они вместе с Коровиным переправились на Тверицкий берег. Там, оказавшись в знакомом для Федора Ивановича трактире, отведали и расстегаев с севрюгой, и водочки березовой и наслушались частушек непотребных, что распевали набежавшие с берега неробкие бурлаки. Хозяин-бородач, отца которого артист знал (когда успел?), спросил: «А вы ярославские али как?» На что Федор Иванович, не выходя из образа, отвечал: «Был ярославский, а сейчас, мол, москвич, дровами торгую...»

На Волге, у лодки, друзей задержал береговой полицейский и потребовал предъявить документы — искали беглого карточного шулера. Узнав, кто перед ним, потрясенный стражник пригласил обоих к себе домой отведать судачка с каперсами. Взяв у него адрес, Федор Иванович пообещал: «Как-нибудь приедем...»

Воспоминания эти написаны Коровиным в Париже, когда ему было семьдесят восемь лет. Ностальгия по далекой и милой родине водила пером живописца. Душа его вновь возвращалась во времена молодой и, казалось, счастливой жизни — на тихую Нерль, раздольную Волгу. И разве не то же ощущал и Шаляпин, когда в порыве искренних чувств говорил о желании обрести свой вечный покой на волжских берегах...



В ЭТОМ ДОМЕ ПЕЛ ШАЛЯПИН

Приволжская правда.
1992. 17 октября

Имя Федора Ивановича Шаляпина известно во всем мире. Редкому человеку оно незнакомо. А уж в России и подавно. Шаляпин — ее гордость.

И вот недавно довелось узнать, что гений оперного искусства, бас первой мировой величины однажды приезжал в наши Большие Соли. К сожалению, об этом приезде нет упоминания в печатных изданиях. Но есть устный рассказ женщины, переданный со слов ее матери.

Тамара Владимировна Вознесенская была еще девчонкой, когда Августа Рафаиловна поведала дочери и ее подружкам о том, что за год-два до Октябрьской революции в село приезжал Федор Иванович и останавливался в доме, расположенном на высоком берегу Солоницы.

Вознесенские жили по соседству.

Приезд Федора Ивановича в Большие Соли состоялся благодаря дружбе его со знаменитым нашим земляком, тоже оперным певцом и тоже басом, Владимиром Ивановичем Касторским. Он и пригласил Шаляпина погостить у него на родине в один из летних месяцев.

К тому времени родителей Касторского уже не было в живых, так что гостил он не в отцовском доме, а у родственника, большесольского священника Ивана Бойкина. Дом Касторских, кстати, находился на месте, где сейчас стоит книжный магазин.

Приехали друзья из первопрестольной на пароходе и сошли с него на пристани «Бабайки», а оттуда добирались на извозчике. Конным извозом в Больших Солях занимались Мудровы.

Недавно в областной газете «Золотое кольцо» была опубликована статья о братьях Понизовкиных, владельцах терочного завода. В ней упоминается факт приезда к Понизовки-

По рассказам старожилов, именно в этом доме, где жил большесольский священник, пел Шаляпин
Снимок представлен Некрасовским муниципальным краеведческим музеем
Фотография И. Черноволовой



ным Шаляпина. Не в то ли время и был Федор Иванович в Больших Солях?

Жили у Бойкина друзья около месяца. Почти каждый вечер в присутствии гостей в небольшой комнате пели два русских баса народные песни, романсы. Как обычно открывалось окно, и далеко за пределами речки Солоницы слышались голоса Шаляпина и Касторского. И каждый раз около дома собирались большесольцы послушать двух знаменитостей.

По-разному сложились судьбы этих оперных певцов. После революции Федор Иванович покинул Россию, так больше и не навестив ее. Владимир Иванович Касторский по-прежнему пел на сцене Мариинского оперного театра. Правительство присвоило ему звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Умер он в 1948 году.



ЭЙ, УХНЕМ!

Золотое кольцо.
1993. 13 февраля

Нынешний год объявлен ЮНЕСКО годом Шаляпина. Об этом великом русском певце не нужно много рассказывать — все мы и без напоминаний знаем и помним о нем. Но стоит напомнить о том, что у Федора Ивановича была дача в наших местах, возле Итлари. Местные жители по сию пору показывают утес, с которого любил петь Шаляпин. А больше, правда, ничего в тех местах не сохранилось.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей рассказ-быль, одним из героев которого является человек, облюбовавший ярославские края для отдыха и пения...

Где-то далеко за Ярославлем, на той стороне Волги, догорала вечерняя заря. Над Тверицами ярким оранжевым блином встала полная луна. Выстелив по воде золотистую дорожку, ночная гулена словно зазывала по ней к себе в гости уходящую подругу дня.

Привязав лямки расшивы за стволы деревьев и крепко поужинав, бурлацкая артель устроилась вокруг костра на ночлег, чтобы намаявшийся за день усталый мускул, набравшись сил за короткую ночь, вновь до восхода солнца потащил баржу с хозяйским товаром до паточного завода, а после аж до Рыбны.

Глядя на небесный бархат, на котором ангелы начали зажигать звезды, загрустивший Дымарь тихим сипловатым баском запел: «Ах ты, ноченька...»

— Эй, Дымарь, — сердито окликнул его Косой. — Спал бы ты лучше да другим не мешал. Ишь какой Шаляпин выискался!

— Сравнил! — возразил ему Оська. — От шаляпинского голоса свечи в храме гасли, как начинал петь! Сравнил...

— А тебе откуда знать, как Шаляпин поет? — с обидой спросил Косой.

— А вот и знаю! Потому как с ним встречался! — заявил Оська.

— Во сне, что ли? — хохотнул язвительно Дымарь.

— Не во сне, здесь, на Волге! А отроками вместе с ним в церкви пели! — похвастал Оська.

— Загнул, паря! — грубо отрубил Косой.

— Хотите — расскажу?

— Сам выдумал али кто тебе насвистел? — поддел Оську Дымарь.

— Как хотите! — с обидой сказал Оська, отвернувшись.

О Шаляпине на Волге ходило тогда много разных легенд и рас-

сказов о его невероятной силе голоса, твердом характере, фантастических гонорах.

— Оська, расскажи, — стали просить бурлаки. — Плюнь ты на Дымаря и Косого! Не хотят — пусть не слушают!

— Ну ладно, просите — расскажу, — согласился Оська, приподнимая голову.

Бурлаки знают: Оська — хороший рассказчик. Словечки у него то катятся, то плывут, раскрашенные мириадами интонаций и оттенков.

— В том году, помню, дом у нас сгорел. Сестренка с матерью по миру пошли, а я повязал ленту на голову, заткнул за нее ложку да и в Рыбну подался — в бурлаки наниматься...

— Ты про Шаляпина давай! Про себя неча нам рассказывать, — останавливает его Дымарь.

— погоди, не торопи кашу в рот, а то подавишься, — спокойно отвечает Оська и продолжает дальше. — Так вот, пошли мы тогда от Рыбны аж до Костромы. Весело шли! А берег — то в топи вяз-

нешь, то кустами продираешься, а то и водой прешь. Расшиву хозяин нагрузил тогда, не постеснялся. По ведру водки на каждую перемену пообещал. И только мы перевалили Савинскую косу, как из-за поворота рванула суводь! После дождя водоворот такой — лямку рвет, с ног валит! «Давай не засаривай! Наддай!» — орет косной. Какое там «наддай!»! Что, сами не понимаем — занесет расшиву на мель, будет хлопотушки! Тянем, надрываемся. Ноги в песок по голень уходят, а она, проклятая, тянет на мель. Искры из глаз, лямка в грудь врезается! И «Дубинушку», и «Шаговитого пуделя» поем — не помогает, суводь проклятая так и рвет. Не одолели мы ее тогда, занесла расшиву на мель, проклятая!

Оська вытирает пот со лба, словно в лямку впряженный. Потом продолжает:

— Вот в такой-то веселенький момент и подходят к нам двое. Чистенькие с виду, оба в шляпах. Один, помню, с усами. «Здорово, оравушка!» — приветствует нас тот, что без усов. «Проваливай дальше!» — отвечает ему наш шишка. Да такое отмочил, что и Волге самой не очень приятно было услышать такое!

А тот не обиделся, отвечает: «Да ты не лайся, браток, я тебе помочь хочу, дьявол ты этакий!»

Какое тут не лайся, с ангелом поругаешься, такая злость на душе. Хозяин орет, водолив кричит, у самих кишки рвутся, течение у расшивы поддон замечает, а он тут со своими нежностями пристаёт. Ну, тут ему наш масляный староста и выдал под сedy-

Ф. И. Шаляпин
Начало 1900-х годов
Из фондов Ярославского
историко-архитектурного
музея -заповедника



мицу! Лучше нашего старосты тогда по всей Волге никто не умел материться. Сами понимаете, в такой момент лучше и не подходи к нам!

«Хорош дьявол! Здорово лаешься!» — засмеялся он и снова в помощники к нам набивается. «Пойдем, Федор, не мешай людям», — одергивает его усатый. А разговор у него волжский, на «о». А тот его не слушает! Подходит ко мне да и за лямку. Как глянули мы друг другу в глаза, так и обомлели оба! Мать честная! Да ведь это Шаляпин, думаю! А он меня облапил, как медведь, кричит: «Ты что, такой-сякой, меня не признаешь? Вместе в церкви пели, по огородам лазали!»

Я растерялся, не знаю, как его теперь и величать. То ли Федькой, как бывало, то ли Федором Ивановичем. Знаменит он на весь мир стал!

«Кто это?» — спрашивает у меня шишка. «Шаляпин», — отвечаю.

Ну тут на него все, как на диво, уставились! Глазеют и про расшиву забыли, пока на нас водолив не заорал.

А Шаляпин рад, что бурлаки его за своего принимают: «Давайте, робя, я с вами в лямку впрягусь!» А наш шишка отвел его руку и говорит: «Эй, брат ты наш Федор Иванович, лучше спой нам такое, чтобы силушка взошла. А лямку-то мы и сами потянем. Я давным-давно мечтаю тебя послушать. В столицу собирался, а ты вон сам сюда явился!»

Стали мы его просить. Знает он: бурлаку песня — не забава. Подмога она ему в долюшке его тяжелой. Видит Шаляпин: и впрямь его песня нам нужна. Встал он вот так, — Оська поднимается перед костром, глаза его огнем отсвечивают, — да и запел: «Эй, ухнем! Эй, ухнем!» Нашу запел, бурлацкую! Слышим мы его, и каждая жилка в нас силой наливается. Такая силища из его горла полилась, что и передать невозможно. И почуяли мы вдруг: нам сейчас расшиву-то хоть на руках нести!

«Хомутайсь!» — заорал шишка, почуяв важный момент. Натянули мы лямки да вместе с ним: «Эй! Эй! Тяни канат сильнее!» Чувствуем, зашевелилась в песке расшива! «Мы по бережку идем! Песню солнышку поем!»

Пошла наша сердешная! Против суводи идет! А усатый — это сам Горький был, смахнул слезу да и говорит: «Уродит же такое чудо земля русская! Видишь, Федор, песня-то твоя сильнее стихии оказалась!»

Оська замолк и посмотрел на друзей. Бурлаки молчаливо сидели вокруг костра, задумчиво глядя на огонь.

— А потом? — прервал молчание Дымарь.

— Что потом? Потом они в одну сторону, а мы в другую, — ответил Оська.

Вдали за Ярославлем догорала узенькая полоска зари. Над Волгой серебристо-оранжевый диск луны светил еще ярче. Вокруг костра на берегу крепко почивала бурлацкая оравушка.



Золотое кольцо.
1996. 12 сентября

СЪЕМКИ КИНОФИЛЬМА «ЦАРЬ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ» В УГЛИЧЕ

Волшебный фонарь братьев Люмьер, захватывая чувства и эмоции общества, победоносно шагал по экранам синематографов и электротeatров России, растущих как грибы после дождя. В московском театре «Эрмитаж» под звуки матчиша и цыганщины, исполняемых таперами, шли новинки «кино из Парижа» с пикантными названиями: «Смерч любовный», «Курортная плутовка». Залы были переполнены, приходилось регулировать публику и позволять смотреть фильмы... по половому признаку: «в четные дни для женщин, в нечетные для мужчин, дети и учащиеся не допускаются».

В крупных городах России стали создаваться кинофирмы и кинокомпании с намерением выпускать на экраны отечественную кинопродукцию. Эпидемия — кинобум! Но надо было противостоять иностранной экспансии.

В 1913 году Мария Федоровна Андреева, актриса и общественный деятель, при поддержке Максима Горького задумала организовать кинофа-



Из номера в номер
популярный журнал
«Рампа и жизнь»
рекламировал
фильм с участием
знаменитого певца

рику для производства отечественных «прогрессивных реалистических фильмов». Прежде всего «в дело» пригласили Федора Ивановича Шаляпина. Он с восторгом отнесся к идее и согласился на сотрудничество.

Были приглашены известные актеры и режиссеры, в основном мхатовского направления — Москвин, Качалов, Леонидов, Санина, Румянцева, Маржакова. Владелец здания МХАТа промышленник С. Лианозов согласился построить во дворе художественного театра павильон для кинофабрики. Максим Горький намеревался привлечь к созданию киносценариев известных русских писателей.

Пресса широко освещала предстоящее киномероприятие. В интервью «Театральной газете» Шаляпин заявил, что у него есть намерение сняться в кинофильмах «Борис Годунов» и «Степан Разин». Шаляпин видел в новом искусстве возможность дойти до зрителя каждого города и деревни российской глубинки.

Но, к сожалению, задуманная с размахом благородная затея не осуществилась из-за недостатка средств, а главное — начала войны 1914 года.

Известный кинодеятель того времени В. Дранков предложил Шаляпину снять на киноленту «Псковитянку» с его участием по сюжету драмы Льва Мея, ставшей основой для оперы Римского-Корсакова. Импресарио Шаляпина В. Резников организовал акционерное общество «Шал-Рез и К°» (Шаляпин — Резников и компания). Ставить фильм согласился режиссер Иванов-Гай, гармонист и балагур, расположив к себе Шаляпина тем, что может выполнять при съемках фильма все пожелания великого артиста. Рабочее название для фильма выбрали «Царь Иван Васильевич Грозный» (было еще и другое «Дочь Пскова»).

На свой дебют в кино Шаляпин возлагал большие надежды. Он писал дочери Ирине: «Эта пьеса будет у нас пробным камнем для будущих, и если пойдет хорошо, то предпримем ряд многих пьес...»

Съемки фильма проходили под Москвой, в Кунцеве, на Ходынском поле, в Пскове и, что интересно для ярославцев, в Угличе. В батальных сценах было занято до двух тысяч статистов, декорации и костюмы были отменными, настоящими.

Одного из опричников царя играл впоследствии известный артист Михаил Жаров. Он рассказывал: «Солнце пекло невыносимо. Грозный — Шаляпин вышел из шатра, приставил руки к глазам... Грозно оглядел разбросанные по склону крутого берега отряды актеров и статистов, изображавших псковскую вольницу... Грим органично дополнял лепку суровой фигуры Грозного, который был монументален в блестящей кольчуге, в кованом шлеме и широкой епанче...»

К. Ф. Юон
Тройка в Угличе
1914



Другой очевидец съемок, кинорежиссер А. В. Ивановский, вспоминал:

«Вот вдалеке показалась свита — и мимо меня промчался грозный царь со своими опричниками. Шаляпин гневно сверкнул глазами. В театре такая сцена была бы недостижима. В перерыве я спросил у Шаляпина, где он учился так хорошо ездить верхом.

— Я же артист — надо ехать, ну я и еду».

Кинематографическая техника, качество киноплёнки да и сама организация съемок массовых натурных сцен были в те времена еще несовершенны. Картина создавалась без четкого сценария, репетиционных проработок ансамблей. Съемки шли трудно, напряженно, были курьезы. Дело дошло чуть ли не до срыва.



Ф. И. Шаляпин
*Автопортрет
в роли
Ивана Грозного*

Снималась сцена: Иван Грозный сидит у шатра в глубоком раздумье, на ладони он держит птенца. Смысл сцены такой: вот ты, птичка, взмахнешь крыльями и улетишь в поднебесье, а я прикован цепями к царскому престолу. Шаляпин с большим лиризмом вел эту сцену, у него даже слезы на глазах заблестели.

Иванов-Гай сказал:

— Федор Иванович, сцена должна длиться двадцать семь минут, а у вас вышло сорок семь — в кино это скучно.

Шаляпин был ошеломлен: вот как? Шаляпин стал уже скучен!

С негодованием сорвал он парик, бороду и с руганью набросился на режиссера, в гневе ушел со съемок. Назревал

большой скандал. Фирма «Шал-Рез» разваливалась. Уже были затрачены большие деньги на массовки, подготовительные работы, костюмы. С большим трудом удалось Резникову уговорить Шаляпина продолжить съемку.

Первый просмотр фильма состоялся в электротeatре «Форум» 16 октября 1915 года.

Газета «Рампа и жизнь» высоко оценила в своей статье значение кинодебюта великого артиста, назвав день выхода на экран фильма «Царь Иван Васильевич Грозный» венчанием на киноцарство Шаляпина! Но в адрес фильма были и резко отрицательные отзывы (в том числе и Горького).

Хотя сам Шаляпин был разочарован своим кинодебютом, но в интервью газете «Театр» он сказал: «Мое выступление в кинематографе не случайное; я смотрю на будущее кинематографа уповающе и считаю, что в области кинематографии есть такие возможности, которых, пожалуй, не достигнуть и театру... Я рад и счастлив от сознания, что лента «Псковитянки» может попасть в самые отдаленные уголки глухой провинции, что я, таким образом, буду иметь возможность, быть может, «выступить» в деревнях и селах...» Так великий артист пророчески оценил свое участие в кинематографе.

Фильм «Псковитянка» был приобретен Народным комиссари-

атом просвещения для публичного показа во всех городах и деревнях Советской России.

В дальнейшем Федор Иванович с большой осторожностью относился к многочисленным предложениям сняться в художественных фильмах, памятуя о неудачном, по его мнению, киноопыте. Вероятно, по этой причине он отказался сниматься в кинофильме «Степан Разин». Из художественных кинолент с его участием мы знаем фильм «Дон-Кихот», но это разговор для другой публикации. <...>



ИСТОРИЯ НЕВОЗВРАЩЕНИЯ

Золотое кольцо.
1998. 12 февраля

В разговорах о Шаляпине неизменно возникает вопрос: а почему Шаляпин уехал за границу и не вернулся? К сожалению, на родине певца историю его невозвращения долгое время или умышленно замалчивали или подавали в искаженном виде. Между тем из документов, опубликованных к сегодняшнему дню, из переписки Шаляпина, публикаций прессы 20-х годов вырисовывается объективная история этого «невозвращения». Шаляпин был насильственно отторгнут от России.

«Он слегка разухабисто и не очень вдумчиво всю жизнь мечтал о революции, — писал один из его современников, — и вдохновенно пел «Дубинушку». Но вот дубинушка пришла, размахнулась и перебила хребет всему, чему поклонялся и что ценил Шаляпин...

Пришла революция и всё отняла, до последней денежки, до последней копейки, а в утешение подарила ему роскошную шубу, снятую с какого-то московского купеческого плеча. Ибо всё же соображали новые правители, что Шаляпину не след простуживаться. Власть берегла его. Власть и подарила шубу.

В этой шубе нараспашку Шаляпин позировал художнику Кустодиеву для его знаменитого портрета...

Во всяком случае за время своего пребывания в эмиграции Шаляпин не спел «Дубинушку» ни разу...

Но в первые революционные годы он даже сочинил «Гимн революции» и пел его в концертах вместе с аудиторией. Был на приеме у Ленина, спасал имущество и ценности императорских театров от разбазаривания (и Ленин подписал соответствующий декрет «Об объединении театрального дела»), хлопотал за арестованных друзей, давал концерты в пользу голодающих...

В ноябре 1918 года Совнарком постановил в ознаменование заслуг перед русским искусством даровать Шаляпину звание народного артиста Республи-

Афиша концерта
Шаляпина



ки. Первым из деятелей искусств Советской России Шаляпин был удостоен этого высокого звания.

Шаляпин просит разрешения у властей на зарубежные гастроли, ибо экономические трудности в стране давали о себе знать. А к тому времени на иждивении Шаляпина состояло шестнадцать душ! Две многодетные семьи — пятеро детей от первой жены и пятеро (двое приемных) — у второй. И хотя Шаляпин получал индивидуальный оклад по ведомости, подписанной Лениным, средств на пропитание иждивенцев не хватало. Разрешение на зарубежные гастроли было получено. И концерты певца за границей проходили с огромным успехом.

В мае 1927 года, приехав в Париж, Шаляпин передает священнику о. Георгию Спасскому 5000 франков как благотворительную сумму для детей русских эмигрантов. В газете «Возрождение» священник Георгий Спасский счел нужным напечатать слова благодарности за пожертвование в пользу бедных русских детей. Немедленно, вслед за этой публикацией, — как пишет сам Шаляпин, — посольским секретным шифром с улицы Гренель в Париже (адрес советского полпредства) в Кремль полетела служебная телеграмма.

Шаляпин был вызван в советское полпредство, куда его пригласил полпред Раковский.

— Я получил из Москвы предложение спросить вас: правда ли, что вы пожертвовали деньги для белогвардейских организаций, и правда ли, что вы их передали капитану Дмитриевскому, — речь шла о морском офицере, капитане первого ранга В. И. Дмитриеве, фамилию которого Шаляпин слышал в первый раз, — и епископу Евлогию.

Шаляпин ответил, что дал деньги на помощь изгнанникам российских и что это касалось детей...

Его попросили написать объяснительное письмо в Москву, что артист и сделал. Однако в Кремле ответом Шаляпина были довольны.

Начинается организованная и продуманная травля Шаляпина.

«Нуждаются русские люди, голодают, — писал в журнале «Ра-бис» некий С. Г. Симон. — И какие люди! Князья, графы, бароны, тайные и всяческие советники, митрополиты, протоиереи, флигель-адъютанты, генералы свиты Его Величества... Кого только нет! Миллионами ворочали, страной управляли, а теперь нуждаются, безработные... Ну как не защемить сердцу не народного артиста Республики, нет, а заслуженного артиста императорских театров,



Программа
концерта Шаляпина
в пользу
раненых воинов
и на оборудование
лазаретов
Из фондов
Переславль-Залесского
музея-заповедника

солиста Его Величества?! Почему мы молчим?.. Почему не положить предел издевательствам и наглости над всем СССР этого «СВИТЫ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА НАРОДНОГО АРТИСТА РЕСПУБЛИКИ»?.. Нет места среди работников искусств... носящих почетное звание... хамелеонам, ренегатам, подобным господину Шаляпину...»

За шквалом гневных осуждений последовали крутые санкции. 24 августа 1927 года Совнарком РСФСР специальным постановлением лишает Шаляпина звания народного артиста. А в октябре запрещает Шаляпину пользование усадьбой и домом на Нерли в Переславском уезде (ныне Ростовский район Ярославской области). Итогом всей разнузданной кампании становится лишение Шаляпина советского гражданства.

В 1934 году (во многом благодаря хлопотам Горького) правительство СССР «смягчилось». В Париж, проездом на отдых, приехал В. И. Немирович-Данченко. Он привез ордера на возвращение в Россию, подписанные Енукидзе, тогдашним халифом на час. По этим ордерам разрешался въезд в СССР Ф. Шаляпину, Мих. Чехову, художнику Е. Лансере, актрисе Е. Рошиной-Инсаровой. Специально для Шаляпина Немирович «привез» устное письмо Сталина.

— Пусть приезжает. Всё вернем, дом дадим, дачу, если захочет, в десять раз лучше, чем у него были!

Шаляпин мрачно выслушал и пробормотал:

— Мертвых с погоста не носят. — И потом: — Дом, дачу отдадите?.. А душу? Душу можете отдать?..

«Он был уже не тот, — вспоминает его антрепренер Л. Леонидов. — Душа отлетела. Осталось только вот это огромное тело, обложенное в великолепный лондонский костюм, да потухший взгляд когда-то проникновенных глаз».

В конце жизни, когда великий певец заболел лейкемией, он сказал Коровину: «А знаешь ли, живи я сейчас... в Ратухине, где ты мне построил дом, где я спал на вышке с открытыми окнами и где пахло сосной и лесом, я бы выздоровел... Как я был здоров! Я бы всё бросил и жил бы там, не выезжая. Помню, когда проснешься утром, сойдешь вниз из светелки. Кукушка кукует. Разденешься на плоту и купаешься. Какая вода — всё дно видно. Рыбешки кругом плавают. А потом пьешь чай со сливками.<...> Ты, помню, говорил, что это рай. Да, это был рай...»



НАНЕСЕМ РАТУХИНО НА КАРТУ!

Северный край.
1996. 17 октября

Наш земляк Николай Иванович Лапшин родился и до отроческих лет прожил в шалыпинских местах Ярославского края, а именно — в деревне Щипичево, что в трех километрах от Ратухинской пустоши, той самой, где в 1904 году великий артист купил у своего приятеля, художника Константина Коровина, тамошнего дачника, большой участок леса и на следующий год в кругу близких отметил новоселье в пахнувшем свежей сосной бревенчатом собственном доме, спроектированном хозяином с помощью Коровина и другого крупного русского художника Валентина Серова.

Шалыпиным Николай Лапшин интересуется всю свою жизнь, собрал коллекцию его пластинок, перечитал горы литературы, записывал воспоминания о нем старожилов тех мест, с которыми, живя под Москвой, не теряет связи до сих пор. На наши публикации на шалыпинскую тему откликнулся он многостраничным посланием — заметками о печальной участи мемориальной Ратухинской пустоши, о том, что можно было бы предпринять, чтобы память о Шалыпине там окончательно не поросла быльем.

С ружьем и удочкой исходил Шалыпин вдоль и поперек поля и леса итларского края. Старовские мужики, у которых имелись хорошие лошади, упряжь и тарантасы, выполняли у него кучерские работы, а буковские помогали больше в рыбалке и охоте.

Артист, сам все еще числящийся по паспорту в крестьянском податном сословии, вместе с мужиками косил траву, тушил пожары, ходил к ним со своими детьми на деревенские престольные праздники, шеголяя при этом в лаптях и одежде из холстины.

В первый же год обживания Ратухинской пустоши Шалыпин прикупил у местных богатеев еще некоторое количество земли. Всего он приобрел здесь около трехсот десятин лесных угодий. В одном месте он произвел обмен земли со старовскими крестьянами — по их просьбе, для удобства прогона скота на пастбища. Благодаря приобретенным землям он достиг необходимого для того времени имущественного ценза, впервые позволившего ему по закону участвовать в 1906 году в выборах в первую Государственную думу от земельной партии по Переславскому уезду.

В гости к Шалыпину и его друзьям-художникам в Ратухино в те годы приезжали А. Горький, С. Мамонтов, С. Рахманинов, Ю. Сахновский и многие знаменитые актеры, художники, юристы, любили навестить его на досуге и местные чиновники. Вместе



Мнения шаляпиноведов по поводу воспроизведенных на этом развороте снимков разделились. Одни считают, что фотографии сделаны в Мамонтовке, другие убеждены, что в Ратухине. Снимки явно любительские и сделаны, судя по всему, камерой Шаляпина, ремешок которой виден у него на плече. К сожалению, установить других лиц на снимке пока не удалось. Из фондов Межрегионального Шаляпинского центра

с детьми Шаляпина здесь в 1909 и следующих годах отдыхала летом и восьмилетняя московская подружка Любочка Орлова — знаменитая впоследствии киноактриса...

Федор Иванович искренне любил итларские места. Через много лет, уже на чужбине, он задумает приобрести себе имение под Парижем — будет долго искать что-то подходящее, чтобы оно было «похоже на Ратухино», да так и не найдет.

Советская власть земли Шаляпина реквизировала, на его даче был открыт для городских детей оздоровительный санаторий. Имение Ратухино хоть и упоминалось в предреволюционные годы в переписке Шаляпина, но официального статуса, судя по документам, так никогда и не приобрело. Местные жители со времен застройки Ратухинской пустоши стали называть новое поселение Шаляпинской дачей.

Главной географической особенностью имения было то, что как раз по реке Нерли в дореволюционные годы проходила граница между Владимирской и Ярославской губерниями. Сама дача с большей частью лесов, принадлежавших Шаляпину, находилась на правом берегу Нерли, во Владимирской губернии, а подходы и подъезды к ней все были с левого берега, со стороны деревни Старово, располагавшейся в Ярославской губернии.

Сюда же относился лес, купленный им у ярославских землевладельцев. Фактически Шаляпин, его семья, гости больше ходили и ездили по ярославской земле. Через реку тогда перебирались или на лодке, или через имеющийся невдалеке старовский речной брод, пригодный для переезда гужевого транспорта. Рядом с ним были проложены мостки для пешеходов.

Примечательно и то, что Ратухино с того времени упоминается в печати Владимирской губернии. Это продолжалось даже после того, как ее границы в 1936 году оказались отодвинуты далеко на юго-восток. Владимирские краеведы и после этого продолжали активно изучать жизнь Шаляпина на территории соседней Яро-

славской области. Им наверняка несподручны были такие занятия, но ярославцы почему-то не спешили перехватить у них эту интересную тему.

Во многих книгах о Шаляпине и в музейных экспозициях, посвященных ему, упоминается Ратухино... Владимирской губернии, а после переноса границы на территории Ярославской области от него осталось лишь памятное место без названия. Ратухина нет ни на картах, ни в перечне населенных пунктов Переславского района.

Если вы приедете сейчас на станцию Итларь и, сойдя с поезда, спросите любого местного жителя: «Как пройти на Ратухино?» — то вам вряд ли в этом кто-то поможет. Но если вы поясните, что вам нужно попасть туда, где была дача Шаляпина, то стар и млад укажет вам ведущую туда асфальтированную дорогу.

Она и приведет вас к лесному поселочку на правом берегу Нерли, состоящему из десятка домов-пятиэтажек, — лечебным корпусам и жилью обслуживающего персонала детского санатория.

А та прекрасная Шаляпинская дача, в которой зарождался когда-то этот санаторий, в шестидесятые годы была сломана, по официальной версии — «в связи с большим износом», — вблизи построили кирпичный лечебный корпус. Удивляет то, что в окрестных деревнях стоит еще много добротных деревянных домов, построенных куда раньше дачи Шаляпина, и простоят они, видимо, еще годы и годы, потому что за ними ухаживают.

А строение Шаляпина из отборной сосны, которому стоять бы еще да стоять, пошло на слом — ясно, что не только из-за отсутствия хорошего хозяина, но более всего, считая, из-за политической конъюнктуры — у наших верховных властей Шаляпин долго был вне закона.

Когда-то мы мальчишками ходили за грибами и ягодами в шаляпинский лес, бегали купаться к даче — там был удобный песчаный пляж, пользующийся у местных купальщиков популярностью еще со времен Шаляпина. Мы переплывали на территорию санатория и грелись там на солнышке на береговых ступеньках, проложенных руками самого хозяина дачи.

Место это после революции стало шумное и засоренное. За речкой напротив дачи Шаляпина была построена фабрика по переработке цикория — филиал Ростовской кофецикорной фабрики. Фабричная металлическая труба ежедневно выпускала на окрестную красоту шлейфы черного дыма. По несколько раз в сутки от фабрики исходили длительные назойливо-унылые неизвестного



происхождения гудки, вызывающие у многих зубную боль и головокружение.

И здесь же, совсем рядом, лечили больных детей. Большой бесмыслицы и не придумаешь! Да и Шалапин здесь уже не смог бы жить ни дня. Примерно в двух километрах с другой стороны дачи был построен барачный поселок торфодобытчиков. Прилегающее к шалапинскому лесу болото стало владением Охотинского торфопредприятия. Проложили по округе сеть узкоколейных железнодорожных веток, по лесам поползли машины и трактора.

Ко всему этому напротив дачи был построен через реку деревянный мост для автомобильного и гужевого транспорта. Новая дорога от моста, огибая санаторий, выходила на старый лесной проселок, идущий от речного брода, и на их задворках разветвлялась еще по трем направлениям.

Территория дачи была огорожена лишь низким пряслом, шоферы и извозчики сокращали в распутицу путь по ухабистой объездной дороге и ездили напролом. По кромке высокого берега мимо дачи была проторена широкая пешеходная тропа. Санаторий наряду с поселком торфодобытчиков приобрел сомнительную славу развлекательного места. Городской обслуживающий персонал санатория, где были в основном девушки, притягивал к себе местную молодежь. Деревенские парни ходили сюда подбирать себе невест. Дача-санаторий длительное время находилась как бы в искусственно созданной зоне экологического бедствия. И лишь после войны у властей нового поколения хватило ума закрыть злополучную «цикорку» — так называли у нас ту фабричку, а на ее месте был разбит пионерский лагерь.

Когда были изъяты из Охотинского болота последние центнеры торфа, барачный поселок торфодобытчиков перенесли на берега Годеновского озера... Воздух на Нерли снова стал пахнуть сосной и травами, в реку начали возвращаться рыба и раки, а в лесах и на полях снова появились птицы и зверье, как при Шалапине.

В семидесятые годы рядом с детским санаторием, через реку, вырос большой благоустроенный дачный поселок горожан...

Живы еще в окрестных деревнях старики и старухи, чьи родители видели и слышали Шалапина, общались с ним. Но приезжающая сюда на лето городская детвора уже не кричит: «Айда купаться к даче Шалапина!» — а просто говорит: «Пошли к санаторию». О том, что место это называлось Ратухино, сегодня не напоминает ничто.

Надо исправить вопиющую несправедливость, вернуть ему мемориальное название — Ратухино. Присвоить его официально, решением местных властей.

Пусть при этом в Ратухине будет хоть три санатория, но они должны иметь один конкретный — шалапинский — адрес. Многократно упоминаемое в мемуарной литературе, например в двухтомнике Ю. Котлярова и В. Гармаша «Летопись жизни и творчества Ф. И. Шалапина», Ратухино должно появиться и на карте, и в официальном перечне населенных пунктов Ярославской области.

Может быть, найдутся умные, богатые и патриотически настроенные меценаты, которые захотят восстановить и ратухинскую

дачу Шаляпина. Там, над обрывом, есть еще место для постройки прежних размеров. В лесу, рядом с санаторным поселком, сохранилась почти квадратная поляна в оцеплении столетних лип, посаженных по замыслу Шаляпина. Можно было бы построить здесь зеленый театр не хуже Певческих полей прибалтийских стран и регулярно проводить в Ратухине Шаляпинские фестивали.

Вот где могли бы отличиться и Ярославская филармония, и местное отделение Союза театральных деятелей. К имени высокочтимого в России Л. В. Собинова присоединится достойнейшее имя его партнера по сцене Ф. И. Шаляпина.

Уместно было бы на здании вокзала станции Итларь установить мемориальную доску в честь пребывания Ф. И. Шаляпина на Ярославской земле, ведь висит же неподалеку отсюда, в Горках-Переславских, доска в честь пребывания в этих краях вождя мирового пролетариата товарища В. И. Ленина. Кстати, Ленин, лично зная Шаляпина, его заслуги перед революцией (одно только открытое, коллективное разучивание «Дубинушки» по России чего стоит!), тем не менее в свое время не удосужился наложить запрет на разорение его имения в Ратухине и дома в Москве.

Не помог в этом и лучший друг Федора Ивановича глубокочтимый А. М. Горький. Вместо того чтобы защитить Шаляпина от революционной шпаны, они разрешили поставить его на одну доску с «эксплуататорами» и позволили реквизировать почти все, честно заработанное трудом и великим его талантом.



ОН НЕ ПОДПЕВАЛ НИКАКОЙ ВЛАСТИ

Северный край.
1998. 1 октября

Есть в русской истории натуры столь могучие, что в них, словно в фокусе, сходятся какие-то невидимые лучи: жизнь их как бы сияет изнутри сокрытым светом, причем сами они мало что знают об истоках этого сияния; но еще более загадочные перипетии случаются с ними после их смерти, что тоже становится достоянием истории.

Федор Иванович Шаляпин — одна из таких могучих фигур, раскрыть которую — все равно что раскрыть эпоху, Россию, а может быть, и тайну мироздания.

Возьмем одну-единственную из его посмертных тайн — уничтожение добротного, «срубленного — точно скованного — из сосны, как из красного дерева», шаляпинского дома в итларских лесах (в нескольких километрах от станции Итларь, ныне Ростовского района). Как, зачем, почему, что за необходимость была уничтожить в 1985 году — прошу обратить внимание на эту дату — отреставрированный, отремонтированный после пожара, хоть и перестроенный, шаляпинский дом, в котором с 30-х годов располагался детский санаторий «Итларь»?

В начале века это были земли Владимирской губернии. В маленькой сельской церковке села Гагина этой же губернии Федор Иванович Шаляпин обвенчался с балериной Иолой Торнаги. «После свадьбы, — вспоминает Шаляпин, — мы устроили смешной, какой-то турецкий пир: сидели на полу на коврах и озорничали, как малые ребята. Не было... ни богато украшенного стола... ни красноречивых тостов, но было много полевых цветов и немало вина». В шесть часов утра молодоженов поднял с постели невообразимый шум за окном: «знакомые все лица» — художники К. Коровин, В. Серов, композитор С. Рахманинов, меценат Савва Мамонтов исполняли концерт на печных выюшках, железных за-слонках, на ведрах и каких-то пронзительных свистульках.

— Какого черта вы дрыхнете? — кричал Мамонтов. — Вставайте, идем в лес за грибами!

Дирижировал этим кавардаком ровесник и друг Шаляпина — двадцатитрехлетний Сергей Рахманинов.

А в 1904 году Федор Иванович купил у Константина Коровина триста десятин земли в здешних краях. Дом для шаляпинского семейства строили вдвоем — Серов, Коровин и Шаляпин. «И дом же был выстроен! — вспоминал Федор Иванович. — Смешной, по-

моему, несуразный какой-то, но уютный, приятный». Строительство своего дома — одно из главных событий в жизни любого человека: можно представить, что значил этот дом для Федора Шаляпина, певца из мужиков, так наголодавшегося и наскитавшегося в годы детства и юности, что, и став мировой звездой первой величины, никогда не забывал, что такое голод. Увидев во дворе русской церкви в Париже оборванных и голодных эмигрантских детей, Шаляпин передал для них 5 тысяч франков священнику о. Георгию Спасскому — за что у себя на родине был лишен звания народного артиста постановлением Совнаркома от 24 августа 1927 года. Маяковский тогда писал:

Тот, кто сегодня
поет не с нами,

Тот против нас.

Нечто похожее сочинили и пионеры (или — кто-то для пионеров), отдыхавшие на шаляпинской даче в 30-х годах:

Не знал Шаляпин верный,
не думал он о том,
кому пойдет на пользу
его просторный дом.
Под дудочку буржуя
Шаляпин наш поет,
а на веселой даче
идет наоборот.

Эту песню я услышала от старожилы здешних мест Екатерины Дмитриевны Яковлевой. Удивительное дело — приехав впервые в детский санаторий «Итларь» полтора года назад, я увидела лишь «снежную толщу забытья», покрывающую шаляпинские поляны, аллеи и тот пригорок, где стоял когда-то дом Шаляпина. В воспоминаниях Екатерины Дмитриевны оживает теплый домашний очаг — жена Иола Игнатьевна («Ела Гнатъевна», как называет ее моя собеседница и добавляет: «В честь ее все оконные рамы были «под елочку» и спинки у стульев тоже»), дети Ирина, Федор и Борис («Федя и Боря как начнут проказничать, кидаться подушками, так перья по всей даче летят»). Для детей были срублены во дворе домики из дерева, они простояли до конца 30-х годов.

— Я пришла, — рассказывает Екатерина Дмитриевна, — только-только двор сломали, нас заставляли убирать, столбики вытаскивать.

Жили еще крестная Федора Ивановича, старая дева, каждое лето шила для всех барышень сарафаны, и слуги — крестьяне из окрестных деревень, которые тоже были как бы членами семейства.

Сама Е. Д. Яковлева родилась в 1918 году в деревне Одерихино, что в шести километрах отсюда, пришла работать в санаторий восемнадцати лет.



Один из тех снимков, запечатлевших Шаляпина в крестьянской одежде, о которых упоминала Ирина Федоровна Шаляпина (см. стр. 142)

— Сижу, бывало, картошку чищу на кухне, Федосеич придет — он в войну сторожем работал — и мы с ним тихонечко о Шаляпине толкуем: «Эх, Катя, какой человек был!»

Иван Федосеевич из Охотина плел лапти для Шаляпиных — они всё лето в лаптях ходили. Василий Макаров из Старова был управляющим, Шаляпин звал его Русланом за русые кудри на голове. Много рассказывал о Шаляпине Василий Блохин — ему было 12 лет, когда он служил в кучерах у Федора Ивановича: «И поехал я по этой дорожке на станцию! Человек сорок иногда гостей привозил. Платили мне 50 копеек — целый капитал!»

— У Шаляпина здесь тоже лошади были, — продолжает Екатерина Дмитриевна. — Однажды поехал с Елой Гнатьевной и дочерью Ириной кого-то встречать на станцию, жеребенок на переезде испугался поезда, начал беситься. Ирина Федоровна закричала, а Шаляпин намотал на руки вожжи и давай править — так понесся, только пыль кругом!

Этот случай рассказала сама Ирина Федоровна Шаляпина, которая приезжала в санаторий «Итларь» в 1952 году. Дом еще стоял как был, сохранились даже многие вещи: «мамин шкаф» с гроздьями винограда по всему верху, кресла, медный умывальник, шашечница зеленая с белым, самодельные стулья со спинкой «в елочку», ночной фонарь, лампа Федора Ивановича с огромным абажуром — «наверное, столинейная, висела в кабинете у директора», камин в гостиной. Хранилась у Екатерины Дмитриевны фотография — «Шаляпин стоит и еще двое», — Ирина Федоровна посмотрела и руками всплеснула: «Ой, это же Костя Коровин!»

Дом художника Константина Коровина сохранился в Охотине до сих пор — крепко дружили они с Шаляпиным, исходили пешком все здешние места, много рыбачили на Нерли, заваливаясь на ночлег к местным крестьянам. На реке Нерль километрах в семи-восьми отсюда стояла мельница старика Никона, который был регентом в церкви села Пречистого. С этим Никоном пел Шаляпин на клиросе, принимался с тамошним священником, а в церковь ходили по воскресеньям и праздникам как Шаляпин с семьей, так и Коровин.

— В 37 — 38-м годах эта церковь еще работала, — рассказывает Екатерина Дмитриевна. — Нас туда привез директор санатория, чтобы мы выступили против Церкви — был какой-то праздник. Помню, приехали мы зимой, на лошадях, но не выступали в школе, как должны были, а смотрели на венчание. Да, это было в 37 — 38-м, так как в марте 38-го умер Шаляпин. Нас собрали в столовой — и ни шепоточка. Скучно так! Как раньше против Церкви — так и против Шаляпина, нельзя было о нем говорить. Только снег падал весь день.

«Тот, кто сегодня поет не с нами...»

Недавно мне снова довелось побывать в Итлари. Первая встреча с Шаляпиным пахла снегом, вторая — источала густой сосновый аромат. О шаляпинском доме напоминает лишь нелепый остаток фундамента на пригорке. Высоченные липы — осталось их уже 94 вместо 100, посаженных Федором Ивановичем, — от старости замшели. Но дух Шаляпина витает в лесных кронах, и даже

в этом полузабвенном состоянии есть что-то могучее.

«Глубокой осенью получаешь, бывало, телеграмму от московских приятелей: «Едем, встречай», — вспоминал Шаляпин. — Встречать надо рано утром, когда уходящая ночь еще плотно и таинственно обнимается с большими соснами. Надо перебраться через речку — мост нечаянно сломан, и речка еще совершенно чернильная. На том берегу стоят уже и ждут накануне заказанные два экипажа с Емельяном и Герасимом. Лениво встаешь, одеваешься, выходишь на крыльцо, спускаешься к реке, берешь плоскодонку и колом отталкиваешься от берега...»

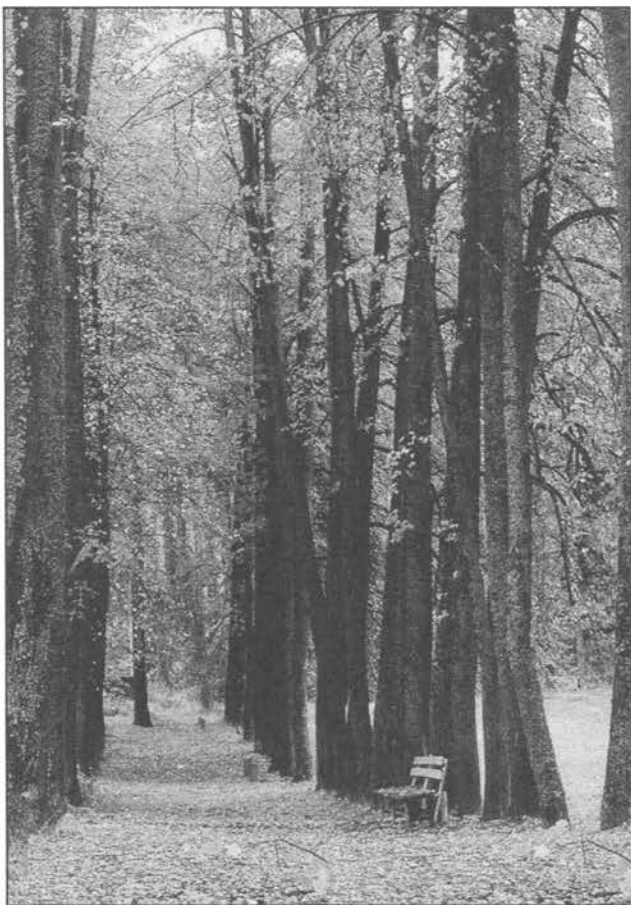
Где то крыльцо и где тот дом?

В дверях у Екатерины Дмитриевны записка: «Ушла за черникой на свой участок». Восемьдесят лет моей шаляпиноведке, а бодря и телом, и духом, хоть и жалуется на старые ноги. Пережила коллективизацию, голод, войну, помнит, как бесследно пропадали директора санатория.

— Степан Иванович Новиков, первый директор, через две недели пропал, как я девчонкой в санаторий пришла, — вспоминает она. — Дом шаляпинский застала как он был. Потом его немного переделали: лестницу перенесли. Вестибюль был, печка стояла изразцовая, камин, где дети собирались и пели...

Страх того, что «договоришься о Шаляпине — придут и тебя увезут», кажется, до сих пор жив в душе старенькой Екатерины Дмитриевны: при первой встрече со мной, незнакомым человеком, она не рассказала многое из того, что рассказывает сейчас. А главное:

— Шаляпинский дом не в 62-м году сломали, тогда только верх сняли, светелки снесли, а сруб остался как был, и расположение комнат то же самое, все было понятно, где, как, чего, можно было по фото восстановить. После этого двое музейщиков из Переславля ко мне приезжали, взяли у меня фотокарточку: «Мы макет делаем». Говорят, сделали, в музее стоит. А корпус шаляпинский потом горел у нас — приезжали пожарники, вся территория была занята пожарными машинами, в противопогазах тушили и всё вытаскивали из дома. Но сказали — восстановят. После пожара такой ремонт сделали! И вдруг в 85-м начали ломать дом после ремонта! Я помню — это было 21 мая, накануне Николе. Приехала воинская часть, и стали шифер отдирать. А сруб-то какой! Он был некрашенный, в 62-м его только тесом обшили, и как стали бревна раз-



*Липовая аллея,
посаженная
Шаляпиным, —
вот и все,
что напоминает
сейчас в Ратухине
о Великом певце*

бирать — а они желтые, как желток! «Это из пихты», — говорят. Помню, один рассказывал: «Мне шесть лет было, когда дом строили. Бревна пропускали сквозь кольцо, все было ровное». Мой муж не выдержал, побежал к военным: «Что вы делаете!» А они: «Не ввязывайся, отец». Жалко было до слез! Ведь и обком, и облздравотдел здесь был — кто бы без них дом сломал?

Уничтожили шалашинский дом до основания, до сорной трын-травы. И не только память о Шалашине, но и прекрасный добротный корпус для санаторных детей. А построили, как сказала в сердцах главврач санатория, здание «по инвалидному проекту» — холодную неуютную трехэтажку из кирпича с тесными коридорами. Зачем было раскатывать по бревнышку шалашинское наследие? У Екатерины Дмитриевны своя, житейская версия:

— Перевезли бревна к себе на дачи большие начальники...

Последний раз был здесь Федор Иванович в 1917 году. Скоро, скоро станет он «тем, кто сегодня поет не с нами». Никогда не подпевал Шалашин никакой власти — ни царской, ни коммунистической, а подпевал только родному, вечно угнетенному народу — «Эх, дубинушка, ухнем!..» И в начале «перестройки» — год 1985-й — он снова оказался не в том хоре...

«Нигде в мире не встречал я ни такого Герасима, ни такого бора, ни такого звонаря на станции, — вспоминал Шалашин об итларских краях на чужбине. — И вокзала такого нигде в мире не видел, из изношенно-занозистого дерева срубленного... При входе в буфет странный и нелепый висит рукомойник... А в буфете под плетеной сеткой — колбаса, яйцо в черненьких точках и бессмертные мухи...

Милая моя, родная Россия!..»





За 40 с лишним лет священства мною совершено множество треб, множество таинств: отпевания, крещения, браки...

Все они и количественно и качественно разделяются на две неравные части: первые совершены во Франции, в эмиграции, вторые — уже на родной земле... 15 лет священства во Франции и уже 26 лет на Родине.

Конечно, на Родине количественный мой Синодик пополнялся значительно быстрее, так как во время моего священства в Рыбинске бывало от 60 до 100 крестин в день, зато в духовном отношении служение за рубежом, при его меньшей нагрузке, было более индивидуально. Здесь, отпевая заочно сразу 20 человек, или даже имея перед собою 4 — 5 гробов, я в большинстве случаев ничего не знаю про усопшего и только в редком случае знаю того, с кем имею дело. Во Франции почти во всех случаях отпеваний, крещений и браков я лично знал того, с кем приходилось иметь молитвенное дело, или же знал усопшего заочно, слышал о нем. Поэтому почти за каждым отпеванием во Франции я произносил надгробное слово, чего, конечно, не имею возможности делать в условиях моего сегодняшнего служения, когда надгробные слова я говорю только в редких случаях.

Вот почему первый период, гораздо менее значительный количественно, оставил больше воспоминаний от встреч с живыми и с мертвыми. Мне хотелось бы воскресить в памяти эти встречи, так как для меня они имели большое значение в духовном плане, да и для других многие из них могут оказаться поучительными.

Приступаю к этому труду со страхом, так как знаю слабость моих литературных сил и боюсь, что не сумею донести до возможного читателя то, что лично мне представлялось важным и значительным.

Количество совершенных треб: Крещений Браков Отпеваний

Во Франции с 1938 по 1952 г. 68 21 875

В России с 1952 по 1979 г. 5929 103 9657

Итого на 01.01.1979 г. 5997 124 10532

Протоиерей Борис Старк

Ярославль, январь 1979 года.

ОТПЕВАНИЯ

Федор Иванович Шаляпин

† 12.04.1938 г.

Одно из первых отпеваний, в котором мне пришлось участвовать еще в сане диакона в марте 1938 года, было отпевание нашего великого артиста и певца Федора Ивановича Шаляпина. Кто такой

Ф. И. Шаляпин и каково его место в русской культуре, думаю, говорить не надо. О его жизни и творчестве написано много книг и при его жизни и после его смерти. Одной из лучших, написанных еще до революции, была книга моего дяди, Эдуарда Александровича Старка (Зигфрида). Увы, сейчас становится все меньше и меньше лиц, лично слышавших этого великого во всех отношениях артиста, и я счастлив, что, живя под Парижем в довольно стесненных обстоятельствах, все же удавалось выбраться в Париж на все спектакли с участием Ф. И., а также на его ежегодные концерты, которые он давал в зале Плейель совместно с архиерейским хором под управлением Н. П. Афонского. Обычно первую часть концерта он пел с хором церковные песнопения: «Ныне отпускаеши» Строкина, ектению Гречанинова и другие, потом вторую часть пел только хор, а в третьей части Ф. И. пел один арии из опер, романсы, русские народные песни. Всегда в первом ряду сидел наш Владыко Митрополит Евлогий с кем-нибудь из высшего духовенства. Я в те времена был еще мирянином. Также посещали мы, хотя и не без труда, его выступления в Русской Опере князя Церетели, где он пел Бориса Годунова и Кончака. Раз два он спел за один вечер и Кончака, и Галицкого, но нам в этот раз попасть в Париж не удалось.

К моменту смерти Ф. И. я был совсем молодым и малоопытным диаконом, а пело три хора: архиерейский, под управлением Н. П. Афонского, хор Русской Оперы и еще какой-то третий, уж какой — я не могу вспомнить, может быть даже и французский. Так как наши маститые протодиаконы боялись, что я не попаду в нужный тон хора, мне не доверили сказать ни одной заупокойной ектении и мое участие сводилось к тому, что я все время совершал каждение гроба, по французскому обычаю заколоченного. Дело было в Великом Посту, и совершалась литургия Преждеосвященных Даров, которую, по-моему, совершал не Владыко, а только местное духовенство Собора. Из служивших в тот день в живых остался, кроме меня, только архимандрит Никон (Греве), находящийся сейчас в США, на покое, в сане архиепископа.

После литургии начался чин отпевания, который возглавил Владыко митрополит Евлогий. Вся служба, как литургия, так и отпевание, передавалась по французскому радио. После отпевания и прощания с усопшим гроб на руках вынесли артисты, среди которых мне запомнились А. И. Мозжухин, певший часто по очереди с Ф. И. в операх, бас Кайданов, которого Ф. И. очень любил в партии Варлаама в «Борисе Годунове», потом Сергей Лифарь — ведущий балетмейстер Большой Парижской Оперы — и еще кто-то — всего их было, кажется, 8 человек, так как гроб был большой и тяжелый. Не удивлюсь, если внутри деревянного был металлический.

Не только весь собор на улице Дарю был переполнен народом, но и вся церковная ограда, все улицы, окружавшие собор, были забиты машинами и толпами людей. Телевизионных передач в то время еще не было. Почему-то мне не запомнился никто из семьи покойного, зато запомнился роскошный покров темно-красного бархата, шитый золотом, музейное сокровище, которым был накрыт гроб.

После похорон его пожертвовали в собор, и он лежал на плащанице в течение всего года. Запомнились и особые напевы привычных песнопений «Со святыми упокой» и «Вечная память», чуть ли не специально написанные кем-то из композиторов для этого дня. Надо сказать, что, не входя в обсуждение художественной ценности этих произведений, впечатление от них было несколько детонирующее, по крайней мере у меня, так как с этими молитвами уж слишком тесно связан обычный мотив. Когда



Ф. И. Шаляпин. 1916

гроб вынесли на плечах из собора и установили его в похоронный автобус, стали выносить бесконечные роскошные венки. Их было множество, и их развешивали на двух специальных автомашинах вроде гигантских вешалок, на которые в несколько рядов и этажей помещались венки. Затем автобус с духовенством, много других автобусов для присутствующих и, наконец, неисчислимое количество частных машин. Семья, вероятно, поместилась в автобус с гробом.

Из Русского собора процессия поехала на площадь Оперы, где перед Оперным театром была сделана остановка. Была отслужена заупокойная лития и пропета Вечная память. А от Оперы вся процессия проследовала на кладбище Батиньоль на окраине Парижа, в его северной части.

Тут я должен сделать отступление. Многие потом спрашивали, почему Ф. И. Шаляпин был похоронен на этом малоизвестном и окраинном кладбище, а не на Русском кладбище Святой Женевиевы? Мне лично дело представляется таким образом: обычно всех богатых и известных людей в Париже хоронили или на кладбище Пер Лашез, или на небольшом кладбище в центре города, на площади Трокадеро, — Пасси. Там, между прочим, похоронена известная в свое время Мария Башкирцева. Оба эти кладбища очень дорогие, заставлены громоздкими и часто безвкусными склепами-часовнями, часто с большой претензией. Зелени на этих кладбищах сравнительно мало, только вдоль дорожек аллеи, а между могил редко встретишь деревце. Думаю, Ф. И. часто бывал на погребениях различных артистических знаменитостей и, возможно, как-то раз, попав на более скромное и более тенистое кладбище Батиньоль, мог сказать: «Я бы хотел лежать на таком кладбище», имея в виду — не в каменных коробках Пер Лашез. Во всяком случае, при его похоронах семья сослалась на то, что это место Ф. И. сам выбрал. Кладбище Ст. Женевиев в 1938 г., к моменту смерти Ф. И., уже существовало, но не как специально русское кладбище, некрополь, а просто на французском деревенском кладбище хоронили пенсионеров Русского Дома-Богдельни. К 1938 г. там могли быть какие-нибудь 50 могил. К началу войны их стало 350, помимо пен-

сионеров Русского Дома стали привозить гробы из Парижа. К моменту моего отъезда из Ст. Женеьев могил было уже около 2000, и среди них много знаменитостей, а в данный момент, вероятно, количество русских могил перешагнуло за 10 000. Местные муниципальные власти ввиду увеличивающегося значения Русского кладбища отводили под него все новые и новые земли, и постепенно оно захватило все окружающие поля. Но в момент смерти, а тем более до смерти Ф. И., о Русском кладбище Ст. Женеьев не было и разговоров, и поэтому, вероятно, ему приглянулось кладбище



Ф. И. Шаляпин. 1927

менее пышное, с березками, более напоминавшее ему родную русскую землю, чем холодные и вычурные громады Пер Лашез. Так или иначе, но привезли его на Батиньоль... На громадном дубовом гробу была медная дощечка на французском языке: «Федор Шаляпин. Командор Почетного Легиона. 1873 — 1938». Я не помню, в котором часу мы вышли с кладбища, но думаю, что было уже под вечер.

После смерти о Ф. И. Шаляпине много писали как русские, так и иностранные газеты и журналы, выяснилось многое, о чем не знали при его жизни. Например, была общеизвестная версия о неотзывчивости артиста, о его какой-то скупости, жадности. Он неохотно шел навстречу всяким благотворительным вечерам, в которых поначалу его

просили участвовать. Он сам в шутку говорил: «Вот, говорят, Шаляпин скупой... Попробуй быть не скупым, когда надо содержать две жены и десять детей!» Действительно, он продолжал помогать своей первой жене, оставшейся со старшей дочерью Ириной в Москве, ставил на ноги не только своих детей от двух браков, но и детей второй жены, Марии Валентиновны, от ее первого брака. Но только после его смерти выяснилось, как много помогал он, причем так, что никто об этом не знал. Сколько помощи оказывал он тайно комитету М. М. Федорова, помогал неимущим студентам, сколько поддержки оказывал он и нуждающимся артистам...

Хочется отметить и еще одну черту его характера: 16 января 1934 года умер в Париже один из виднейших представителей парижского духовенства — протоиерей Георгий Спасский. Он был крупный проповедник, очень уважаемый духовник... После его смерти в одной из парижских русских газет была помещена большая статья Ф. И. Шаляпина с посвящением: «Моему духовнику». Прочитав ее, делалось ясно, что отношение Ф. И. к Богу и к Церкви было не просто данью обычаю, не выражением своего рода «комильфо», а действительно глубоко пережитым ощущением человеческой души. Помню, за несколько лет до кончины Ф. И. тяжело заболел. Он тогда попросил духовника приехать к нему, причастить Святых Тайн и пособоровать, что и было сделано, после чего Ф. И. стало лучше и он выздоровел. Это показывает глубокое отношение человека к вере и к своему Создателю.

Прошло несколько лет после его погребения. Разразилась война... Вся семья Ф. И. переехала в США, подальше от военных действий, и могила великого артиста осталась в забвении. Никто не посещал отдаленное и малоизвестное кладбище Батиньоль. Многие, приезжавшие в Ст. Женеьев на Русское кладбище, в церкви которого я в то время служил, спрашивали у нас: «А где могила Шаляпина?» — и удивлялись, узнав, что он похоронен не у нас. Потом в одной из эмигрантских газет появилась статья, в которой с возмущением говорилось о заброшенном виде шаляпинской могилы. У нас появилась мысль о необходимости переноса праха великого артиста на наше кладбище, к этому времени ставшее «Русским некрополем».

Воспользовавшись после войны приездом в Париж вдовы артиста Марии Валентиновны, мы от имени Попечительства кладбища (был такой комитет, заботящийся о благоустройстве кладбища) посетили М. В. и предложили ей перенести прах ее мужа на наше кладбище, или в могилу в земле, или даже похоронить под храмом в склепе, где уже лежали Владыко митрополит Евлогий, Епископ Херсонесский Иоанн, бывший премьер-министр Российской Империи граф В. Н. Коковцов, а также духовник Ф. И. протоиерей Георгий Спасский.

Мария Валентиновна отклонила наше предложение, сказав, что не хочет тревожить прах мужа с места, которое он сам якобы выбрал, потом прибавила: «Я поняла бы, если бы потревожили его для того, чтобы свезти на родину, в Россию... — но тут же прибавила, видимо учитывая эмигрантскую сущность нашего комитета: — Но, конечно, не сейчас и в других условиях». Но все же у нас осталось впечатление, что в Россию она бы перевезла, и даже появилась мысль, не ведет ли она уже переговоры об этом, которые от нас скрывает, как скрывал А. И. Куприн свой отъезд на родину...

Помню, наш архитектор А. Н. Бенуа, один из плеяды этой высокохудожественной семьи, построивший храм на кладбище и создавший много очень ценных и оригинальных надгробий, предложил соорудить в склепе над прахом Ф. И. Шаляпина подобие гробницы Бориса Годунова! Эта мысль, хотя и соблазнительная, учитывая значение роли Бориса Годунова в творчестве Ф. И., была основана на недоразумении и незнании фактов. Все семейство Годуновых погребено в Троице-Сергиевской Лавре, под Успенским собором, и не имеет никакого надгробия, а тем более гробницы, а только доску с надписью «Усыпальница семьи Годуновых». Кроме того, семья Ф. И. во время наших переговоров выставила еще одно, совсем уже нелепое препятствие: «Приезжая в Париж, будет далеко ездить на могилу». Явная нелепость. Проехав из США в Париж и имея автомобили, трудно преодолеть еще 40 километров! Было очевидно, что это просто отговорка. Нам казалось, что родственники просто ожидают возможности перевоза праха в Россию, но не хотят об этом говорить эмигрантам, не зная, как это будет принято.

Так этот вопрос и заглох. Умерла и вдова Ф. И., и почти все деятели нашего комитета «Кладбищенского попечительства», пришли новые люди, которым Ф. И. не был близок. Я сам вернулся на

Родину... Но вот в 1973 году исполнилось сто лет со дня рождения Ф. И., и в связи с этим событием в нашей советской прессе появился ряд статей. В журнале «Наш современник» — статья Владимира Солоухина «Три хризантемы» о том, как, будучи в Париже, он хотел положить эти три цветка на могилу Шаяпина и каких трудов ему стоило узнать, на каком кладбище он похоронен, и, наконец, уже в день отъезда, попав на кладбище, сколько трудов он затратил на то, чтобы найти могилу певца (хотя теперь, вероятно, на ней стоит приличное надгробие) и положить свои три хризантемы.

Этот рассказ вновь пробудил во мне чувства, которыми мы руководствовались, когда пытались спасти могилу нашего великого земляка от забвения. Ведь, бывая в Москве, часто навещая на кладбище Новодевичьего монастыря и посещая могилы Собинова, Неждановой, Станиславского, я всегда ощущал, что место Федора Ивановича здесь, среди земляков и соратников по искусству, среди своего русского народа, который он так любил. А тут еще в «Огоньке» появилась статья И. С. Козловского, в которой он, отдавая дань Ф. И., вскользь высказывал мысль об уместности рано или поздно перенести его прах в Москву.

Я загорелся вновь моей старой идеей, а так как к этому моменту из всей нашей старой «кладбищенской» плеяды в живых остался я один, то и решил, что надо начинать что-то делать мне. Я написал И. С. Козловскому, написал дочери Ф. И. Ирине Федоровне, получил от обоих самые живые и одобрительные отклики, хотел привлечь к этому и В. Солоухина, но нам не удалось встретиться. Потом заинтересовал одного из руководителей общества «Родина» и через него попытался что-то сделать. Как мне стало известно, этот проект очень заинтересовал и «Родину», и Министерство культуры и ЦК КПСС, дети покойного также отнеслись к нему положительно, особенно находящаяся в Москве старшая дочь Ирина. Но одна из младших дочерей, Дарья Федоровна, вышедшая замуж за графа Шувалова, выставила просто неприличное условие: выплаты, хотя бы частично, ущерба, нанесенного Ф. И. Шаяпину конфискацией его недвижимого имущества в России. Об этом написал в журнале «Огонек», кажется, И. С. Зильберштейн. А по французским законам эксгумация тела может быть разрешена только в случае согласия в с е х наследников. После такого просто позорного «торга» все надежды перенести прах нашего великого артиста на родную землю погасли, и приходится примириться с мыслью, что пройдет еще 50 — 100 лет — и эта могила превратится в лучшем случае в археологический объект, если не разрушится совсем, так как память о Шаяпине за рубежом станет достоянием в лучшем случае искусствоведов, а для рядовых французов она погаснет, как погасли для нас, русских, имена когда-то гремевшие: Малибран, Полины Виардо или Генриетты Зонтаг. На русской земле Шаяпин навсегда остался бы Шаяпиным, как незабываемы остались Федор Волков, Истомина, Мочалов...

В силу этого же закона невозможно перенести на родину из Ниццы прах А. И. Герцена, там погребенного, так как не удастся установить всех наследников. А вот прах А. К. Глазунова удалось вернуть в некрополь родного Питера...

Чтобы закончить мои думы о Федоре Ивановиче, хочется привести два анекдота: один — случившийся лично с ним, а другой — им самим рассказанный.

Как-то, до войны 1914 года, Ф. И. Шаляпин был приглашен петь на каком-то приеме во дворе Великого Князя Владимира Александровича, на Английскую набережную в Петербурге. После концерта великие мира сего развлекались в особом салоне, а другие гости, в том числе и Ф. И., — в соседних гостиных. И вот лакей на подносе подает Ф. И. бокал венецианского стекла с шампанским от имени жены Вел. Кн. — Великой Княгини Марии Павловны — с предложением выпить за ее здоровье. Ф. И. выпил и сказал лакею, что бокал берет себе на память о высочайшей милости. Прошло сколько-то времени. Шаляпин пел в Марининском театре. После представления его пригласили в ложу к Вел. Кн. Марии Павловне, чтобы принять ее поздравление за хорошее выступление. «Вы — разорительный человек, Шаляпин, — сказала ему Вел. Кн. — Аплодируя вам, я порвала мои новые перчатки. А в прошлый раз вы разорнили мой набор из 12 венецианских бокалов!» На что Ф. И., вежливо склонив голову, ответил ей: «Ваше императорское высочество, эту беду легко исправить, если вы присоедините 11 оставшихся к пропавшему...» Боюсь, что Великая Княгиня не оценила юмора артиста и серия бокалов осталась разрозненной.

Другой анекдотический случай рассказал сам Ф. И., и, хотя он довольно известный, все же считаю уместным его повторить.

На заре театральной деятельности Ф. И. играл в одной провинциальной труппе. Давали что-то африканское... То ли «Африканку» Мейербера, то ли что-то в этом роде. По ходу оперы актер стреляет во льва, стоящего на высокой скале, и убивает его, причем лев падает со скалы на подложенные внизу маты. Льва изображал человек, зашитый в шкуру. Обычный исполнитель этой эпизодической роли не то заболел, не то запил, и взяли какого-то другого статиста. Вот проходит действие, стрелок выпускает стрелу. Лев стоит и не падает... Чтобы спасти положение, стрелок вновь заряжает свой лук, а из-за кулис шипят льву: «Падай! Да падай же, С. С.!» Лев трясется и не падает. Наконец, после третьей стрелы и еще более грозного рыка режиссера, лев в отчаянии подымается во весь свой рост, осеняет себя в ужасе крестным знамением и тогда летит со своей скалы. Этот случай, приводившийся неоднократно, в устах Ф. И. приобретал полную достоверность.

Хочется все же верить, что наступит момент, когда или аппетиты Дарьи Федоровны уменьшатся, или пробудится совесть, или произойдут какие-нибудь иные изменения, и кто-то сделает то, что так хотелось мне осуществить, и прах Федора Ивановича найдет свое законное место в Некрополе Русской Славы на кладбище Новодевичьего монастыря... А пока, проезжая в машине мимо дома покойного Ф. И. и глядя на его мраморный бюст, украшающий фасад этого небольшого домика, я всегда возношу тихую молитву о его упокоении и благодарю Бога за то, что Он дал мне возможность видеть и слышать этого неповторимого артиста и удостоил меня чести проводить его в его последний жизненный путь хотя и на чужой, но гостеприимной земле Франции.

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ ОТЦА БОРИСА

Северный край.
1997. 11 января

На святочной неделе исполняется год, как отлетела светлая душа Бориса Георгиевича Старка (протоиерея Бориса), в прошлом настоятеля Федоровского собора.

Знавшие его непременно отмечали то внутреннее благородство и ту одухотворенность внешнего облика, какие бывают присущи только незаурядным личностям. Ясный и добрый человек, он был священником по призванию, от Бога. Деяния его на этом поприще были столь значительны, что Русская Православная Церковь отметила его своей высшей наградой — Патриаршим Крестом.

Одна из многих его подвижнических миссий нас особенно привлекает. Старк одним из первых поднял вопрос о переносе останков Ф. И. Шалапина на родную землю.

Его отец, русский боевой адмирал Георгий Старк, в 1922 году вынужден был, как и многие тогда, эмигрировать во Францию. Через три года приехал к нему из Ленинграда шестнадцатилетний сын Борис. Юноша сразу оказался в среде именитых и образованных людей, многие из которых оставили след в духовном и государственном развитии России. Он был знаком с писателем Иваном Шмелевым, исповедовался протоиерею Сергию Булгакову. Граф Н. Татищев, потомки Бутурлиных, Щербатовых, Мещерских, иных древних русских родов входили в круг его повседневного общения.

Среди служителей русской церкви более всего он чтит и любил своего архипастыря митрополита Евлогия (В. С. Георгиевского). Именно из его уст в 1937 году Борис Старк принял благословение и был возведен в первое духовное звание диакона. С 1940 по 1952 год служил отец Борис священником Русского Дома и Русского кладбища в Сент-Женевьев де Буа, близ Парижа. Русский Дом был основан в 1926 году княгиней В. К. Мещерской, и в нем находили пристанище многие из эмигрантов. Кроме канонических треб, среди которых, к сожалению, более всего было отпеваний, отец Борис по воле души своей занимался и другим богоугодным делом — перевозил в Русский некрополь останки соотечественников, захороненных по всей Франции, в местах, где случилось им умереть.

Необходимость тревожить прах усопших была вынужденной, поскольку ухаживать за могилами и оплачивать их содержание чаще всего бывало некому. Именно благодаря ему не исчезла в безвестности могила Константина Алексеевича Коровина. Остан-

ки художника, отчасти и нашего земляка, друга Шаляпина, были собственноручно перевезены отцом Борисом на Русское кладбище в 1950 году.

Чуть подробнее на «шаляпинскую тему». Старк любил и чтит великого певца. Живя в предместье Парижа, он посещал все его спектакли, шедшие в столице, все его ежегодные концерты в зале Плейель, хотя по этой причине приходилось сильно экономить на всем остальном. Уважение к Шаляпину было как бы семейной чертой Старков, ведь его родной дядя Э. А. Старк (литературный псевдоним — Зигфрид) написал до революции одну из лучших книг о творчестве Шаляпина.

Так случилось, что в апреле 1938 года молодой диакон отец Борис провожал великого артиста в его последний путь. Это была его первая литургия столь высокого значения, и именно с ее описания он начинал свой литературный труд «По страницам Синодика». Он находился у гроба певца, совершая обряд каждения. Похоронам было придано государственное значение, и отпевание передавалось по французскому радио.

Погребен Шаляпин был на кладбище Батиньоль. Артист сам его выбрал при жизни. Как полагал Борис Георгиевич, «вероятно, ему приглянулось кладбище менее пышное, с березками, более напоминавшее ему родную русскую землю».

С началом войны вся семья Федора Ивановича переехала в США, и его могила осталась в забвении. Постепенно в среде эмиграции, в кладбищенском попечительстве, куда входил отец Борис, пришли к мысли, что следовало бы перезахоронить певца в Русском некрополе. Однако его вдова Мария Валентиновна не поддержала этого, надеясь, видимо, на то, что когда-нибудь тело мужа все-таки упокоится на родной земле. Таким образом, вопрос как-то заглох, и вновь об этом заговорили только в 1973 году, в столетний юбилей певца. Умерли к тому времени и его вдова, и большинство деятелей попечительства, а сам отец Борис вернулся на Родину и с 1962 года служил настоятелем ярославского кафедрального Федоровского собора.

Значимость юбилея всколыхнула нашу общественность, и в прессе появились публикации, одна из которых под названием «Три хризантемы» В. Солоухина поведала о той самой траве забвения, возросшей на могиле русского гения.

Реакция Бориса Георгиевича была незамедлительной, он вспоминал:

«Этот рассказ вновь пробудил во мне чувства, которыми мы руководствовались, когда пытались спасти могилу нашего великого земляка от забвения. Ведь, бывая в Москве, часто навещаясь на кладбище Новодевичьего монастыря и посещая могилы Собинова, Неждановой, Станиславского, я всегда ощущал, что место Фе-



В 1984 году историческая справедливость восторжествовала: прах великого певца был перевезен из Парижа и захоронен на Новодевичьем кладбище в Москве
Фото А. Фирсова

дора Ивановича здесь, среди земляков и соратников по искусству... А тут еще в «Огоньке» появилась статья И. Козловского, в которой он, отдавая дань Ф. И. Шаляпину, вскользь высказывал мысль об уместности рано или поздно перенести его прах в Москву.

Я загорелся вновь моей старой идеей, а так как к этому моменту из всей нашей старой «кладбищенской» плеяды в живых остался я один, то и решил, что надо начинать что-то делать мне».

Он написал тогда письмо И. С. Козловскому, И. Ф. Шаляпиной, в общество «Родина», и везде, включая Министерство культуры и ЦК КПСС, получил полную поддержку. К сожалению, возражала только младшая дочь от второго брака Дарья Федоровна. В обмен на ее согласие о перезахоронении отца она требовала выплатить компенсации за ущерб, нанесенный отцу при конфискации его недвижимого имущества в России... Все осталось как было.

Дальше в своих воспоминаниях Борис Старк с надеждой писал, что придут новые времена, другие люди, и они сделают то, что не удалось ему и его сподвижникам.

Прошло пять лет с момента написания этих строк, и в 1984 году гроб с телом великого сына России был перезахоронен в Москве, на Новодевичьем...

Запомнилась фраза, произнесенная отцом Борисом незадолго до его кончины: «Я ставил перед собой две главные жизненные задачи — добиться переноса на русскую землю праха Ф. И. Шаляпина и споспешествовать воздвижению памятника Ярославу Мудрому. И то, и другое сделано!»



*ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО:*

Переславль-Залесскому музею-заповеднику;

Ярославской областной универсальной
научной библиотеке
имени Н. А. Некрасова, особенно отделам
редкой книги и литературы по искусству;

Ярославскому историко-архитектурному
музею-заповеднику;

Межрегиональному Шаляпинскому центру
(г. Москва);

Некрасовскому муниципальному
краеведческому музею;

семье Озерских и лично Т. М. Озерской,

а также другим организациям и
частным лицам,
оказавшим содействие в подборе материалов
для нашей книги





СОДЕРЖАНИЕ

От издателя 5

I. *Константин Коровин вспоминает*

- Шаляпин. Встречи и совместная жизнь 9
[Приложение к воспоминаниям о Ф. И. Шаляпине]
Ф. И. Шаляпин. К. А. Коровин (*К его юбилею*) 119

II. *Ирина Шаляпина. Живая память об отце* [Главы из книги]

- Рассказ матери 125
Дома 130
С. В. Рахманинов 132
А. М. Горький 133
На отдыхе 135
Встреча отца 140
Пикник 142
Борис Годунов 144

III. *Шаляпин глазами современников*

- Эдуард Старк (Зигфрид). Ф. И. Шаляпин (*К двадцатипятилетию артистической деятельности*) 157
Леонид Андреев. О Шаляпине 170
Влас Дорошевич. Шаляпин в Scala 176
Анджело Мазини. Письмо в газету «Новое время» 186
Эдуард Старк (Зигфрид). «Борис Годунов» Мусоргского 187
А. Серебров (Александр Тихонов). «Демон» 201
Василий Розанов. На концерте Шаляпина 212
Иван Бунин. Шаляпин 216
Владимир Теляковский. Летом в деревне 223
Николай Телешов. Артисты и писатели 227
Соломон Поляков-Литовцев. Вне музыки счастья знать не мог (Ф. И. Шаляпин. Набросок портрета) 232

IV. *Шаляпин и Ярославский край*

- Хроника пребывания Шаляпина на земле Ярославской 245
Виктор Храпченков. Считать ли Шаляпина земляком? 247
Генрих Окуневич. Царь Борис с дачи Ключевского 251
Игорь Лебедев. Сгорел тот особняк в Отрадном 254
Генрих Окуневич. Волшебное детство и дачное соседство (Любочка Орлова и Федор Иванович Шаляпин) 258



СОДЕРЖАНИЕ

Игорь Лебедев. «Знаменитый певец разгуливал по бульвару...»	262
Виктор Голов. В этом доме пел Шаляпин	267
Генрих Окуневич. «Эй, ухнем!»	269
Генрих Окуневич. Съемки кинофильма «Царь Иван Васильевич Грозный» в Угличе	272
Генрих Окуневич. История невозвращения	276
Николай Лапшин. Нанесем Ратухино на карту!	279
Наталья Смирнова (Черных). Он не подпевал никакой власти	284
Борис Старк. По страницам Синодика	289
Игорь Лебедев. Первая литургия отца Бориса	296

Мемуарно-краеведческое издание

Коровин Константин Алексеевич
Андреев Леонид Николаевич
Бунин Иван Алексеевич и др.

«Милая моя, родная Россия!»

Федор Шаляпин и
русская провинция

Редактор *Т. Н. Спирина*
Макет и оформление,
подбор иллюстраций *Т. А. Ключарёвой*

Подписано в печать 26.03.03.
Формат 70х108/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Newton».
Усл. п. л. 26,6+0,7 вкл. Уч.-изд. л. 24,8+0,6 вкл. Тираж 3000 экз.
Заказ № 0304260.

Издательство «Верхняя Волга» Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
150000, Ярославль, ул. Трефолева, 12.
Тел./факс 8(0852)30-39-12

Вывод диапозитивов ООО «СПК».
Тел./факс (0852) 45-83-99

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.



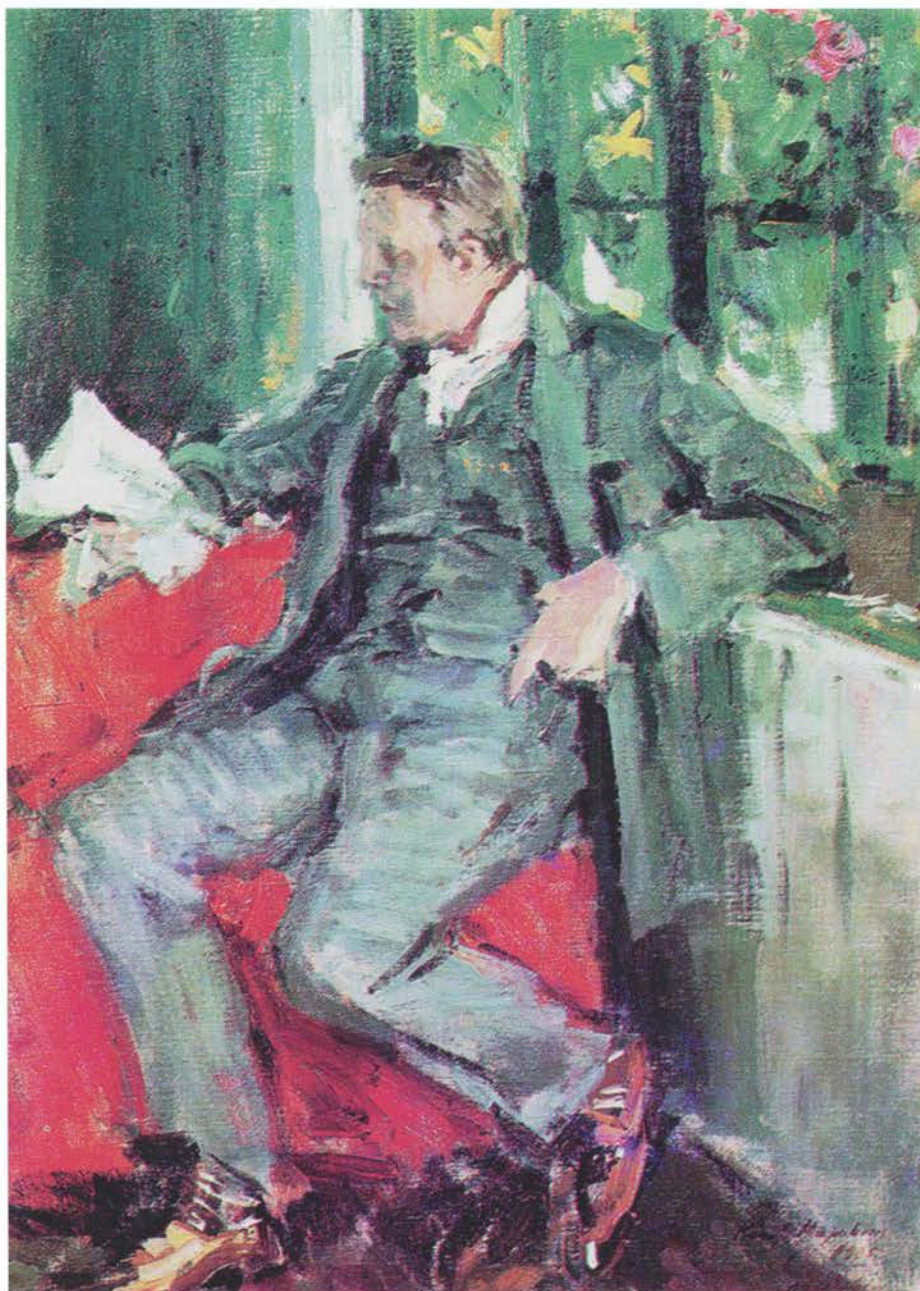


К. А. Коровин
Удят рыбу. Солнечный день
1915

*На картине изображена Новенькая мельница
(в окрестностях Охотина),
где Коровин с Шаляпиным и Серовым часто рыбачили.
Мельник Никон Осипович выучил Шаляпина петь «Лучинушку»*

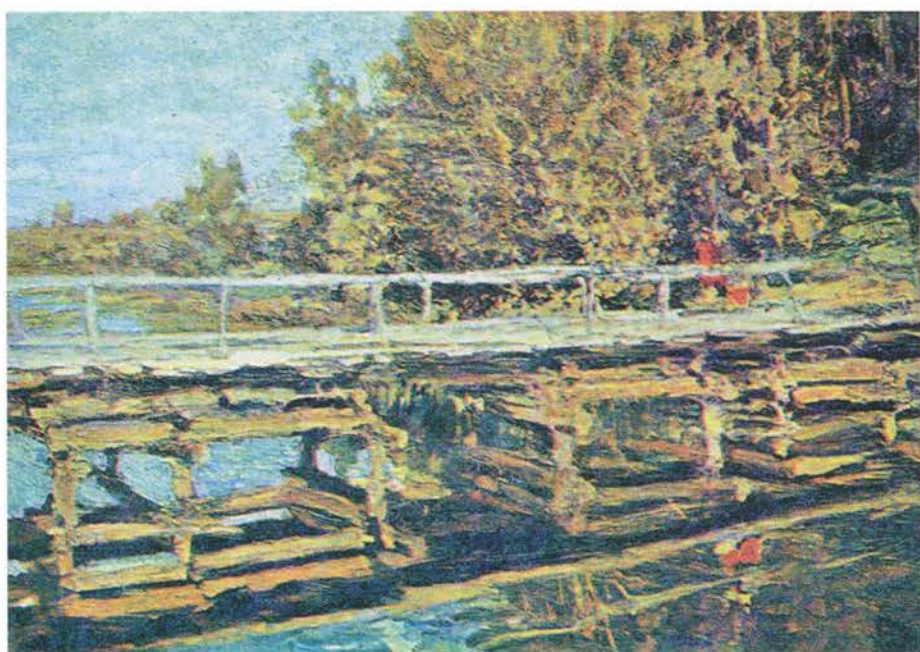


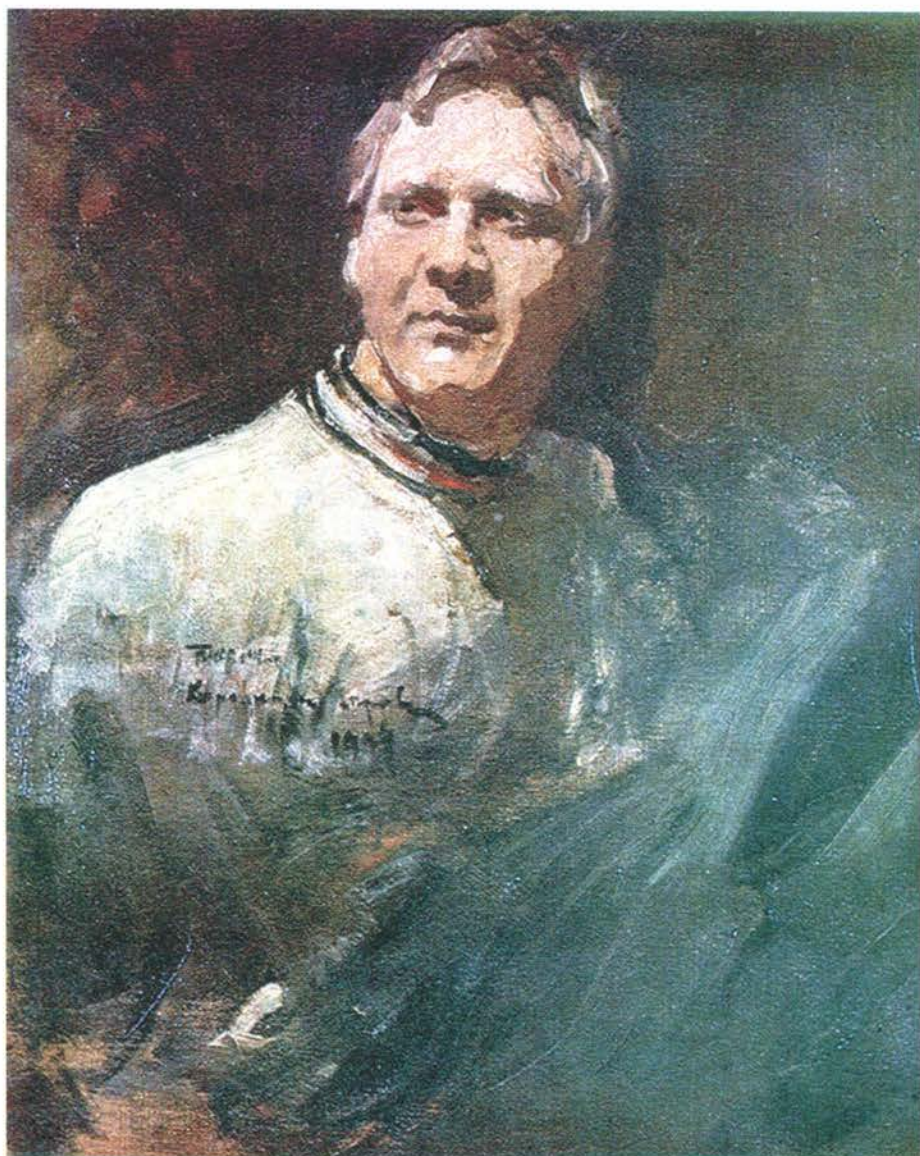
Здесь, на высоком берегу Волги, неподалеку от имения
В. А. Теляковского в Отрадном, подолгу задерживался Шаляпин,
любясь открывающимся видом



К. А. Коровин
Портрет Шаляпина
1905

Как считают исследователи жизни и творчества Шаляпина, этот портрет написан в Отрадном, где в гостях у Теляковского бывали многие известные артисты и художники





Ф. И. Шаляпин
Портрет работы В. А. Серова и К. А. Коровина
1904

В. А. Серов. Коровин на берегу реки. 1905
Предположительно на картине запечатлена река Нерль

К. А. Коровин. Осень. На мосту
Этот же мостик виден на рисунке Шаляпина (см. стр. 45 текста)



К. А. Коровин. Охотино. Река. 1922

Этюд. Приобретен Переславль-Залесским музеем-заповедником в 1980-е годы
Публикуется впервые





Ф. И. Шаляпин
Автопортрет
1916

Л. О. Пастернак

Старинные песни. Вечеринка у Коровина. 1912

*Слева направо: С. А. Щербаков, П. А. Тучков, С. А. Виноградов, А. М. Васнецов,
Ф. И. Шаляпин, К. А. Коровин*



Часть шаляпинской экспозиции в Переславль-Залесском музее-заповеднике.
На первом плане кресло, подаренное Шаляпину С. И. Мамонтовым



Коллекцию огнестрельного и холодного оружия, которой гордился Шаляпин,
преподнес А. М. Горький
Из фондов Переславль-Залесского музея-заповедника



В мрачные дни моей петербургской жизни под большевиками мне часто снились сны о чужих краях, куда тянулась моя душа. Я тосковал о свободной и независимой жизни. Я получил её. Но часто, часто мои мысли несутся назад, в прошлое, к моей милой родине. Не жалею я ни денег, конфискованных у меня в национализированных банках, ни о домах в столицах, ни о земле в деревне. Не тоскую я особенно о блестящих наших столицах, ни даже о дорогих моему сердцу русских театрах. Если, как русский гражданин, я вместе со всеми печалюсь о временной разрухе нашей великой страны, то как человек, в области личной и интимной, я грущу по временам о русском пейзаже, о русской весне, о русском снеге, о русском озере и лесе русском.

Федор Шаляпин